ГИЛЯРОВСКИЙ

Алексей Митрофанов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга посвящена «королю репортеров», мастеру газетных сенсаций Владимиру Алексеевичу Гиляровскому (1855—1935). С именем этого человека связаны самые невероятные истории, приключения, легенды и даже мистификации. За свою долгую жизнь он сменил много профессий — был бурлаком, крючником, театральным актером, цирковым наездником и борцом, табунщиком, участвовал в Русско-турецкой войне, но прославился как журналист и бытописатель, а еще сочинитель экспромтов. Своим обаянием, душевностью, искрометным умом и юмором он буквально притягивал к себе людей. Среди его друзей были и знаменитости — А.П. Чехов, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславский, И.Е. Репин, А.К. Саврасов и многие другие, и люди мало приметные — пожарные, жокеи, клоуны и даже пропойцы с Хитрова рынка. Недаром же слава пережила Гиляровского более чем на восемьдесят лет — кто из журналистов может с ним сравниться?

- Алексей Митрофанов
- Глава 1.
- Глава 2.
- Глава 3.
- Глава 4.
- Глава 5.
- Глава 6.
- Глава 7.
- Глава 8
- Глава 9
- Основные даты жизни и творчества В. А. Гиляровского
- Краткая библиография
- Иллюстрации и фото

Алексей Митрофанов
Гиляровский

«Ах, дорогой дядя Гиляй, крестный мой отец в литературе и атлетике, скорее воображу себе Москву без царя-колокола и царя-пушки, чем без тебя, ты — пуп Москвы!»

Александр Куприн

Глава 1.
Непоседа из Сямских лесов

В одной из своих заметок Гиляровский признавался — вроде бы с бравадой, но и не без горечи: «У бродяги мемуаров нет — есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут — связи не ищи… Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в „Эрмитаже“, ночью, добывая материал, бродишь по притонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра — едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны, — и вот — дымится джулун.

Над костром в котелке кипит баранье сало… Ковш кипящего сала — единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране, или, по-донскому, шургане… Антон Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении «Демона», присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках, — я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места, Чертова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше, под снежной шапкой Коштантау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер — встречи в редакциях и на Невском… То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую, 65, к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой… А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю».

Гиляровскому неоднократно предлагали написать свой мемуарный труд. На что он отвечал стихами:

«Пишите мемуары! —
При каждой встрече говорите вы. —
Пишите всё! Ну вот, как пишет Кони,
Как пишут все…»

У Кони жизнь текла спокойно, без погони,
Десятки лет разумна и светла,
А у меня рвалась! Я вечно был бродягой,
Как мемуары тут писать?
Кусочки жизни, смесь баллады с сагой,
Могу на крепкую бечевку нанизать.

У Гиляровского не то чтобы мемуаров нет — у него нет и биографии в общепринятом понимании этого слова. С традиционными для большинства людей метаниями, сомнениями, раздумьями и поступательным движением вперед. Как подхватила нашего героя жизнь еще в юные годы — так до самой смерти и кидала из одного сюжета в другой. Где-то ему улыбалась удача, где-то судьба потешалась над ним. Где-то он был на высоте, а где-то попадал в жуткий конфуз.

Такова и эта книга — без строгой драматургической последовательности (где же ее взять, ежели сам герой ее не выстроил), а так, отдельные сюжеты — большие или маленькие. Безо всякого намека на величие фигуры и скорее ироничные, чем пафосные.

Именно таким был в жизни Владимир Алексеевич.

* * *

Судя по опубликованным источникам, Владимир Алексеевич Гиляровский родился 26 ноября (8 декабря по старому стилю) 1853 года совершенно непонятно где. Вологодская область, имение графа Олсуфьева, хутор в лесу неподалеку от деревни Сяма. Вот что он писал: «Родился я в глухих Сямских лесах Вологодской губернии, где отец после окончания курса семинарии был помощником управляющего лесным имением графа Олсуфьева, а управляющим был черноморский казак Петро Иванович Усатый, в 40-х годах променявший кубанские плавни на леса севера и одновременно фамилию Усатый на Мусатов, так, по крайней мере, адресовали ему письма из барской конторы, между тем как на письмах с Кубани значилось Усатому. Его отец, запорожец, после разгрома Сечи в 1775 г. Екатериной ушел на Кубань, где обзавелся семейством и где вырос Петр Иванович, участвовавший в покорении Кавказа. С Кубани сюда он прибыл с женой и малолетней дочкой к Олсуфьеву, тоже участнику кавказских войн. Отец мой, новгородец с Белоозера, через год

после службы в имении, женился на шестнадцатилетней дочери его Надежде Петровне».

Но в 2003 году пытливый вологодский краевед В. И. Аринин установил, что это было не так.

Во-первых, дата. Сотрудник Госархива Вологодской области И. В. Игнатьевская, совершенно с другой целью изучавшая метрические книги церкви Покрова на Сяме, вдруг увидела знакомую фамилию. В одной из книг значилось, что 26 ноября 1855 года родился младенец Владимир, а родителями его были — «служащий при приставе 1 стана, Вологодского уезда, письмоводителем канцелярский чиновник Алексей Иванов Гиляровский и законная его жена Надежда Петровна, оба православного вероисповедания».

Вот так. Не 1853 год, как указано во всех энциклопедиях, а 1855-й. И отец у нашего героя — не помощник управляющего, а госслужащий из силовых структур.

В той же церковной книге есть и запись о бракосочетании родителей. Состоялось оно в 1854 году (а значит, если верить Гиляровскому, — уже после его рождения). Он — канцелярский чиновник Алексей Иванов Гиляровский, 25 лет, а она — дочь калязинского мещанина Тверской губернии Петра Иванова Мусатова девица Надежда Петровна, 21 года.

Что же получается? Усатов (или же Мусатов) никакой не запорожец, а обычный мещанин из Калязина.

Зачем нужно было Гиляровскому искажать свою автобиографию? Просто так, ради красивого словца? Вряд ли. Ведь «Мои скитания» он писал, как мы помним, уже при советской власти, когда биография играла весьма существенную роль. За отца, работавшего в царских «органах» можно было в момент оказаться в «органах» советских, но уже не в качестве письмоводителя. Проследить же истинную родословную скитальца, то и дело выправлявшего себе новенький паспорт, было очень сложно. А метрическими книгами новая власть не занималась.

Приписанные к возрасту два года тоже объяснимы — очень уж юным наш герой начал скитальческую жизнь. Назови он свой истинный возраст — могли отправить в родительский дом. А выглядел рослый и мускулистый мальчик старше своих лет, и его возраст подозрения ни у кого не вызывал.

Впрочем, не исключено другое. В 1928 году Владимир Алексеевич опубликовал заметку «Мои семьдесят пять лет». По сути, автобиографию. И упомянутый уже исследователь В.И. Аринин полагает, что своей мистификацией великий репортер преследовал две цели. Во-первых, он стал быстро терять

популярность. Новая Россия требовала новых, молодых героев. Старикан за семьдесят на эту роль, конечно, не годился. И для того чтобы напомнить о себе, привлечь к своей персоне внимание, Владимир Алексеевич и выступил с заметкой. А во-вторых, он просто-напросто боялся не дожить до настоящего семидесятипятилетия.

Все это выглядит довольно убедительно, и тут, как говорится, Бог ему судья. 150-летний юбилей Гиляровского, который собирались праздновать в 2003 году в Вологде перенесли на 2005. В Москве же торжества прошли, как намечалось, — для столицы северные краеведы не авторитет.

Установить место рождения Гиляровского Аринину тоже оказалось нетрудно: «И вот я в Горке. Первое впечатление — всегда самое сильное. Какое живописное место! Деревня делится речушкой Крутец на две части. Здесь две горки. На одной — Покровская церковь… Все дома, строения, кладбище как бы примыкают к ней. На другой горке — левая часть деревни, откуда прекрасный вид на окрестности, на водную гладь Кубенского озера. И екнуло сердце: вот оно. Интуиция подсказала: это — здесь. Здесь родился и подрастал маленький Гиляй».

Интуиция его не обманула — Л.Н. Мясникова, заместитель директора Госархива Вологодской области, нашла документы, подтверждающие правоту Аринина. Так что, несмотря на все старания «короля репортеров» и на его вольное обращение с фактами из жизни родителей и своего происхождения, истина все же восторжествовала. На первый взгляд… Потому что многие исследователи до сих пор не сдаются. Контраргумент у них один — и довольно мощный: «Гиляровскому виднее».

Что ж, из уважения и к тем, и к другим исследователям мы запишем в краткой биографии героя оба варианта. Пока не установлено все точно.

* * *

Кстати, сам Гиляровский признавался, что родители не много значили в его формировании как личности. Разве что дед (то ли обыватель из Калязина, то ли лихой запорожский рубака). «Дед добыл откуда-то азбуку, которую я помню и сейчас до мелочей, — писал Владимир Алексеевич. — Каждая буква была с рисунком во всю страницу, и каждый рисунок изображал непременно разносчика: А (тогда написано было „аз“) — апельсины. Стоит малый в поддевке с лотком апельсинов на голове. Буки — торговец блинами, Веди — ветчина, мужик с окороком и т.д. На

некоторых страницах три буквы на одной. Например: У, Ферт, Хер — изображен торговец в шляпе гречневиком с корзиной и подпись: „У меня Французские Хлебы“. Далее следуют страницы складов: Буки-Аз — ба, Веди-Аз — ва, Глаголь-Аз — га. А еще далее нравоучительное изречение вроде следующего:

„Перед особами высшего нас состояния должно показывать, что чувствуешь к ним почтение, а с низшими надо обходиться особенно кротко и дружелюбно, ибо ничто так не отвращает от нас других, как грубое обхождение“.

В конце книги молитвы, заповеди и краткая священная история с картинами. Особенно эффектен дьявол с рогами, копытами и козлиной бородой, летящий вверх тормашками с горы в преисподнюю».

Затем была другая азбука: «Аз. Антон козу ведет». «Добро. Деревянное масло».

«Других азбук тогда не было, и надо полагать, что Лев Толстой, Тургенев и Чернышевский учились тоже по этим азбукам», — с гордостью писал Гиляровский.

Мы же еще неоднократно убедимся в том, что наш герой при случае всегда старался приобщиться к миру знаменитостей, стать там своим. Для простого обывателя — вполне простительная слабость. А для репортера — качество весьма полезное. Без саморекламы ему сложно выполнять свои профессиональные обязанности. А в том, что касается саморекламы, Гиляровский был на высоте.

Вскоре Алексей Иванович Гиляровский получил новое место — в Вологодском губернском правлении (заметим попутно, что вряд ли подобное было бы возможно в карьере помощника лесного управляющего), и семья перебралась в губернский город. О том, как выглядела Вологда того времени, можно составить представление по записям этнографа В. Попова: «Дома крестьян деревянные одноэтажные и большею частью однообразны своею наружностью и внутренним убранством, с небольшим различием в некоторых частях, смотря по состоянию хозяина или менее многолюдному семейству. Обыкновенно впереди две избы (в некоторых домах одна из них называется горницей; различие же избы состоит почти только в том, что в ней нет печи и полатей); эти две комнаты называют вообще перед. Здесь живут только летом. Из сеней у переда вход на поветь, которая настилается из толстых досок или плах. На повети устраивается одна или две клети для сохранения имения… Под поветью скотный двор и хлевы для мелкого скота. За поветью — зимнее жилище крестьян: изба с сенями…

Внутреннее устройство избы следующее: в переднем углу

приделка (божница), на которую поставлены святые иконы; перед ними стол; в другом углу печь (в некоторых домах с дымовой трубой); от устья печи к стене переборка (шомыша) для хранения разной посуды; кругом стен лавки, а над окнами широкие доски (полицы) для поклажи мелких вещей; в ряд за печью полати».

Дом, в котором жили Гиляровские, увы, не сохранился, но осталось его описание 1979 года из «Материалов свода памятников истории и культуры России»: „Дом… одноэтажный, деревянный, рубленый, обшит тесом… В наличниках окон сохранилась пропильная резьба. Углы дома оформлены накладными пилястрами, члененными филенками, с накладками из резных вставок. Дом разделен на две половины с самостоятельными входами с южной и восточной стороны.» В общем, вполне приличное жилье. И даже с некоторыми архитектурными излишествами, которые, впрочем, не редки для Вологды того периода.

* * *

Сегодняшняя Вологда мало соответствует тому образу, который представлен в путеводителях, — этакий деревянный город, построенный без единого гвоздя. Да, деревянное зодчество существует и даже развивается — из дерева строят современные многоквартирные дома.

Теперь это областной центр со всеми плюсами и минусами, присущими этому статусу. То есть здесь есть вокзал, аэропорт, гостиницы, библиотеки и музеи, а еще — памятники революции, асфальтовые площади для митингов и бестолковые постройки брежневской эпохи.

Однако в девятнадцатом столетии город был колоритнее.

Современник Гиляровского, журналист Николай Лейкин писал: «Пролетка петербургского типа, но без верха прыгала по длинной широкой улице с мостовой из крупного булыжника. Улица, как бульвар, была обсажена березами с белыми стволами. Длинной чередой тянулись деревянные дома, некоторые вновь построенные и украшенные резьбой, а два-три из них даже с зеркальными стеклами. Чувствовался достаток владельцев, домовитость, видно было, что все это строилось для себя, а не для сдачи внаем. Дома чередовались с садиками, но опять-таки засаженными исключительно березами. Редко где выглядывали из-за массивного тесового забора тополь или рябина. Виднелась вывеска агента страхового общества, вывеска конторщика транспортных кладей… Вологда… имеет много садов, бульваров

и утопает в зелени. Насаждения эти состоят только из берез, и поэтому Вологду можно назвать березовым городом. Здесь не вымерзают, как я узнал, и другие породы деревьев, но у вологжан уж такая страсть к березам. Повсюду виднеются белые стволы. Бульвар березовый, сады березовые, около церквей в оградах березы. В городе по улицам, по площадям, по пустырям ведутся новые насаждения, и они состоят из березок. Загородное гулянье, состоящее из клуба местного пожарного общества, находится в березовой роще».

Другой же современник нашего героя, Алексей Попов, священник, сетовал: «Считаю себя обязанным отметить то впечатление, которое произвела на меня Вологда при первом на нее взгляде. Большой город со множеством церквей и деревянных домов, с грязными улицами и площадями, река в нем с нетекущею водою, а приток ее Золотуха с поросшими бурьяном берегами и грязным ложем, с специфическим болотным ароматом, при слабом движении людей на улицах — все это, вместе взятое, не производило на свежего человека бодрящего впечатления. Даже невысокие храмы Божьи, с большими непозолоченными главами казались как будто к земле придавленными. Исключение в лучшую сторону составлял тогда грандиозный Софийский собор, большие главы которого, видимо, не подавляют его, а составляют величественное украшение. А главы эти так велики, что, по вычислению покойного Николая Ивановича Суворова, в срединной из них можно спокойно поворотиться на тройке лошадей с экипажем».

А что же запечатлел сам Владимир Алексеевич? По большому счету, ничего. Будто бы и не было в городе его детства ни потрясающих ажурных деревянных домиков, ни колоритных торговых мостов через малюсенькую речку Золотуху, ни знаменитого на всю Россию Вологодского кремля, ни затейливого домика Петра Великого, ни тайны сумасшедшего поэта Батюшкова, содержавшегося в центре города под домашним арестом.

Все то, ради чего бесчисленные полчища туристов едут в Вологду, оставляло его равнодушным. То ли дело Китаев, беглый матрос.

«Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными и обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что,

впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.

Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приемам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн-Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И, действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растревожив палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.

Мы были неразлучны. Он показывал приемы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал бревнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна. Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей».

Можно себе представить, как завидовал юный Володя сильному, мужественному, умелому матросу, да еще с загадочным прошлым. Не удивительно, что свою жизнь он начал лепить именно с Китаева, всепобеждающего бунтаря.

Начал с малого. Одной из жертв его детских проказ пала невинная собачка. «В первый раз меня выпороли за то, что я, купив сусального золота, вызолотил и высеребрил Жужу такие места, которые у собак совершенно не принято золотить и серебрить», — писал впоследствии Владимир Алексеевич. Разумеется, вины проказник не признал. Больше того, задумал отомстить своей несчастной родственнице, руководившей наказанием. Случай в скором времени представился.

В родственницу был влюблен какой-то офицер. Гиляровский наловил лягушек, выследил гуляющую пару, когда она зашла в беседку, залез на крышу, дождался пика объяснения в любви и «высыпал целую корзину наловленных в пруде крупных жирных лягушек, штук сто, прямо на голову объяснявшимся».

На сей раз обошлось без наказания — влюбленные решили этот эпизод не афишировать.

А Гиляровский продолжал совершать «подвиги». При этом в качестве инвентаря использовал все те же краски и лягушек. Разрисовал единственную шинель небогатого соседа желтыми кругами. Его сына заставил сесть в чан с лягушками. А одно из самых ярких его гимназических воспоминаний — то, как, пользуясь слабым знанием русского языка учителя-француза, ученики вместо молитвы перед занятиями хором читали «чижик, чижик, где ты был».

Правда, при этом Гиляровский оговаривался, что сам он не читал ни «чижика», ни, разумеется, молитвы. И вообще, гимназию он не любил.

Хотя она (будущий репортер об этом, разумеется, не знал) в те времена была одной из лучших в России. Бывший ее инспектор Ф.Н. Фортунатов, например, печатался в журнале «Москвитянин» и слыл одним из самых талантливейших педагогов середины XIX века. Но и в годы ученичества Володи Гиляровского гимназия сохраняла старый либеральный и гуманитарный дух. «Вологодские ведомости» сообщали: «Любовь к музыке получает все большие размеры в кругу воспитанников… и если уж в часы свободы между воспитанниками… раздаются стройное пение и звуки флейты или скрипки, то заведение можно поздравить со значительным шагом вперед в нравственном образовании».

Однако нашего героя флейта оставляла равнодушным. И в гимназии в первую очередь он видел не возможность получить знания, а посягательство на личную, священную для него, свободу. «Из того, что я учил, и кто учил, осталось в памяти мало хорошего», — признавался Гиляровский. Зато первое впечатление от директора сохранилось до самой старости: «Директором гимназии был И.И. Красов. В первый раз я его увидел в классе так:

— Иван Иванович… Иван Иванович… — зашептал класс и смолк.

Я еще не знал, кто такой Иван Иванович, но слышал тяжелые, слоновьи шаги по коридору, и при каждом шаге вздрагивала стеклянная дверь нашего класса. Шаги смолкли, и в открытой двери появился сначала синий громадный шар с блестящими пуговицами, затем белая-белая коротенькая ручка, и, наконец, синий шар сделал какое-то смешное движение, пролез в дверь, и, вместе с ним, появилась добродушная физиономия с длинным утиным носом и едва заметными сонными глазками. Из-под шара и руки, опершейся на косяк, показалось не то тарелка киселя, не то громадное голое колено, и выскочила маленькая старческая бритая фигура инспектора Игнатьева с седой бахромой под большими ушами. И ринулся маленький, семеня ножками, к

доске, и вытащил из-за нее спрятавшегося Клишина.

— Уж тут себе… Уж тут себе… На колени, мерзавец!..

— Иван Иванович, простите… Иван Львович… — то в одну, то в другую сторону оборачивался с колен лунообразный купеческий сынок Клишин.

— Иван Иванович… У меня штаны новые, — отец драться будет.

— Потому что… да, да, да… — тоненьким тенорком раскатился Иван Иванович и, повернувшись, стал вправлять свой живот в дверь, избоченился и скрылся.

— Уж тут себе… Уж тут себе… Вставай, скотина… Не тебя жалею, лупетка толстая, штанов твоих родительских… — И засеменил за директором».

То, что Красов славился на всю Россию как один из лучших педагогов и преподавателей латыни, Гиляровский, разумеется, не знал. Так, стараниями автора «Моих скитаний» Красов и вошел в историю благодаря своему брюху и утиному носу.

Любимым же учителем у Гиляровского был преподаватель естественной истории по кличке Камбала. Правда, он снискал расположение гимназиста не познаниями или же способностью их донести до учеников, а совсем другим: «Это был длинный, худой, косой и лопоухий субъект, при ходьбе качавшийся в обе стороны. Удивительный мечтатель. Он вечно витал в эмпиреях, а может быть, вечно был влюблен. Никогда не садился на кафедру. Ему сносили кресло к первой парте, где он и располагался. Сядет, обоймет журнал. Закатит косые глаза в потолок и переносится в другой мир, как только ученик начнет отвечать. В мечтательном состоянии так и летели четверки и пятерки. Только надо было знать первые строки спрашиваемого урока, а там — барабань, что хочешь: он, уловив первые слова, уже ничего не слышит.

— Гиляровский.

Выхожу.

— Собака!

— Собака, Порфирий Леонидович.

— Собака!

— Собака — *Canis familiaris.*

— Вер-рно!..

И закатит глаза.

— Собака — *Canis familiaris!..* Достигает величины семи футов, покровы тела мохнатые, иногда может летать по воздуху, потому что окунь водится в речных болотах отдаленной Аравии, где съедает косточки кокосов, питающихся белугами или овчарками, волкодавами, бульдогами, догами, барбосками, моськами и канисами фамилиарисами…

Он прислушивается на момент.

— Собака, Порфирий Леонидович, водится в северных странах, у самоедов, где они поедают друг друга среди долины, ровной на гладкой высоте, причем торопливо не свивают долговечного гнезда… Собака считается лучшим другом человека… Я кончил, Порфирий Леонидович.

— А?.. Что?.. Кончил?

— Собака считается лучшим другом человека…

— Чело-ве-ека… О-ох!.. — И закатит глаза.

— Хорошо, садись».

Что еще надо озорному гимназисту?

* * *

Впрочем, одного учителя Владимир Гиляровский уважал по-настоящему — учителя чистописания Льва Андреевича Воскресенского. Тот, по просьбе отца Гиляровского, занимался с ним помимо школы — выставлял каллиграфический почерк. «Король репортеров» сохранил о нем такие воспоминания:

«— Отец Володимир, — встречал меня Лев Андреевич, сидя за столом с неизменным натюрмортом: две стопки бумаг — чистая и приготовленная для переписки, два пучка утиных перьев — белых и серых, лежащих отдельно, стаканчик с песком для чистки перьев и бутылка с узким горлышком и рюмкой. Впрочем, бутылки менялись, хотя содержимое их оставалось постоянным: мелкие, с булавочную головку, соленые рыжики — любимое лакомство Льва Андреевича. Перед началом работы над каждой бумагой Лев Андреевич наполнял рюмку рыжиками, смакуя, уничтожал их, затем брал в руки острый нож, перо и, прежде чем приступить к очинке, произносил: — Вот отрежу голову, выну сердце, дам пить — и будет говорить.

Мастерски снимал одним взмахом головку пера, по самой середине делал надрез и очищал его внутри, а затем, обмакнув перо в чернила и глянув в бумагу, снова произносил:

— Ну-с, с кем будем говорить? С его превосходительством господином министром внутренних дел?

В гимназии Лев Андреевич не позволял писать ученикам стальными перьями. Раздражала его игра в перья на подоконниках.

— Все заграница! — гремел он. — Один разврат, к азарту детей приучать, сначала в перышки, потом в денежки, а там казенные за свои принял и пропал, в Сибирь, вот тебе и стальное перышко.

В совершенное неистовство приводило его перо с изображением Наполеона.

— Зверя из бездны, да еще в руки брать и его богопротивной мордой да святые слова писать, — возмущался Лев Андреевич. Он помнил 1812 год и главным врагом России считал, как и тогда, Наполеона».

Ненависть господина Воскресенского к металлическим перьям была вовсе не шуточная. Когда в 1867 году вышел указ, по которому следовало во всех гимназиях перейти с гусиного пера на презренный металл, Лев Андреевич в знак протеста оставил свой пост. А на жизнь зарабатывал тем, что писал по заказу прошения. Вологжане высоко ценили его почерк.

* * *

Хуже всего Гиляровскому давалась математика. Он без смущения (наш герой вообще когда-нибудь смущался?) в этом признается и даже сообщает, что именно из-за математики его оставили в гимназии на второй год. Но Гиляровскому все было нипочем. Он нашел для себя новое развлечение — рядышком с гимназией находился театр.

Вологодский театр был открыт в 1849 году, на что «Губернские ведомости» отреагировали следующим сообщением: «К числу зимних общественных удовольствий присоединилось новое прекрасное удовольствие — это театр, который возник в нашем городе как бы какою-то чародейственною силою».

Впрочем, священник Алексей Попов описывал театр без восторгов: «Ветхое безобразное деревянное здание, напоминавшее скотный двор неряхи-хозяина. Гулять ли пойдете, осенью всюду козы и козлы, а весною и летом лягушки».

Но все равно театр был гораздо интереснее гимназии. Разве можно сравнить уравнения и корни с завораживающим потусторонним миром закулисья. К тому же спектакли в театре не отличались особенной замысловатостью: «Москаль Чаривник», «Андрей Степанович Бука, или Кто не плясал под женскую дудку», «Бабушкины попугаи», «Наталка-полтавка», «Муж всех жен».

Первым в жизни Гиляровского спектаклем был «Идиот», правда, не Достоевского — другой. И от этого «Идиота» юный вологжанин пришел в неописуемый восторг: «Вдруг поднялся занавес — и я обомлел. Грозные серые своды огромной тюрьмы, и по ней мечется с визгом и воем, иногда останавливаясь и воздевая руки к решетчатому окну, несчастный, бледный юноша, с волосами по плечам, с лицом мертвеца. У него ноги голые до

колен, на нем грязная длинная женская рубашка с оборванным подолом и лохмотьями вместо коротких рукавов… И вот эта-то самая первая сцена особенно поразила меня, и я во все время учебного года носился во время перемен по классу, воздевая руки кверху, и играл „Идиота“, повторяя сцены по требованию товарищей. Это так интересовало класс, что многие, никогда не бывавшие в театре, пошли на „Идиота“ и давали потом представление в классе. После окончания пьесы Мельникова вызывали без конца, и когда еще раз вызвали его перед началом водевиля и он вышел в сюртуке, я успокоился, убедившись, что это он „только представлял нарочно“».

Но театр — полбеды. В Вологду приехал «Цирк араба-кабила Гуссейн Бен-Гамо». Сразу же выяснилось, что никаких арабов нет, в цирке выступают самые что ни на есть русские люди, только притворяющиеся диковинными неграми. Гиляровский очень быстро подружился с Оськой, сыном «Бен-Гамо», и тот принялся обучать приятелей всяким акробатическим премудростям. «Я был ловчее и сильнее Оськи (ну а как иначе-то! — *А.М.*), и через два месяца мы оба отлично работали на трапеции, делали сальто-мортале и прыгали без ошибки на скаку на лошадь и с лошади. В то доброе старое время не было разных предательских кондуитов и никто не интересовался — пропускают уроки или нет. Сказал: голова болела или отец не пустил — и конец, проверок никаких. И вот в два года я постиг, не теряя гимназических успехов, тайны циркового искусства, но таил это про себя. Оська уже работал в спектаклях («малолетний Осман»), а я только смотрел, гордо сознавая, что я лучше Оськи все сделаю. Впоследствии не раз в жизни мне пригодилось цирковое воспитание не меньше гимназии. О своих успехах я молчал и знание берег про себя».

Цирк был последней каплей. Гиляровский принял радикальное решение — бежать из дома. Он оставил своему отцу короткую записку (каллиграфическим почерком, гусиным пером): «Ушел работать простым рабочим на Волгу, как устроюсь, напишу».

И был таков.

Ему шел шестнадцатый год. Или, по другому исчислению, восемнадцатый.

Глава 2. Алешка-бурлак

«Это был июнь 1871 года… Когда я пришел пешком из Вологды в Ярославль…»

От Вологды до Ярославля 200 километров. Тем не менее оставим это утверждение на совести героя нашего повествования — свиты при Гиляровском не было, и все равно нам правды не узнать. Даже если юношу время от времени и подвозили, все равно такое путешествие — поступок с большой буквы. Один, в незнакомых местах и почти без копейки.

Тем удивительнее, что, явившись в Ярославль, Гиляровский нашел силы любоваться этим городом (чего не было, как мы помним, в Вологде): «Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире».

Пусть оставляли его равнодушными и Спасский монастырь, и набережная, и башни древней крепости — но все же, все же…

Сегодня Ярославль — один из уютнейших провинциальных городов России. Он комфортно раскинулся на излучине Волги и другой реки — Которосли. Здесь есть гостиный двор, здание присутственных мест в стиле классицизма, городской театр. Словом, все то, что привлекает нас в старых губернских городах.

Нет, правда, кремля. Но не беда — кремлем здесь называют монастырь, который расположен в самом центре города.

Увы, в 1918 году, во время подавления белогвардейского восстания, город был разбомблен большевиками и значительно утратил свой колорит.

Тогда же Ярославль был красоты необычайной. Иван Аксаков так описывал его: «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, с старинными прекрасными церквами, башнями и воротами; город с физиономией. Калуга не имеет никакой физиономии или физиономию чисто казенную, Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения, прежней исторической жизни. Церквей — бездна, и почти ни одной — новой архитектуры; почти все пятиглавые, с оградами, с зеленым двором или садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри внутри города, с каменными стенами и башнями, и вы поймете, как это скрашивает город, а тут же Которосль (старое название реки Которосли. — *А.М.*) и Волга с набережными, с мостами и с перевозами… Роскошь в

городе страшная. Мебель, квартиры, одежда — все это старается перещеголять и самый Петербург».

Однако Гиляровскому не было дела до подобных глупостей — он бурлаков искал. Но не нашел — сел на пароход «Александр III» и пустился вниз по Волге, в Кострому.

* * *

Город Кострома до революции был своего рода символом сонной незыблемости. Федор Сологуб писал: «Плывем на пароходе по Волге, видим — Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся.

— Стук, стук!

— Кто тут?

— Кострома дома?

— Дома.

— Что делает?

— Спит.

Дело было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на каменном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке.

Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, — нечего бояться Костромского губернатора, — он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась.

— Кто тут был?

Кто тут был, того и след простыл, Костромушка».

Сегодня, по большому счету, Кострома — сонная российская провинция, тихая, очаровательная, сокровенная.

Но нашему герою не до праздных романтических ассоциаций. Он наконец-то нашел бурлаков.

* * *

Бурлак — профессия известная. Своей завидной популярностью она обязана отчасти Гиляровскому, который, разумеется, не устоял перед соблазном описать бурлацкий быт.

Кстати, вступить в бурлацкую «оравушку» было несложно — на Волге началась холера, и среди бурлаков значительно повысилась текучесть кадров. Прежде чем вступить в бурлацкую

артель, надо было пройти «собеседование». А выглядело это так:

«Один старик, лежавший на штабелях теса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят суда теперь, тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.

— Вот только одна вчера такая вечером пришла, настоящая расшива, и сейчас, так версты на две выше Твериц стоит; тут у нас бурлацкая перемена споконвеку была, оравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнет. Вон гляди!..

И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направились к нам, их, должно быть, привлекли эти груды сложенного теса.

— Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?

— Да пейте, кто мешает!

— Вот спасибо, и тебе поднесем!

Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой, коренастый мужик, вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печенку с хороший каравай, а четвертый, с черной бородой и огромными бровями, стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошел к ним.

— А этот малый с тобой, что ли? — мигнул черный на меня.

— Так, работенку подыскивает…

— Ведь вы с той расшивы?

— Оттоль! — и поманил меня к себе.

— Седай!

Черный осмотрел меня с головы до ног и поднес вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня.

— Вот, гляди, ребята, это все мое состояние, пропьем, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и лямку попробовать… Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.

— А на кой ляд он нам?

— Ну что ж, ладно! Айда с нами, по заре выходим.

Мы пили, закусывали, разговаривали… Принесли еще штоф и допили.

— Айда-те на базар, сейчас тебя обрядить надо… Коньки брось, на липовую машину станем!

Я ликовал. Зашли в кабак, захватили еще штоф, два каравая ситнего, продали на базаре за два рубля мои сапоги, купили онучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне,

как надо обуваться, заставив меня три раза разуться и обуться. И ах, как легко после тяжелой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чем я и сообщил бурлакам.

— Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов, — утешил меня длинный малый».

Дальше было хуже. Лямка — она лямка и есть. А типичный договор, который заключали бурлаки с судовладельцем, был не шуточный: «При нанесении судна на мель или на каменистые грунты должны мы немедленно оное снимать и следовать вверх без промедления. И ежели где-либо встретится мелководье, в таком случае погрузить нам кладь с означенной расшивы его, Щаплевского, в купленные или нанятые хозяином Щаплевским паузки, за которыми ходить нам, куда от него приказано будет, с платою им на харчи каждому из нас по 15 коп. серебром в день. Сверх того, если с судном последует такое от потопа несчастье, что не будет никакой возможности оного спасти, в таком случае обязаны мы со всевозможным старанием привести оное к берегу, воду из него отлить, кладь выгрузить на берег, на удобное и безопасное от воды и огня место, подмоченную пересушить, пересушенную же обратно погрузить в то или другое судно и следовать до места назначения, не требуя от хозяина за то никакой себе прибавки сверх установленной по реестру ряды.

От огня иметь нам крайнюю осторожность, а потому и табаку отнюдь никому из нас на судне не курить; но если лоцман из нас по какой-либо самонадежности в попутный ветер или в другом каком бы то ни было случае подвергнет судно от себя повреждению или совершенной гибели, то он и должен ответствовать за свою вину по законам, мы же если не будем участвовать в его поступке, то за сие и ответствовать нисколько не должны. От нападения воров и разбойников судно хозяина и его капитал неослабно оберегать, под опасением каждому из нас. Если кто из нас притворно захворает, в работе будет ленив или сварлив, или от работы отлучится, или сбежит, или даже если что-либо хозяйское украдет, таковых от худых поступков и неповиновения должны мы настоятельно удержать, к побегу с судна никого и ни в каком случае не допускать, а за неспособность и непослушание волен он, хозяин, нанимать на наш счет других, за украденные же кем-либо из нас у хозяина вещи должны мы платить нашею собственностью.

По прибытии же нашем с судном Щаплеевского в г. Рыбинск судно поставить, а припасы на нем, пересуша, убрать на показанное место, и тогда с хозяином или его доверенным учинить расчет, и по получении себе обратно паспортов быть от работы и обязанности по сему свободными. Всю же

вышеписанную работу на судне производить на наших харчах, на покупку которых обязан он, хозяин Щаплеевский, при судне иметь достаточное количество денег, которые, в небытность свою при судне, должен поручить вместо себя своему посланному. Больных рабочих оставлять не иначе, как в городе, селе или деревне, или в каком-либо другом жилище, которых и отдать на руки начальнику или старшему того места, где будут оставлены, учинив с ними законный расчет».

А со здоровьем почти у всех бурлаков были проблемы. Некто И. Вернадский в статье под названием «Исследования о бурлаках» писал: «Самое несчастное положение бурлаков бывает во время болезни, которая посещает их нередко: тяжелая работа, не всегда хорошая пища и частые непогоды причиняют им страдания, редко уступающие простым средствам. Уже от одной лямки у бурлака на груди, большей частью, образуется темный рубец, как признак его трудов и усилий; но, кроме того, бурлаки часто страдают ревматизмом и другими простудными болезнями. Холера, до сих пор не прекратившаяся на Волге, тоже похищает много жертв из числа судорабочих. Причиною болезней, большей частью, бывает непогода и то, что бурлаки из боязни требовали, чтобы оставлять на берегу больных, что и делалось: их бросали, часто без всякого пособия, вдали от жилья и людей. Задаточные деньги, взятые заболевшим и не отработанные им до болезни, взыскиваются при окончательном расчете с артели. С больными, высаживаемыми на берег, почти никогда не делается расчета: если на их долю причитается получить что-нибудь, то судохозяева обещают заплатить следуемое в конце пути по расчету кому-нибудь из товарищей больного или же переслать причитающиеся деньги по почте и, разумеется, большей частью не исполняют ни того, ни другого…

Если болезнь происходит просто от усталости, то больного держат на судне даже до 2 недель; если же больной не оправляется, то оставляют его в деревне или даже на берегу, вдали от жилья и без всякого пособия, а на его место на счет артели нанимается другой. Иногда судохозяева отсылают работника, даже еще здорового, но измученного и плохо едящего, возвратив ему паспорт, как только он отработает свой задаток. В больницу отправляют только труднобольных и то, если лазарет случится судну по пути; выбившимся же из сил предоставляют отправиться домой «как знают». Выздоровевшие выходят из больницы в самом жалком виде, без гроша денег и без куска хлеба, так, что на родину возвращаются совершенно нищими, питаясь по дороге милостыней».

В городе, на пристани, в ватаге действовали пусть и

жестокие, но все-таки законы. В лесу, вдали от жилья, прав был сильнейший. Не удивительно, что появилась поговорка: «Собака, не тронь бурлака, бурлак сам собака».

И вообще «собачья» тема была накрепко прописана в бурлацком бытовом фольклоре. «Засобачивай!» — кричали бурлаки под конец «смены», после чего судно приставало на ночь к берегу. И пересказывали страшные рассказы про Собаку-барина — строгого помещика, державшего большую псарню.

А наш герой об этом вспоминал: «Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь… В глазах потемнело, а встречное течение, суводь — еще крутила посудину.

— Федька, пуделя! — хрипел Костыга. И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно:

— Белый пудель шаговит…

— Шаговит, шаговит… — отозвалась на разные голоса ватага — и я тоже с ней.

И, установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели черного пуделя.

— Черный пудель шаговит, шаговит… Черный пудель шаговит, шаговит.

И пели, пока не побороли встречное течение».

Впоследствии Владимир Алексеевич пытался вызнать — а при чем здесь пудель-то? Ну у него, конечно, ничего не вышло:

«— Так искони веки вечинские пуделя пели! Уж оченно подручно — белый — рванешь, черный — устроишься… И пойдешь, и пойдешь, и все под ногу.

— Так, но меня интересует самое слово пудель. Почему именно пудель, а не лягаш, не мордаш, не волкодав…

— Потому что мордаши медведей рвут за причинное место, волкодавы волков давят… У нашего барина такая охота была… То собаки, — а это пудель.

— Да ведь пудель тоже собака, — говорю.

— Ка-ак?.. А ну-ка, скажи еще… Я не дослышал…

Повторил старику, что пудель — это собака, порода такая. Оживился старик, задергался весь и говорит:

— Врешь ты все! Наша песня исконная, родная… А ты ко псу применяешь. Грех тебе!

— Что-то, Алеша (на всякий случай, Гиляровский представлялся чужим именем. — *А.М.*), ты заливаешь. Как это, песня — и пес? — сказал Костыга.

Но меня выручил Улан и доказал, что пудель — собака. И уж очень грустил Кузьмич:

— Вот он грех-то! Как нечистой-то запутал! Про пса смердящего пели, — а не знали… Потом встрепенулся. — Врешь

ты все… — и зашамкал, помня мотив: „Белый пудель шаговит…“»

А у Гиляровского тем временем возник новый проект — Владимир сдружился с бурлаком Костыгой, и они решили организовать разбойничью «станицу». Сразу же по прибытии в пункт назначения — город Рыбинск.

* * *

Современный Рыбинск — славный и своеобычный поволжский городок. Нарядный и приветливый. Спокойный и миролюбивый. А своеобычие его состоит в том, что еще сотню лет назад он был своего рода центром зерновой торговли всей страны. Хлеб в то время значил для людей гораздо больше, чем сегодня. Неудивительно, что в Рыбинске построено немало роскошных и затейливых особнячков, а его жители в какой-то мере унаследовали старый добрый дух богатого купеческого городка. Однако в наши дни Рыбинск богатым не назовешь. Что ж, путешественнику это только на руку. В здешних ресторанах за вполне приемлемые деньги можно закатывать роскошные пиры.

Первое впечатление от Рыбинска — город туристический и популярный. По улицам кучками ходят иностранцы с фотоаппаратами. На магазинах — яркие вывески «Сувениры», в том числе и по-английски. Зайдешь — все как положено: медведь, матрешка, бубенец, пасхальное яйцо. Стиль «valenki & balalayki» нарушается разве что спичками в громадных упаковках с изображениями архитектурных памятников. Спички — это креативное ноу-хау Ярославской области.

Глупые и совершенно непрактичные (особенно в эпоху зажигалок и электроплит) наборы почему-то любят покупать поклонники российской старины. Впрочем, настоящий сувенир, наверное, и должен быть таким — бессмысленным в хозяйстве.

Вечером туристы уезжают (к сожалению, в городе нет хорошей гостиницы), и Рыбинск сразу же преображается. Он становится спокойнее, уютнее, тише — иностранный турист гоготлив. Магазины закрываются — город с отъездом экскурсантов начинает жить не яркой туристической, а несколько иной, пастельной, провинциальной жизнью.

Во времена же Гиляровского рыбинская пристань поражала колоритом. Известный педагог К.Д. Ушинский вспоминал: «Я вышел на палубу и остановился в изумлении: пароход, чуть пошевеливая колесами, пробирался посреди бесчисленного множества плотов и барок, составлявших почти одну сплошную массу во всю ширину реки. Мы были в Рыбинске, но я не видел

еще города, а только огоньки в окнах его домов, сверкающие в темноте, на высоком правом берегу Волги.

Я проснулся очень рано и тотчас же пошел в город. Богатые каменные дома, тянущиеся стройным рядом по высокому берегу, прекрасная, устланная камнем набережная с хорошенькими перилами, отличный тротуар вдоль набережной — все показывало, что жители Рыбинска люди не бедные. Город еще спал, только в открытых окнах трактиров половые постукивали чашками. С высокой набережной открывался прекрасный и очень оригинальный вид на широкую реку, на бесчисленные суда, на противоположный берег, застроенный складочными магазинами, амбарами и сараями. Рыбинская пристань тянется на несколько верст, а суда располагаются у берега правильными отделениями, смотря по тому, с каким они грузом и куда идут».

Собственно, пристань и была в то время самой любопытной частью города. Феофан Шелаев, ярославец и поэт, писал:

Севши в лодку, все крестились,
По Волге-матушке пустились,
Закричали дружно братцы: «По волнам
Скоро будем в Рыбинске же там.
По волнам, по волнам,
Скоро будем, скоро там».
Песни в радостях запели,
Деревни мимо запестрели:
«По волнам, по волнам,
Скоро будем, скоро там».
Светило дивное закрылось,
Вечерним мраком все покрылось:
«По волнам, по волнам,
Скоро будем, скоро там».
Ветер в лодку свистит,
Заря полночная горит:
«По волнам, по волнам,
Скоро будем, скоро там».

Что же это за город такой? Что там — медом намазано, что ли? Предвкушение радости такое, будто герои Шелаева направляются в рай, а не в какой-то уездный город. В чем же дело?

Стал я всматриваться порой,
Стоял где город портовой;
Вот за кустиком мелькнул,
Вдали наш Рыбинск проглянул.
Мы столпились тут как братья,
Принимали друг друга в объятья;
Скоро к пристани подплыли
И из лодки выходили.

А дело в том, что рыбинская пристань была и вправду не совсем обычной. Не просто пристань — целый мир, невиданное шоу, поразительный аттракцион. Живописцы братья Чернецовы посвятили ей страничку своего дневника: «Рано утром засвежел низовой ветер, подул сильнее; над Рыбинском потянулись тучи, молния сделала несколько почерков по темному небу и раскаты грома раздались по Волге; дождь-ливень с шумом окатил землю. Тучи пронеслись, небо очистилось, весеннее красное солнышко скоро обсушило взмоченное дождем, и жданные гости показались. Из-за крыш домов мы увидели вьющиеся змейками по воздуху вымпелы на мачтах передовых судов приближающегося первого каравана. Народ на улицах засуетился, послышался говор; „Караван, караван идет!“ Жители спешили на берег Волги любоваться на величественное вступление мирного флота-кормильца в рыбинскую пристань. Но как изобразить пером картину, которую в первый раз в жизни удалось нам увидеть!

Несколько верст ниже города из-за поворота Волги, где она образует колено, показались суда, выплывающие на белых парусах, и, как лебеди, горделиво выставляя полные, питательные груди свои, надуваемые ветром, стаей приближались к городу, на рубеже его поднимали разноцветные свои флаги при пушечных выстрелах и, опережая друг друга, то рядом, то группами неслись на своих огромных парусах… Вскоре пристань стала заниматься пришедшими судами, на которых тотчас же началась деятельная работа; уборка снастей и мытье палуб. Любопытно было видеть ловкость так называемых косных, которые на вершине мачт, у вымпелов, едва цепясь на снастях, с песнями, которые у русского и в радости и в горе необходимы, производили расснастку. Караван этот из Лыскова Нижегородской губернии и состоял более нежели из 60 судов, пришедших в один день. Берег оживился, зашумел говор; бурлаки с ложками за тесьмами или лыком на шляпах, в липовых башмаках живописно высыпали на рыбинскую пристань; эти рекоходцы-труженики, забыв о своей

лямке, группами оставили берег и огласили его удалыми песнями… Стоит быть в Рыбинске для того только, чтобы видеть приход подобного каравана.

После обедни на Соборной площади бурлаки живописно расположились группами под открытым небом. Поставя суда на места, расснастя их и получа расчет, они на свободе рассуждали о выгоде путины своей. У берега стояли лодки, в которые усаживались бурлаки, чтобы отправиться вниз по Волге к домам своим для предстоящих летних полевых работ, или спешили, чтобы опять наняться в путину. Волга оживилась от беспрестанно плывущих по ней судов к Рыбинску, который теперь принял новый вид…

По мере прихода судов к Рыбинску и левый берег Волги против города оживлялся. Там сушили огромные паруса с расшив и других низовых волжских судов. Из запасных магазинов производилась нагрузка барок для отправления вверх, а нагруженные тянулись лошадьми, которые, натужа свои груди, тащили их против воды; крики лоцманов и погонщиков составляли противоположность веселым песням бурлаков на судах, плывущих к Рыбинску под парусами. Мачты беспрестанно приходимых судов постепенно закрывали собою Рыбинск; разноцветные флаги и флюгера пестрили этот беспрерывно возрастающий лес, сквозь который виднелся Рыбинск, принимающий вид совершенно портового города».

Вот такая сказочная пристань.

* * *

До Рыбинска дошли за двадцать дней. Владимир Алексеевич получил первый в своей жизни «гонорар» (всего-то три рубля) и принялся заводить новые знакомства.

Первым делом Костыга привел Гиляровского к крючникам.

«— Петля! Балабурда!! Вы откуда, дьяволы?

Составили стол. Сели. Я молчал. Пришедшие на меня покосились и тоже молчали — да выручил Костыга:

— Это свой… Мой дружок, Алеша Бешеный.

Нужно сказать, что я и в дальнейшем везде назывался именем и отчеством моего отца, Алексей Иванов, нарочно выбрав это имя, чтобы как-нибудь не спутаться, а Бешеным меня прозвали за то, что я к концу путины совершенно пришел в силу и на отдыхе то на какую-нибудь сосну влезу, то вскарабкаюсь на обрыв, то за Волгу сплаваю, на руках пройду или тешу ватагу, откалывая сальто-мортале, да еще переборол всех по урокам Китаева.

Пришедшие мне пожали своими железными лапами руку».

Естественно, Владимир Алексеевич не мог упустить случай, не похвастаться. А дальше — больше:

«— Удалой станишник выйдет! — похвалил меня Костыга.

— Жидковат… Ручонка-то бабья, — сказал Балабурда.

Мне это показалось обидно. На столе лежала сдача — полового за горячими кренделями и за махоркой посылали. Я взял пятиалтынный и на глазах у всех согнул его пополам — уроки Китаева, — и отдал Балабурде:

— Разогни-ка!

Дико посмотрели на меня, а Балабурда своими огромными ручищами вертел пятиалтынный.

— Ну тя к лешему, дьявол! — и бросил.

Петля попробовал — не вышло. Тогда третий, молодой малый, не помню его имени — попробовал, потом закусил зубами и разогнул.

— Зубами. А ты руками разогни, — захохотал Улан.

Я взял монету, еще раз согнул ее, пирожком сложил и отдал Балабурде, не проронив ни слова. Это произвело огромный эффект и сделало меня равноправным».

Здесь же, за разговором выяснилось, что «станицу» затевать не время — в Рыбинске мало подходящего народа, да еще холера, да еще активизировалась местная полиция — не так давно забрали атамана Репку, семидесятилетнего романтика-рецидивиста.

Пришлось нашему герою наниматься в крючники.

* * *

Самым колоритным и распространенным типом волжской пароходной жизни был, конечно, не бурлак, а крючник — портовый грузчик, подряжавшийся на эту работу от крайней бедности и неопределенных перспектив. Иван Сергеевич Аксаков, славянофил и почвенник конечно же покривил душой, когда написал: «С каким удовольствием переходят мои глаза на сухопарого мужика, поющего песни!

Судорабочие, бурлаки, водоливы приходят сюда летом в ожидании трудной работы. Какой бодрый, веселый, трудящийся народ без купеческого брюха, без спеси, без претензий! В Рыбинске случалось мне слушать песни. Так, как поют их здесь, вы нигде не услышите!»

Иван Сергеевич, безусловно понимал, что этот «бодрый, веселый, трудящийся народ» с удовольствием променял бы свою

«трудную работу» на безделье и «купеческое брюхо». А петь можно и в ресторане, сидя за столом. Плати — и пой, сколько угодно.

У большинства же наблюдателей этот люд скорее вызывал чувство тревоги и брезгливости. Другой писатель, Александр Иванович Куприн, похоже, был ближе к истине. Он писал Леониду Андрееву: «Какой интересный тип я встретил в Рыбинске! Среди мужиков и баб, рассуждающих о своих житейских нуждах, пеньке, веретенах, дугах и льне, — мне попалась чудесная девушка… Мы сидели на берегу Волги. Недалеко от нас грузчики пили водку и ругались изощренной волжской бранью. Оглядываясь на босяков и вздрагивая от их хохота, Аграфена рассказывала о своей девятнадцатилетней жизни. Поражает ее горестная судьба. По завещанию матери ее должны постричь в монахини. Девушка с завистью и тихой грустью говорила о готовящейся свадьбе старшей сестры. В Рыбинске она купила ей подвенечное платье. Мою спутницу сопровождал какой-то дальний родственник, здоровенный мужик, очень похожий на волжского богатыря, который всю жизнь гонял плоты от Рыбинска до низовьев. Вечером на палубе парохода я наблюдал, с какой тоской Аграфена смотрела на красоту здешних мест. Мне показалось, что только любовь к матери удерживает ее от решительного шага — порвать с монастырем… Об этой встрече хочется написать небольшую вещь. Делаю черновые наброски».

Впрочем, истинный русский интеллигент традиционно обладает странным и весьма парадоксальным качеством — он видит гадость, понимает ее, сознается в этом, но не осуждает гадость, а напротив, чуть ли ею не восхищается. Вот, например, фрагмент из «Путевых записок» В.Г. Короленко: «Этот купец уговорил меня побывать в Рыбинске. Через несколько дней я решил подняться выше, до Твери, с остановкой в Рыбинске… В город мы пришли вечером. Бледные лучи заката освещали шпиль собора, единственного высокого строения, напоминающего Петропавловку. Возможно, здешние купцы хотели увековечить собором свои прочные связи с торговыми кругами столицы. На берегу Волги ватаги оборванцев жгли костры, пели заунывные или разухабистые песни. Днем их было не узнать. С раннего до позднего вечера грязные, лохматые мужики таскали огромные мешки с хлебом. Шутки и брань доносились отовсюду. Работа спорилась на удивленье».

А наш герой, Владимир Гиляровский, крючнику, например, сострадал. И даже посвятил ему стихотворение:

Мокра рубаха, лапти рвутся,
Устали ноги и спина…
А доски плещут, доски гнутся,
Под ними хлюпает волна.
Здесь песен нет. Весь день в молчаньи.
Рот пересох до хрипоты,
Лишь только крякнет от страданья,
С плеча кидая куль в бунты…
Опять бежит по зыбкой сходне
За новым грузом налегке,
Вчера, и завтра, и сегодня…
Куль на спине да крюк в руке…

Жизнь крючника действительно была нелегкой. Ф. Арсеньев в исследовании «Рыбинск и его производительные силы в промыслах и торговле» писал: «Крючники большею частью состоят из крестьян Рыбинского, Мышкинского, Моложского, Кашинского, Гжатского уездов и мещан, отставных солдат и крестьян Муромского уезда, под названием стародубов, которые занимаются собственно погрузкою хлеба и другого товара в барки и прочие суда, отправляемые из Рыбинска к Санкт-Петербургу, перегрузкою из низовых судов и выгрузкою на берег на складку для зимовки… Всего занимаются крючною работою во время скопления каравана тысяч до шести человек. Все они живут по квартирам в самом городе или на пристанях, при которых производятся работы. Грязь, вонючая пища, черное белье с плотоядными насекомыми — неразлучны с их временным бытом».

Другой исследователь, К. Головщиков расписывал подробности: «Карьера крючников незавидна. Чрезмерное напряжение мускулов, постоянное давление значительной (от 4½ до 12 пуд.) тяжести на все органы человека, беспрерывная трата всех его сил — неминуемо ведут к быстрому расслаблению организма и порождают известные болезни, прямо, по мнению врачей, вытекающие из всех этих причин. Грыжа, потеря упругости в мышцах ног, хронические страдания в спинном хребте и преимущественно в пояснице, на которую при переноске сосредотачивается вся тяжесть, составляют достояние почти каждого крючника и преждевременно делают его существом хилым, дряхлым, не способным ни к какой деятельности. Но кроме этой плачевной будущности, почти общей всем крючникам, они подвержены еще разным случайностям: переломы ребер,

падения с ношей в воду с ушибами и увечьями нередко лишают крючную артель одного или нескольких ее членов».

Присоединялся к ним и публицист С.В. Максимов: «Самый видный на всех пристанях и самый главный деятель, на спине которого выезжает вся здешняя хлебная операция, — это крючник-зимогор, несчастный человек. Перекинув железный крюк правой рукой через левое плечо и подхватив девятипудовый куль левой рукой снизу, он целый день шагает по сходням и нагуливает могучую силу, которая потом и истрачивается при самых отчаянных условиях жизни без крова и одежды».

А газета «Звезда» сообщала: «В Рыбинске, в этом городе „богатеев-хлебников“, с ранней весны до наступления заморозков скопляется свыше 35000 крючников…

Крючники почти всегда работают от подрядчика, который получает и с ними же рассчитывается с пуда. Ему же перепадает львиная доля заработка. Тут же на пристанях, в смрадных покосившихся лачугах, прогнивших барках или попросту под открытым небом ютятся крючники, тут же обедают всухомятку всякой снедью, продаваемой грязными торговками с ларей, без всякого прикрытия их от стаи мух и густых клубов пыли…

Неподалеку, на пригорке, полном мусора и отбросов, носящем не слишком поэтическое название «Вшивой горки», в обветшалых землянках живут те же крючники».

После таких свидетельств умиления Аксакова выглядят конечно же неубедительно.

* * *

Владимир Алексеевич освоился довольно быстро: «Дня через три я уже лихо справлялся с девятипудовыми кулями муки и, хотя первое время болела спина, а особенно икры ног, через неделю получил повышение: мне предложили обшить жилет золотым галуном. Я весь влился в артель и, проработав с месяц, стал чернее араба, набил железные мускулы и не знал устали. Питались великолепно… По завету Репки не пили сырой воды и пива, ничего кроме водки-перцовки и чаю. Ели из котла горячую пищу, а в трактире только яичницу, и в нашей артели умерло всего трое».

Однажды Владимир Алексеевич сидел с компанией в трактире. По соседству пировали местные извозчики-ломовики. Кто-то кому-то не понравился. Слово за слово — дело почти дошло до драки. Последней каплей послужил, как водится, поступок Гиляровского. Дал козлу, забредшему в трактир за

выпивкой (в то время это не было чем-то особенным, козлов нарочно спаивали, ради смеху, а после регулярно подносили водку), понюхать табачку. Один из ломовиков закричал:

— Гляди, ребята, животину табаком травят! Измордую!

Старшие товарищи, Петля с Балабурдой, естественно, вскочили, бросились на помощь. Но помощь не понадобилась. Один из ломовиков с криком «Ой, смертонька!» свалился на пол. Принялся корчиться, его стало рвать. Следом за ним — и другой ломовик.

— Холера! Холера! — закричали присутствующие и бросились наутек.

Петля потом все приговаривал:

— Холера выручила… Она, голубушка, спасла…

Действительно, численный перевес был на стороне ломовиков. А людям, оказавшимся в такой истории, когда лишь эпидемия — спасительница, можно только посочувствовать.

* * *

Увы, недолго Гиляровский наслаждался своей удалью. Взвалил как-то на спину громадный мешок, сделал шаг, другой, третий, поскользнулся — и лодыжку сломал. Пришлось отлеживаться на расшиве. А когда лодыжка зажила (а заживало на нем все, как на собаке), засовестился: ведь родные ничего не знали о его судьбе. Послал письмо отцу — дескать, не стоит волноваться, все в порядке, живу в Рыбинске, служу в крючниках, на жизнь хватает, всем доволен. Алексей Иванович, естественно, поступил, как и поступил бы любой порядочный отец, — бросил все дела и поехал разыскивать блудного сына.

Долго искать не пришлось — Гиляровские случайно встретились возле гостиницы, в которой поселился Алексей Иванович. Встреча вышла трогательная — оба обрадовались, обнялись, поцеловались, пошли в номер Гиляровского-отца, заказали завтрак, водки.

— Я уже обедал. Сейчас на работу, — сказал Владимир.

— Ну, это ты брось, — ответил отец. — Поедем домой. Покажись дома, а там поезжай куда хочешь. Держать тебя не буду. Ведь ты и без всякого вида живешь?

— На что мне вид! Твоей фамилии я не срамлю, я здесь Алексей Иванов.

Тем не менее Владимир не стал артачиться. Он даже не попрощался с товарищами, не зашел за вещами — сразу же из гостиницы отец и сын пошли в магазин купить для беглеца

приличную одежду. А из магазина, еще раз перекусив, — на пароход.

Собственно, цель была достигнута — Владимир Гиляровский доказал родителям, что он уже не мальчик, а мужчина. Доказал и самому себе. Попробовал жизнь на зубок. Жизнь оказалась пусть не легкой, но вполне по силам. И что же дальше? Оставаться в Рыбинске? Надрываться, перетаскивая тюки с зерном? Подвергать себя риску умереть от холеры?

Смысла никакого в этом не было, и Гиляровский, человек весьма сообразительный, это прекрасно понимал. Не исключено, что и письмо он отправлял с одной лишь целью — с достоинством покинуть рыбинскую пристань. Одно дело — испугаться трудностей и убежать домой. И совсем другое — сжалиться над просьбами любимого отца.

Гиляровские сидели на открытой палубе и пили чай. Прошло всего несколько месяцев, после того как Владимир покинул родной дом, однако же они теперь были на равных. Два взрослых и сильных мужчины, умудренные жизненным опытом.

Глава 3.
Бродяга по собственной прихоти

Впрочем, до дома Гиляровский так и не доехал. На пароходе оказался капитан Егоров, друг Алексея Ивановича. Между делом предложил:

— Да поступайте же к нам в полк, в юнкера… Из вас прекрасный юнкер будет. И к отцу близко — в Ярославле стоим.

Возражений не последовало — перспективы вологодские были весьма расплывчаты, а здесь все-таки что-то более-менее определенное, к тому же неизведанное.

Владимир согласился.

Трудно судить, понравилась ли ему служба в полку. Пожалуй, не очень. Про бурлацкие и крючнические будни Владимир Алексеевич пишет задорно, весело, чуть ли не в каждой строчке похваляясь своей удалью, смекалкой и способностью налаживать контакты с окружающими. Здесь же все иначе.

Ясное дело, Гиляровский похваляется, но как-то вяло, через не хочу: «Первые месяцы моей службы нас обучали маршировать, ружейным приемам. Я постиг с первых уроков всю эту немудрую науку, а благодаря цирку на уроках гимнастики показывал такие чудеса, что сразу заинтересовал полк». Случались маленькие радости — к примеру, когда барабанщик Шлема Финкельштейн тайно отсылался за водкой — наш герой не чурался так называемых неуставных отношений.

Но, судя по всему, удовольствия Владимир Алексеевич от службы не получал: «Месяца через три открылась учебная команда, куда поступали все вольноопределяющиеся и лучшие солдаты, готовившиеся быть унтер-офицерами. Там нас положительно замучил муштровкой начальник команды, капитан Иковский… Он давал затрещины простым солдатам, а ругался, как я и на Волге не слыхивал. Он ненавидел нас, юнкеров, которым не только что в рыло заехать, но еще „вы“ должен был он говорить.

— Эй, вы! — крикнет, замолчит на полуслове, шевеля беззвучно челюстями, но понятно всем, что он родителей поминает. — Эй, вы, определяющиеся! — вольно! корровы!!.

А чуть кто-нибудь ошибется в строю, вызовет перед линией фронта и командует:

— На плечо! Кругом!.. В карцер на двое суток, шагом марш! — И юнкер шагает в карцер.

Его все боялись».

Правда, тут же Гиляровский оговаривался: «Меня он любил, как лучшего строевика, тем более, что по представлению Вольского я был командиром полка назначен взводным, старшим капральным, носил не два, а три лычка на погонах».

Но и нашему герою довелось посидеть в карцере: «Вот мерзость! Это была глубокая яма в три аршина длины и два ширины, вырытая в земле, причем стены были земляные, не обшитые даже досками, а над ними небольшой сруб, с крошечным окошечком на низкой дверке. Из крыши торчала деревянная труба-вентилятор. Пол состоял из нескольких досок, хлюпавших в воде, на нем стояли козлы с деревянными досками и прибитым к ним поленом — постель и подушка. Во время дождя и долго после по стенам струилась вода, вылезали дождевые черви и падали на постель, а по полу прыгали лягушки.

Это наказание называлось — строгий карцер. Пища — фунт солдатского хлеба и кружка воды в сутки. Сидели в нем от суток до месяца — последний срок по приговору суда. Я просидел сутки в жаркий день после ночного дождя и ужас этих суток до сих пор помню».

* * *

Гиляровскому не хотелось писать о своей жизни в Ярославле. Можно предположить, что нашему герою, сызмальства не терпевшему ограничения своей свободы, жизнь в казармах в конце концов показалась невыносимой и лишь собственная гордость помешала изложить это в «Моих скитаниях».

Да и скучно было все, однообразно. Нечего писать. Разве что как сходил на Ветку — станцию, находившуюся недалеко от Ярославля, и посмотрел на так называемых зимогоров — бездомных людей, живших всю зиму в шалашах на земле (он тогда уже был любопытен донельзя). Зимогорам наш герой даже посвятил рассказ. И этим не ограничился. В начале XX века он, как мог, принимал участие в обустройстве быта ярославских зимогоров. Не без его участия была организована Артель трудовой помощи, которая взяла на себя эту миссию. Ее члены не забывали Гиляровского и писали в Москву письма: «Мы сердечно благодарим за книги и за пожертвования… Посылаем две фотографии, снятые с наших временных жилищ, находящихся на Ветке, под названием „Царская кухня“, выстроенных нами собственноручно из драни и старых рваных рогож».

Но все это будет потом. А пока — скукота и муштра.

* * *

В казармах Гиляровский провел два года, после чего был откомандирован в Москву, в юнкерское училище. Так произошла первая встреча Владимира Алексеевича с Москвой, с городом, с которым будет связана вся его жизнь. Эта встреча настолько запомнилась будущему репортеру, что он в подробностях смог описать ее спустя 61 год: «Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом.

Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика. Но и те проехали. Полная тишина, безлюдье и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути — Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, «Лафортово».

— Во, это Рязанский вокзал! — указал он на темневший силуэт длинного, неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху; это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго.

Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посредине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки… Темь, тишина, сон беспробудный.

Вдали два раза ударил колокол — два часа!

— Это на Басманной. А это Ольховцы… — пояснил вожатый. И вдруг запел петухом: — Ку-ка-ре-ку!..

Мы оторопели: что он, с ума спятил?

А он еще…

И вдруг — сначала в одном дворе, а потом и в соседних ему ответили проснувшиеся петухи. Удивленные несвоевременным пением петухов, сначала испуганно, а потом зло залились собаки. Ольховцы ожили. Кое-где засветились окна, кое-где во дворах застучали засовы, захлопали двери, послышались удивленные голоса: «Что за диво! В два часа ночи поют петухи!»

Мой друг Костя Чернов залаял по-собачьи; это он умел замечательно, а потом завыл по-волчьи. Мы его поддержали. Слышно было, как собаки гремят цепями и бесятся.

Мы уже весело шагали по Басманной, совершенно безлюдной и тоже темной. Иногда натыкались на тумбы, занесенные мягким снегом. Еще площадь. Большой фонарь освещает над нами подобие окна с темными и непонятными фигурами.

— Это Разгуляй, а это дом колдуна Брюса, — пояснил Костя.

Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года».

Город приглянулся нашему герою. Еще бы: «Вместо грязных нар в Николомокринских казармах Ярославля я очутился в роскошном дворце Московского юнкерского училища в Лефортове и сплю на кровати с чистым бельем».

Впрочем, и в Москве жизнь не казалась медом: «Дисциплина была железная, свободы никакой, только по воскресеньям отпускали в город до девяти часов вечера. Опозданий не полагалось. Будние дни были распределены по часам, ученье до упаду, и часто, чистя сапоги в уборной еще до свету при керосиновой коптилке, вспоминал я свои нары, своего Шлему, который, еще затемно получив от нас пятак и огромный чайник, бежал в лавочку и трактир, покупал „на две чаю, на две сахару, на копейку кипятку“, и мы наслаждались перед ученьем чаем с черным хлебом.

Здесь нас ставили на молитву, вели строем вниз в столовую и давали жидкого казенного чаю по кружке с небольшим кусочком хлеба. А потом ученье, ученье целый день! Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да, впрочем, нас они и не интересовали».

Одна отрада: «На меня начальство обратило внимание как на хорошего строевика и гимнаста, и, судя по приему начальства, мечта каждого из юнкеров быть прапорщиком мне казалась достижимой».

Но военная карьера нашего героя оборвалась так же случайно и стремительно, как и бурлацкая. Возвращаясь в училище из увольнения, он нашел ребенка. Подброшенного.

Равнодушно пройти мимо не смог, поднял его и принес в училище. Дежурный постарался сохранить эту историю в секрете, а ребенка переправили в полицию. Но на следующий день все юнкера прознали о случившемся, стали дразнить Гиляровского. Все бы ничего, но об этом происшествии стало известно высшим чинам, и на всякий случай Гиляровского отчислили в полк «по распоряжению начальства и без указания причины».

Владимир унижения не снес и, прибыв в полк (в тот же, в Ярославский), сразу же подал рапорт об отставке. Жизнь опять пришлось начинать с нуля.

«Закусив в трактире, я пошел на базар, где сменял шинель, совершенно новую, из гвардейского сукна, сшитую мне отцом перед поступлением в училище, и такой же мундир из хорошего сукна на ватное потрепанное пальто; кепи сменял, прибавив полтину, на ватную старую шапку и, поддев вниз теплую душегрейку, посмотрел: зимогор! Рвань рванью. Только сапоги и штаны с кантом новые».

Что делать — совершенно непонятно. В таком костюме, да и без рекомендаций место найти сложно. По старой памяти зашел поесть в казармы — накормили. Но один поручик, указав на Гиляровского, громко прочел юнкерам мораль — дескать, видите вот, до зимогора достукался. Наш герой решил больше не посещать казармы.

Случайно встреченный знакомый накормил в трактире ужином (водка, икра, лафит, солянка из стерлядки, рябчики — знакомый не бедствовал) и незаметно сунул Владимиру рубль с мелочью. Падение было очевидным и стремительным.

Проходя мимо военной прогимназии, Гиляровский увидел, как сторожа колют дрова. Попросил:

— Братцы, дайте погреться, хоть пяток полешек расколоть, я замерз.

Нет, однако, худа без добра, и «на гражданке» в Гиляровском начал пробуждаться былой кураж: «Ну и показал я им, как колоть надо. Выбирал самые толстые, суковатые — сосновые были дрова — и пока другой сторож возился с поленом, я расколол десяток…

— Ну и здоров, брат, ты! На-ко вот, покури.

И бакенбардист сунул мне трубку и взялся за топор.

Я для виду курнул раза три и к другому:

— Давай, дядя, я еще бы погрелся, а ты покури.

— Я не курю. Я по-сухопутному.

Вынул из-за голенища берестяную тавлинку, постучал указательным пальцем по крышке, ударил тремя пальцами раза три сбоку, открыл; забрал в два пальца здоровую щепоть, склонил голову вправо, прищурил правый глаз, засунул в правую ноздрю.

— А ну-ка табачку носового, вспомни дедушку Мосолова, Луку с Петром, попадью с ведром!

Втянул табак в ноздрю, наклонил голову влево, закрыл левый глаз, всунул в левую ноздрю свежую щепоть и потянул, приговаривая:

— Клюшницу Марию, птишницу Дарью, косого звонаря, пономаря-нюхаря, дедушку Якова… — и подает мне: — Не

угощаю всякого, а тебе почет.

Я вспомнил шутку старого нюхаря Костыги, захватил большую щепоть, засучил левый рукав, насыпал дорожку табаку от кисти к локтю, вынюхал ее правой ноздрей и то же повторил с правой рукой и левой ноздрей…

— Эге, да ты нашенский, нюхарь взаправдошной. Такого и угостить не жаль».

Сторожа составили протекцию, и Гиляровский в одночасье был зачислен сторожем — с кормежкой и жильем.

* * *

Вольная жизнь располагала к озорству и праздному бахвальству: «Не утерпел я, вынес опилки, подмел пол — а там на турник и давай сан-туше крутить, а потом в воздухе сальто-мортале и встал на ноги…

И вдруг аплодисменты и крики…

— Новый дядька? А ну-ка еще!.. еще!..

На другой день во время большой перемены меня позвал учитель гимнастики, молодой поручик Денисов, и после разговоров привел меня в зал, где играли ученики, и заставил меня проделать приемы и на турнике и на трапеции, и на параллельных брусьях; особенно поразило всех, что я поднимался на лестницу, притягиваясь на одной руке. Меня ощупывали, осматривали, и установилось за мной прозвище:

— Мускулястый дядька».

Но недолго радовался жизни «мускулястый дядька». Прошел слух, что скоро прибывает новый педагог, из бывших сослуживцев Гиляровского. Встречаться с ним, конечно, не хотелось. Да и при «зачислении» Владимир Алексеевич соврал, что раньше служил в цирке. Словом, оставаться было не с руки — скандал казался неизбежным.

Гиляровский выпросил в счет заработка рубль (хотел три, да эконом не дал себя уговорить), собрал нехитрые вещички и покинул прогимназию.

* * *

Гиляровский не растерялся — сразу направился в пожарную часть и поинтересовался насчет работы.

— А с лошадями возиться умеешь? — спросили у него.

— Да я конюх природный, — соврал Владимир Гиляровский.

— Ступай в казарму.

И никаких присяг, медкомиссий и прочих формальностей.

По словам нашего героя, новая работа спорилась не хуже предыдущих: «Ужинаю щи со снетками и кашу. Сплю на нарах. Вдруг ночью тревога. Выбегаю вместе с другими и на линейке еду рядом с брандмейстером, длинным и сухим, с седеющей бородкой. Уж на ходу надеваю данный мне ременный пояс и прикрепляю топор. Оказывается, горит на Подьяческой улице публичный дом Кузьминишны, лучший во всем Ярославле. Крыша вся в дыму, из окон второго этажа полыхает огонь. Приставляем две лестницы. Брандмейстер, сверкая каской, вихрем взлетает на крышу, за ним я с топором и ствольщик с рукавом. По другой лестнице взлетают топорники и гремят ломами, раскрывая крышу. Листы железа громыхают вниз. Воды все еще не подают. Огонь охватывает весь угол, где снимают крышу, рвется из-под карниза и несется на нас, отрезая дорогу к лестнице. Ствольщик, вижу сквозь дым, спустился с пустым рукавом на несколько ступеней лестницы, защищаясь от хлынувшего на него огня… Я отрезан и от лестницы и от брандмейстера, который стоит на решетке и кричит топорникам:

— Спускайтесь вниз!

Но сам не успевает пробраться к лестнице и, вижу, проваливается. Я вижу его каску наравне с полураскрытой крышей… Невдалеке от него вырывается пламя… Он отчаянно кричит… Еще громче кричит в ужасе публика внизу… Старик держится за железную решетку, которой обнесена крыша, сквозь дым сверкает его каска и кисти рук на решетке… Он висит над пылающим чердаком… Я с другой стороны крыши, по желобу, по ту сторону решетки ползу к нему, крича вниз народу:

— Лестницу сюда!

Подползаю. Успеваю вовремя перевалиться через решетку и вытащить его, совсем задыхающегося… Кладу рядом с решеткой… Ветер подул в другую сторону, и старик от чистого воздуха сразу опамятовался. Лестница подставлена. Помогаю ему спуститься. Спускаюсь сам, едва глядя задымленными глазами. Брандмейстера принимают на руки, в каске подают воды. А ствольщики уже влезли и заливают пылающий верхний этаж и чердаки.

Меня окружает публика… Пожарные… Брандмейстер, придя в себя, обнял и поцеловал меня… А я все еще в себя не приду. К нам подходит полковник небольшого роста, полицмейстер Алкалаев-Карагеоргий, которого я издали видел в городе… Брандмейстер докладывает ему, что я его спас.

— Молодец, братец! Представим к медали».

И где же та медаль?

А нету. Гиляровский вдруг увидел, что на пожар спешит его бывшая рота во главе, ясное дело, с капитаном. Он снова застеснялся и убежал в толпу.

Странное дело. Наш герой, которого смутить было не так-то просто, почему-то, как угорелый, бегал от бывших сослуживцев. Что же там, в полку, произошло такое, о чем он старательно умалчивал? Может быть, причины увольнения из прогимназии и из пожарных были иными?

Похоже, что Владимир Алексеевич что-то скрывал. Только вот непонятно, что именно.

* * *

Проблема пропитания и жилья снова встала перед Гиляровским. Он вспомнил, что неподалеку, рядом с Романовом-Борисоглебском (ныне — городом Тутаевым), находится имение его приятелей братьев Поповых. Когда-то в Вологде они учились в одном классе, затем Поповы разыскали Гиляровского в Ярославле (он тогда еще был юнкером). Однокашники, естественно, пошли в кабак, изрядно выпили, и господа Поповы пригласили Гиляровского в имение, управляющим.

«Почему бы не принять сейчас их предложение?» — подумал наш герой. И, по обыкновению, пешком отправился в Романов-Борисоглебск. Подумаешь — всего-то три десятка километров.

Но все не так просто. Наступила зима, двадцать градусов ниже нуля. В городе мороз не очень чувствуется, а среди чистого поля — просто смерть. А у Владимира Алексеевича даже не было шапки. Вот ведь незадача.

По пути завернул в кабак, стащил свеженький половик, закутал голову, дальше пошел.

Стемнело. Добрел до деревни, постучался к незнакомым людям, попросился переночевать. В ночлеге ему отказали — дескать, предыдущий «квартирант» стащил топор и больше подвергать опасности свое имущество хозяева не собираются. Предложили только щами накормить.

Пришлось пойти на хитрость: «Кошка играла цепочкой стенных часов-ходиков, которые не шли.

Чтобы сколько-нибудь задержаться в теплой избе, я заговорил о часах.

— Давно стоят? — спрашиваю хозяина.

— С лета. Упали как-то, ну и стали. А ты понимаешь в часах-то?

— Малость смыслю. У себя дома всегда часы сам чиню.

— Ну, паря. А ты бы наши-то посмотрел…

— Что же, я, пожалуй, посмотрю… Отвертка есть?

— Стамеска махонькая есть.

Подал стамеску. Хозяйка убрала со стола. С сердечным трепетом я снял со стены ходики и с серьезной физиономией осмотрел их и принялся за работу. Кое-что развинтил.

— Темновато при лучине-то… Уж я лучше утром…

Хозяйка подала платок, в который я собрал части часов.

Улегся я на лавке. Дед и мальчишка забрались на полати… Скоро все уснули. Тепло в избе. Я давно так крепко не спал, как на этой узкой скамье с сапогами в головах. Проснулся перед рассветом; еще все спали. Тихо взял из-под головы сапоги, обулся, накинул пальто и потихоньку вышел на улицу. Метель утихла. Небо звездное. Холодище страшенный. Вернулся бы назад, да вспомнил разобранные часы на столе в платочке и зашагал, завернув голову в кабацкий половик…»

* * *

Название «город Тутаев» будто и вправду взято из какой-то сказки. В действительности городов-то было два — Романов и Борисоглебск. Первый — на левом волжском берегу, второй — на правом. Затем эти два города объединили и в 1918 году присвоили им одно имя — в честь красноармейского бойца Ильи Тутаева, погибшего во время Ярославского восстания. Сейчас никто о том Илье Тутаеве не помнит. А название вполне пришлось к лицу этого города.

Он и сегодня — воплощенная российская провинция. Одноэтажные и двухэтажные кирпичные домишки. Полуразрушенное здание с вывеской «Бар», трогательные таблички на заборах: «Дети, пожалуйста, не дразните собак, они могут вас укусить». И удивительная разобщенность двух частей этого города. В Тутаеве и поныне нет моста через Волгу — жителям города приходится перемещаться на пароме.

Именно сюда держал путь наш герой (город практически не изменился с того времени). Точнее говоря, не в сам Тутаев, а в имение Поповых. Но его ждало разочарование.

— Здравствуйте. Это Подберезное?

— Было оно Подберезное когда-то, да сплыло!

— А где Поповы живут?

— Э-эх! Были Поповы, да сплыли!

Оказывается, братья Поповы всего лишь за два года

умудрились пропить свое имение. А затем отбыли в неизвестном направлении.

И Гиляровский вернулся в Ярославль (на сей раз нашлась попутная телега). Продал на рынке сапоги и купил валенки. Познакомился с каким-то оборванцем. И этот оборванец подбил Гиляровского пойти вместе с ним на белильный завод господина Сорокина.

«— Эка дура! Да на завод к нам! У Сорокина места хватит….

— Да я не знаю работы…

— В однорядь выучат… Напьемся чаю, да айда со мной. Сразу приделят к делу…

— У меня паспорта нет.

— А у кого он на заводе есть? Там паспортов не любят, рублем дороже в месяц плати… Айда!»

Ну, айда так айда.

* * *

Завод находился на окраине Ярославля. Добирались, разумеется, пешком.

С устройством на работу проблем не было: «Мой спутник постучал в калитку. Вышел усатый старик-сторож.

— Фокыч, я новенького привел…

— Ну-к што ж… Веди в контору, там Юханцев, он запишет.

Приходим в контору. За столом пишет высокий рыжий солдатского типа человек. Стали у дверей.

— Тебе что, Ванька?

— Вот новенького привел. Юханцев оценил меня взглядом.

— Ладно. В кубовщики. Как тебя писать-то.

— Алексей Иванов.

— Давай паспорт.

— У меня нет.

— Ладно. Четыре рубля в месяц. Отведи его, Ваня, в казарму».

Гиляровскому, вроде бы уже бывалому, в который раз открылся новый мир. Работа по четыре часа в сутки, два утром, а два после обеда — а конкуренции нет никакой. Обед нажористый, щи с мясом, каша с салом — а никто не ест. В чем дело?

Оказалось, что в свинце. Всего несколько месяцев — и в организме начинаются необратимые процессы. Потеря аппетита, слабость, обмороки, боли в животе. А там и смерть недалеко.

Но наш герой свинца, конечно, не боялся. И дело у него, ясное дело, спорилось: «Иваныч подал мне нож, особого устройства, напоминающий большой скобель, только с одной

длинной рукоятью посредине.

— Вот это и есть нож, которым надо резать кубики мелко, чтобы ковалков не было. Потом, когда кубики изрежем, разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим в кубики. А теперь скидай с себя рубаху…

Он полюбовался на меня и одобрительно сказал:

— Тебе пять кубиков изрезать нипочем. Ну, гляди. Показал мне прием, начал резать, но клейкий кубик, смассовавшийся в цемент, плохо поддавался, приходилось сперва скоблить. Начал я. Дело пошло сразу. Не успел Иваныч изрезать половину, как я кончил и принялся за вторую».

И, как не трудно догадаться, в планы Гиляровского опять ворвался случай, полностью их изменивший. Шел по улице, к нему подскочил песик, стал лаять. Гиляровский отбивался, песик вцепился ему в штаны. Наш герой схватил песика за хвост и перебросил за забор. Из-за забора раздались вопли:

— Собаку в щи кинули!

Надо же было так случиться, что Владимир Алексеевич закинул несчастного песика в котел, в котором каменщики варили себе щи.

Каменщики бросились в погоню за Гиляровским, тот бросился наутек и спасся от разъярившихся преследователей. Но это мало утешало — ведь его узнали и собаку не простят.

Оставаться на заводе больше невозможно. В Ярославле, впрочем, тоже. Владимир Алексеевич тайком прокрался в барак, забрал заработанные деньги и поспешил на пристань.

* * *

Наступила весна 1874 года. Владимир Алексеевич держал путь вниз по Волге.

Первая остановка — Нижний Новгород. В наши дни — огромный город, один из немногих в нашем государстве, имеющий метро. Самодостаточный и самобытный. Довольно дорогой — ежели подходить к нему с провинциальной меркой. Впрочем, ощущения провинции там нет. Скорее походит на столичный.

В былые времена город выглядел иначе.

«Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередке города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие

красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом — пьяные монопольки под зелеными вывесками. Чего больше? Ох, монополек!» — описывал дореволюционный Нижний Новгород поэт Мариенгоф.

Но Гиляровскому опять было не до красот и наблюдений. Деньги закончились, требовалось найти заработок.

Где его искать? Конечно же на ярмарке.

* * *

Нижегородская ярмарка была крупнейшей в России. И одной из старейших — еще в октябре того же, 1816 года Александр Первый издал «Высочайшее утверждение» о переводе Макарьевской ярмарки в губернскую столицу, в Нижний Новгород. Место ей нашли на стрелке Волги и Оки.

Ярмарочный комплекс был сооружен на славу. Строительством руководил инженер Августин Августович Бетанкур (тот самый, который построил московский манеж). По его проекту был сооружен так называемый Главный ярмарочный дом. Правда, спустя полстолетия он начал разрушаться — повредили ежегодные паводки. Пришлось отстроить новый — по проекту архитекторов Треймана, фон Гогена и Трамбицкого. А надзирал за строительством господин Иванов, главный ярмарочный архитектор (именно так и называлась его должность).

Владимир Соллогуб описывал главную ярмарку страны в повести «Тарантас»: «Нижегородская ярмарка — всему миру известная ярмарка; на этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом; тут решается благоденствие народов; тут ключ наших русских сокровищ. Тут пестреют все племена, раздаются все наречия, и тысячи лавок завалены товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, балаганах и временных гостиницах. Тут все население толпится около одного кумира — кумира торговли.

Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся самовары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами, повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар, какой бы он ни был: и бриллианты, и сало, и книги, и деготь, и все, чем только ни торгует человек. Ока с Волгой тянутся одна к другой, как два огромных войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут

суда со всех концов России с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, ожидающие только размена, чтобы снова идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург».

Не один только он восхищался фантастическим зрелищем ярмарки. Например, писатель Павел Мельников-Печерский запечатлел Нижегородскую ярмарку так: «За Окой, в тумане пыли чуть видны здания ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъемная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный… Балаганы расположены регулярнейшим образом, а именно: вдоль Оки по левую сторону от моста — Сибирская железная линия, далее — между рекой и длинным озером — ряды: лоскутный, кафтанный, ягодный, иконный, хлебный, пироженный, мясной, наконец, бойня. По правую руку, вдоль берега, ряды: хрустальный, фаянсовый и канатный; за ними параллельно озеру: стеклянный, холщевый, мыльный, вареньешной, меховой, шляпный и рукавишной. Донской, Уральский кожевенный, Ярославский железный, Нижегородский железный, табачный, корзинный, горячей воды, сапожный, светильный, циновочный, окошечный и, наконец, харчевни. Перейдя широкий мост через указанное озеро (на нем сверх того еще устроено четыре моста), по правой руке расположены меняльные и мелочные лавки, линии: фарфоровая, зеркальная, мебельная».

Ярмарка была, пожалуй что, главным событием в жизни владельцев российских магазинов, магазинчиков, лавочек, крупных торговых домов и оптовых компаний. На нее возлагались большие надежды, к ней готовились задолго. Это был весьма приятный ежегодный ритуал, который содержал в себе немало мелких ритуальчиков. Вот, например, как описывал это Сергей Васильевич Дмитриев, служивший в юности у одного ярославского чаеторговца: «Приехав в Нижегородскую ярмарку без хозяев (они приезжали позднее), мы всем коллективом отправлялись в старый, а оттуда в новый соборы, где служили молебен, ставя свечи и платя духовенству за счет хозяев. Хозяева по приезде на ярмарку делали то же самое, только уж одни, то есть пели молебны. По окончании ярмарки, когда товар был уже вывезен на баржи и в лавках все убрано, шли опять в соборы и пели благодарственные молебны уже все вместе: и хозяева, и служащие. В лавке оставались только рабочие татары.

Придя с молебнов, садились все за один стол с хозяевами

обедать, выпивать и поздравляться с благополучным окончанием ярмарки. Лебедев, Агафонов, Чистов, Шебунин напивались до безобразия. Их усаживали на извозчиков по двое и в сопровождении татарина-рабочего отправляли прямо на пароход в заранее купленные каюты, где они храпели до утра следующего дня».

Естественно, на ярмарке не обходилось и без шулеров-картежников. Они обращались к легкомысленным провинциалам:

— Три вороны, три галки играли в три палки. Даю три карты и даю деньги или беру из банка. Чем банк солидней, тем выгодней, купите дом и заведете ланду. Села ворона на березу и навалила два воза навозу, а галки для того летали на свалку… Заметываю. Прошу расступиться и не мешать любознательностью желающим успеха и счастливой судьбы.

Как нетрудно догадаться, успех сопутствовал лишь подсадным клиентам.

И, разумеется, одной из главных достопримечательностей ярмарки были всякие развлекательные учреждения. «Многие и очень многие почтенные толстосумы вырывались на ярмарку из-под надзора своих законных супруг, чтобы кутнуть раз в году во всю ширь русской натуры, — писал Н.И. Соболыциков-Самарин. — Полтора месяца идет дым коромыслом. Тут на вольной воле есть где разгуляться: и девицы-красотки одна лучше другой, не то что своя шестипудовая Аграфена Поликарповна, и шампанского море можно вылакать, и никто не осудит. Никому и невдомек где-нибудь в Иркутске, что именитый, всеми уважаемый купец и градской голова невылазно сидит здесь в ресторане или шантане и пьет мертвую. Приказчиков с собой взял лихих; они по торговле или закупкам все оборудуют, а чтоб им рот зажать, на то капиталы имеются. Да коли и убыток „ярманка“ даст — беда не велика; зато душеньку на полной свободе отвел».

Не удивительно, что развлечениям тут уделялось особое внимание. Сам знаменитый клоун Дуров по просьбе губернатора ездил тут на свинье для удовольствия российского купечества. Был тут даже театр, куда приезжали гастролировать известные актеры. Однако большинство посетителей ярмарки довольствовались зрелищами незамысловатыми.

Самым же популярным из аттракционов был так называемый самокат. Историк А.П. Мельников описывал его так: «Деревянное тесовое здание строилось двухэтажное, внизу помещалась касса у входа; во втором этаже, куда вела обыкновенно скрипучая лестница, помещался самый самокат, внизу машина, приводящая шестернями в движение огромную карусель, двигавшуюся в горизонтальной плоскости в верхнем этаже; вокруг карусели шла

галерея, снаружи и внутри ярко изукрашенная всякой мишурой, флагами, размалеванными изображениями невиданных чудовищ. На перилах этой галереи, свесив ноги к стоявшему перед таким зданием народу, сидел „дед“ с длинной мочальной бородой и сыпал неистощимым потоком всевозможные шутки и прибаутки, остроты, причем предметом осмеяния нередко являлся кто-нибудь из толпы, на что последний не обижался, а даже отчасти был доволен, привлекая на себя всеобщее внимание. По тому же барьеру расхаживали, кривляясь, пестро разодетые в грязные лохмотья скоморохи, кто из них был наряжен петухом, кто страусом, кто котом, кто медведем, зайцем; откалывались разные шутки, возбуждавшие неумолкающий хохот окружавшей толпы».

Однако еще большей популярностью, чем «самокат», тут пользовались трактиры, рестораны, кабаки.

— Эх, хорошо! — гуляя по Нижегородской ярмарке, восхищался Шаляпин. — Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!

На этом-то празднике жизни оказался вдруг Владимир Гиляровский. Естественно, он отдал должное и ресторанам, и игре (обжуливать такого великана шулеры не осмеливались), и, может быть, глупому самокату. Ведь возможность приобщиться к этим развлечениям у Гиляровского была — он устроился работать в лавку итальянских ювелиров за приличные деньги. Круг его обязанностей был широким — от уборки помещения до заманивания в лавку покупателей. «Гонорар» не маленький — 20 процентов от выручки.

Торговля шла бойко. Владимир Алексеевич мог многое себе позволить.

Однако же и это надоело. Гиляровский вновь сел на пароход и поплыл вниз по Волге.

* * *

Определенной цели Гиляровский не имел. В Казани была остановка. Целых шесть часов. Владимир Алексеевич пошел побродить по городу.

Казань сегодняшняя — город необычный. Бывшая столица Казанской губернии действительно превратилась в столицу Татарстана. Это видно невооруженным глазом — преимущественно православный город превратился в преимущественно мусульманский. Но по сей день сохраняются и кремль, и университет, и прочие достопримечательности.

Во времена, когда Владимир Алексеевич совершал свой вояж

по Волге, город ими просто изобиловал. Путеводитель сообщал: «Из пристаней обращает на себя внимание пристань округа путей сообщения с красивыми надпалубными постройками мавританского стиля… При въезде на дамбу, направо за Казанкой, видно массивное и мрачное здание памятника воинам, убитым при взятии Казани… Это — громадная усеченная пирамида с небольшим крестом наверху. Внутри устроена церковь. Под церковью — глубокое подземелье, посредине которого стоит большая гробница, наполненная человеческими костями… На Воскресенской много красивых зданий, из них громадный и красивый дом городского пассажа с большими магазинами и длинное с колоннадой здание университета. Налево от Воскресенской — сад „Черное озеро“».

Но все это, опять-таки, не привлекало нашего героя. У него была своя программа: «Закусив в дешевом трактире, пошел обозревать достопримечательности, не имея никакого дальнейшего плана. В кармане у меня был кошелек с деньгами, на мне новая поддевка и красная рубаха, и я чувствовал себя превеликолепно».

Да не тут-то было. Из какой-то подворотни выбежал мужичок в такой же, как у Гиляровского, красной рубахе и, проносясь мимо нашего героя, швырнул к его ногам стопку бумаг. Владимир Алексеевич, конечно, поднял эти бумаги, начал изучать. И в этот момент его схватили.

Казалось, улики налицо — рубаха красная, в руках бумаги. Но нашелся свидетель, заявивший, что убегавший и Владимир Алексеевич — два разных человека. Осталось немногое — предъявить паспорт и дальше идти. Но паспорта как раз и не было. Гиляровского препроводили в полицейскую часть.

Наш герой выбрал прекрасную тактику. Он уже понял, что бумаги — это прокламации против царя. Дело серьезное, пахнет политикой. Но Гиляровский решил покуражиться — сделал вид, что он сам — шишка в революционном движении.

«Огромное здание полицейского управления с высоченной каланчой. Меня ввели в пустую канцелярию. По случаю воскресного дня никого не было, но появились коротенький квартальный и какой-то ярыга с гусиным пером за ухом.

— Ты кто такой? А? — обратился ко мне квартальный.

— Прежде напои, накорми, а потом спрашивай, — весело ответил я.

Но в это время вбежал тот квартальный, который меня арестовал, и спросил:

— Полицмейстер здесь? Доложите, по важному делу… Государственные преступники.

Квартальные пошептались, и один из них пошел налево в дверь, а меня в это время обыскали, взяли кошелек с деньгами, бумаг у меня не было, конечно, никаких.

Из двери вышел огромный бравый полковник с бакенбардами.

— Вот этот самый, вашевскобродие!

— А! Вы кто такой? — очень вежливо обратился ко мне полковник, но тут подскочил квартальный.

— Я уж спрашивал, да отвечает, прежде, мол, его напой, накорми, потом спрашивай.

Полковник улыбнулся.

— Правда это?

— Конечно! На Руси такой обычай у добрых людей есть, — ответил я, уже успокоившись…

— Совершенно верно! Я понимаю это и понимаю, что вы не хотите говорить при всех. Пожалуйте в кабинет».

В кабинете побеседовали об охоте, после чего стали завтракать и выпивать.

«Я с жадностью ел селедку, икру, съел две котлеты с макаронами и еще. Налив два раза по полстакану, чокнулся с полковничьими рюмками и окончательно овладел собой. Хмеля ни в одном глазу. Принесли бутылку пива и кувшин квасу.

— Вам квасу?

— Нет, я пива. Пецольдовское пиво я очень люблю, — сказал я, прочитав ярлык на бутылке.

— А я пива с водкой не мешаю, — сказал жандарм.

Я выпил бутылку пива, жадно наливал стакан за стаканом. Полковники переглянулись.

— Кофе и коньяк!»

Затем Владимир Алексеевич потребовал, чтобы его устроили поспать. А через несколько часов сбежал, выдавив из окна раму с решеткой.

И вот он вновь на пароходе, едет себе в Астрахань.

* * *

А тут начинается сюрреализм. Если до этого у нашего героя были хотя бы приблизительные планы, то зачем он едет в эту Астрахань — ну совершенно непонятно. Что он собирается там делать? Почему именно Астрахань? Бог весть.

Тем не менее Владимир Алексеевич спустя несколько дней сходит на астраханский берег.

Астрахань, пожалуй, сохранила свою самобытность больше,

чем другие города Среднего и Нижнего Поволжья. По крайней мере, если речь идет о городах больших и густонаселенных. Он все такой же шумный, интернациональный (вектор той интернациональности конечно же направлен на восток), рыболовецкий и торговый. И красивый — ничего не скажешь.

Таким же он был и при Гиляровском. Один из его современников, некто Н. Ермаков сообщал: «Вообще город выстроен весь по плану, и… его смело бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда расстилаются перед зрителем картины, хотя не обширные, но красивые, в которых над пестрыми массами крытых черепицею домов резко и гордо возвышаются 34 храма, большею частью огромные, оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый кремль с колоссальною грандиозною громадою своего пятиглавого собора венчает пейзаж, по местам освеженный… зеленью и озаренный яркими лучами здешнего знойного солнца».

Но у нашего героя несколько иные впечатления.

«Астрахань. Пристань забита народом.

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний…

Солнце пекло смертно. Пылища какая-то белая, мелкая, как мука, слепит глаза по пустым немощеным улицам, где на заборах и крышах сидят вороны. Никогошеньки. Окна от жары завешены. Кое-где в тени возле стен отлеживаются в пыли оборванцы.

На зловонном майдане, набитом отбросами всех стран и народов, я первым делом сменял мою суконную поддевку на серый почти новый сермяжный зипун, получив трешницу придачи, расположился около торговки съестным в стоячку обедать. Не успел я поднести ложку мутной серой лапши ко рту, как передо мной выросла богатырская фигура, на голову выше меня, с рыжим чубом… Взглянул — серые знакомые глаза… А еще знакомее показалось мне шадровитое лицо… Не успел я рта открыть, как великан обнял меня.

— Барин? Да это вы!»

Бац! Неожиданная встреча. Рядовой Орлов, служивший вместе с Гиляровским в Ярославле.

«— Я, Лавруша…

— Ну, нет, я не Лавруша уж, а Ваня, Ваняга…

— Ну, и я не барин, а Алеша… Алексей Иванов…

— Брось это, — вырвал он у меня чашку, кинул пятак торговке и потащил. — Со свиданием селяночки хлебанем».

Оказалось, что Орлов бежал с армейской службы, добрался до Астрахани и устроился на рыбный промысел. Не удивительно. Астрахань — признанная рыбная столица. Еще бы — здесь Волга впадает в Каспийское море. Самый южный из губернских городов на главной российской реке.

Рыболовы почитались тут героями. И не только тут. Даже столичный житель И. Аксаков восхищался этими трудягами: «Русский мужик быстро осваивается с морской жизнью. Под Астраханью мне пришлось слышать английские названия снастей и маневры по команде… И какая смелость и беззаботная игра своею головою жила и живет в этих русских „морских волках“. Зимою во время промысла их оторвало со льдины и 20 дней носило и кидало по морю. Не беда и то. Они бьют попадающегося тюленя, затем поедают своих лошадей, обивают их кожами сани и в этом примитивном судне пускаются на поиски желанного берега».

Но Орлов довольно быстро пристал к другому берегу — связался с астраханским криминалом. Что тоже было, в общем-то, неудивительно. Где деньги — там и криминал. Простой народ нередко тут вступал в противоречие с законом, и о том осталось множество весьма занятных документов. Например, такой: «16-го минувшего апреля стражник по охране Сергиевских вод тайного советника Х.Н. Хлебникова Василий Патрикеев задержал на незаконном лове крестьянина с. Сергиевского Семена Мельникова.

Другие ловцы, до 30 лодок, производящие незаконное рыболовство плавными сетями в расстоянии от тони Сергиевской ближе чем на ½ версты, завидев надзор, поспешно стали выбирать сети из воды и удаляться на берег к селу Сергиевскому.

Когда стражник с косными стал приближаться к берегу, то стоявшая здесь толпа ловцов подняла шум, крик, на надзор посыпалась площадная брань и угрозы не выходить на берег, иначе стражники получат кирпичи в голову, как это было в прошлом году. Когда же баркас с надзором пошел вдоль берега около села Сергиевского к реке Куманчук, в это время из одной только что приставшей к берегу лодки обловщика последовал выстрел из револьвера по направлению к надзору, не причинивший, к счастью, никому вреда».

Вообще же обман государства считался среди рыбаков делом чести. Обучались же этому сызмальства. Вот, например, описание одной детской игры: «В данной местности существуют свои местные игры, которые вытекают из образа занятий жителей, так,

например, игра (она не имеет определенного названия), которая изображает ловлю рыбы в воспрещенное время. Игра же эта производится следующим образом: два или три мальчика изображают смотрителей, которые посылаются Правлением рыбных и тюленьих промыслов; затем двое или трое изображают так называемых исадчиков, или покупателей рыб; остальные же играющие мальчики — ловцы. Ловцы, запасшись веревками, сетками и палочками, которые изображают рыб, выходят на середину улицы, делают подобие метания сеток, затем тащат вдоль улицы сетку и веревку, подбирая при этом попадающиеся на дороге палочки. Но вдруг за ловцами бросаются смотрители. Ловцы, подбирая сетки и веревки, кидаются от смотрителей врассыпную. Но несколько ловцов попадаются в руки смотрителей и должны лишиться и сеток, и веревок, и рыб и, освободившись от них, идут отыскивать себе новые сетки и веревки. Ускользнувшие от рук смотрителей ловцы бегут за ближайший угол дома, где их ждет исадчик и покупает у них рыбу; купивши рыбу, исадчик тоже должен спрятать куда-нибудь подальше, так как и на него могут наехать смотрители и отобрать всю рыбу. В этом и заключается вся сущность игры».

Впрочем, среди рыбаков нравы были еще более жестокими. Вот, к примеру, сообщение из того же «Астраханского листка»: «С неделю назад у жителя Мало-Белинского острова С. Назарова была совершена кража сетей. В краже этой был заподозрен кр. И.Д. Кулеев, 29 лет, который 9 мая приехал на упомянутый остров и, будучи сильно избит ловцами, сознался в краже. Он сказал, что похищенное находится в лодке его товарища по лову рыбы кр. с. Старицы Черноярского у. Л.К, Медведева, 35 лет, находящейся у острова Бол. Белинского и что воровали они вместе.

Тогда ловцы, около 20 человек… отправились на место нахождения той лодки. Они нашли в ней часть похищенных вещей, избили и Медведева, а сами возвратились назад.

На другой день те же люди снова явились на остров Бол. Белинский к кр. С. Цареву, в избе которого находились под замком Кулеев и Медведев, самовольно арестованные жителями Бол. Белинского острова, ввиду их угроз убийством и поджогом. Вывели Кулеева и Медведева на двор, стали бить их палками, кирпичами и топтать ногами до потери сознания, а затем куда-то ушли.

В их отсутствие Кулеев, как более крепкий, пополз со двора в камыш, но Медведев остался на месте и его вскоре вернувшиеся избившие втащили в амбарчик кр. Царева и заперли там.

Медведев на другой день умер, не приходя в сознание, от

нанесенных ему побоев. Кулеев помещен полицией в Зеленгинскую больницу».

Плюс к этому — предания о разбойнике Степане Разине, который тоже был то ли злодеем, то ли благородным рыцарем — поди пойми. Во всяком случае, на Нижней Волге о нем складывали гимны. И не только о нем — даже о детях Разина:

Как во городе во Астрахани
Проявился тут детинушка незнамый человек.
Чисто, щепетко во Астрахани похаживает,
Смур кафтанчик, черной запанчик нараспаску, гуляет,
Плат персидский кушачок во правой руке несет,
Черну шляпу с прозументами на русых кудрях,
Вострой сабелькой булатной подпирается идет.
Никому этот детинушка не кланется,
Ни штабам, ни офицерам челом не бьет,
К астраханскому губернатору под суд нейдет.
Увидал же его губернатор из высокого окна,
Закричал он, губернатор, своим голосом:
«Ох гой еси, ребята, мои верные слуги!
Вы подите, приведите удалого молодца».
Они взяли, подхватили на высокой горе,
На высокой на горе, во царевом кабаке,
Проводили же детинушку к губернатору на двор,
Выходил же губернатор на высокое крыльцо,
И стал же губернатор детинушку выспрашивати:
«Ты скажи, скажи, детинушка, незнамый человек,
Али питерский, казанский или астраханский?»
— «Я не питерский, не казанский и не астраханский,
Заутро мой батюшка к тебе в гости будет».
Поутру-то раным-ранехонько сверху лодочка бежит,
На той ли же на лодочке немного людей,
На счет полтораста человек,
Приворачивайте-ка, ребята, к городу Астрахани,
Приколочки ударим пихтовые,
Причалим мы лодочку причалами шелковыми,
Мы остроги и тюрьмы все по камню разберем,
С астраханского губернатора с живого кожу сдерем».

Да что там говорить — сам Пушкин восхищался этим деятелем:

Ходил Стенька Разин
В Астрахань город
Торговать товаром.
Стал воевода
Требовать подарков.
Поднес Стенька Разин
Камки хрущатые,
Камки хрущатые —
Парчи золотые.
Стал воевода
Требовать шубы.
Шуба дорогая:
Полы-то новы,
Одна боброва,
Другая соболья.
Ему Стенька Разин
Не отдает шубы.
«Отдай, Стенька Разин,
Отдай с плеча шубу!
Отдашь, так спасибо;
Не отдашь — повешу
Что во чистом поле,
На зеленом дубе
Да в собачьей шубе».
Стал Стенька Разин
Думати думу:
«Добро, воевода.
Возьми себе шубу.
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму».

Это уже не удалец-разбойник, а какой-то высокомудрый дипломат.

Словом, граница между беззаконием и законностью была в городе Астрахани размыта. И наш герой это почувствовал. Поселился у гостеприимного Орлова, ел, пил, спал и ничегошеньки не делал. Но и не задавал лишних вопросов. За это его даже взяли на своеобразную лодочную прогулку.

«Волга была неспокойная. Моряна развела волну, и большая, легкая и совкая костромская косовушка скользила и резала мохнатые гребни валов под умелой рукой Козлика… По обе стороны Волги прорезали стены камышей в два человеческих

роста вышины, то широкие, то узкие протоки, окружающие острова, мысы, косы… Козлик разбирался в них, как в знакомых улицах города, когда мы свернули в один из них и весла в тихой воде задевали иногда камыши, шуршавшие метелками, а из-под носа лодки уплывали ничего не боящиеся стада уток.

Странное впечатление производили эти протоки: будто плывешь по аллее тропического сада… Тишина иногда нарушается всплеском большой рыбины, потрескиванием камышей и какими-то странными звуками…

— Что это? — спрашиваю.

— Дикие свиньи свою водяную картошку ищут.

Какую водяную картошку, я так и не спросил, уж очень неразговорчивый народ!»

Взяли секретный груз (рыба, икра), дальше поехали. Сгрузили. Снова оказались в доме у Орлова. Отметили успех предприятия.

«Ввалилась вся команда. Подали еще ложек, хлеба и связку воблы. Налили стаканы, выпили.

— Ешь, а ты икру-то хлебай ложкой!

Я пил и ел полными ложками чудную икру.

Все остальные закусывали воблой. — Ваня, а ты же икру? — спросил я.

— Обрыдла. Это тебе в охотку.

Подали жареную баранину и еще четвертную поставили на стол.

Пьянствовали ребята всю ночь. Откровенные разговоры разговаривали. Козлик что-то начинал петь, но никто не подтягивал, и он смолкал. Шумели… дрались… А я спал мертвым сном. Проснулся чуть свет — все спят вповалку. В углу храпел связанный по рукам и ногам Ноздря. У Орлова все лицо в крови».

Тут наш герой почувствовал, что ему все это порядком надоело. Он в очередной раз решил поменять место проживания.

«Я встал, тихо оделся и пошел на пристань».

Как всегда, не прощаясь.

* * *

И вот Гиляровский в Царицыне (нынешний Волгоград), некогда колоритном нижневолжском городе, а ныне — сплошь застроенном послевоенными домами. Зачем сюда приехал — снова непонятно. Никаких знакомых, никаких перспектив.

«В Царицыне пароход грузится часов шесть. Я вышел на берег, поел у баб печеных яиц и жареной рыбы.

Иду по берегу, вдоль каравана. На песке стоят три чудных лошади в попонах, а четвертую сводят по сходням с баржи. И ее поставили к этим. Так и горят их золотистые породистые головы на полуденном солнце.

— Что, хороши? — спросил меня старый казак в шапке блином и с серьгой в ухе.

— Ах, как хороши! Так бы не ушел от них. Он подошел ко мне близко и понюхал.

— Ты что, с промыслов?

— Да, из Астрахани, еду работы искать.

— Вот я и унюхал… А ты по какой части?

— В цирке служил!

— Наездник? Вот такого-то мне и надо. Можешь до Великокняжеской лошадей со мной вести?

— С радостью!»

И — новая история. Наш герой теперь при деле, он — табунщик. Он восхищается степью, конями и калмыками, которые традиционно занимались этим промыслом. А калмыки, разумеется, в восторге от него.

«А, главным образом, уважали меня за знание лошади, разные выкрутасы джигитовки и вольтижировки и за то, что сразу постиг объездку неуков и ловко владел арканом.

Хозяин же ценил меня за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой иногда по-французски, я переводил ему их оценку лошадей, что, конечно, давало барыш.

Ну, какому же черту — не то что гвардейскому офицеру — придет на ум, что черный и пропахший лошадиным потом, с заскорузлыми руками, табунщик понимает по-французски!»

Закончилось все это тоже в духе Гиляровского. Вдруг прибыл жандармский полковник — как назло, тот самый, из под носа у которого Владимир Алексеевич бежал в Казани. Времени на раздумывание нет.

«Пока встречали гостей, пока выносили чемоданы, я схватил свитку, вынул из стола деньги — рублей сто накопилось от жалованья и крупных чаевых за показ лошадей, нырнул из окошка в сад, а потом скрылся в камышах и зашагал по бережку в степь…

А там шумный Ростов».

* * *

И как обычно, первое знакомство с городом — в порту. Он ничем не уступал волжским пристаням: «По набережной… являющейся самым оживленным в навигационное время пунктом

города, где от зари до ночи, а нередко и ночью кишмя кишит многотысячный муравейник грузовых рабочих, тянутся громадные каменные корпуса хлебных амбаров, в которых хранятся миллионы пудов отсылаемого за границу зерна. Тут же находятся обширные склады железа и скобяного товара, каменного угля, лесные биржи, торговля рыбой и пр., проходит товарная ветвь Юго-Восточной железной дороги, представляющая собой то чрезвычайно важное удобство, что дает возможность производить погрузку непосредственно из вагонов в амбары или суда и обратно, и сосредоточены все пароходные пристани пассажирского и грузового движения».

Но нашему герою надоели водные забавы. Он хочет социализироваться, он вступает в город.

Публицист Ефим Бабецкий так писал о городе Ростове (в большой степени сохранившему свой стиль до наших дней): «Когда свежий человек попадает в Ростов-на-Дону, энергическая физиономия вечно занятого, всегда куда-то спешащего ростовского жителя сейчас бросается ему в глаза. Тихой с „размерцем“, плавной и покачивающейся походки… вы тут не заметите. Даже дамы и те двигаются по ростовским панелям быстро и порывисто, точно им тоже некогда. Указанная особенность — черта, прирожденная всякому портовому городу с преобладающим торговым населением…

В Ростове, очевидно, все люди деловые. В этом, конечно, очень много хорошего, в особенности принимая во внимание китайскую, кажется, поговорку о том, что труд — лучшая охрана добродетели, — но все же эта попадающаяся на каждом шагу фигура с классическим кошельком — начинает вас тяготить».

Куда идти? Конечно, в цирк. Собственной труппы здесь, конечно, не было, зато выступали гастролеры, собиравшиеся отправиться в Воронеж. Один циркач сломал руку, и Гиляровского — атлета, силача, наездника и вообще рубаху-парня — сразу приняли в труппу.

* * *

«Воронеж никак миновать нельзя… обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания лишь потому, что Воронеж на пути (к Киеву. — *А.М.*) стоит… Вы можете видеть этих пешком прошедших лапотников с пыльными котомками и стертыми посохами там, около монастыря, в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении: потому что он

стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов».

Владимир Алексеевич впервые останавливается на том, что называют духом места. Если раньше его интересы сводились в основном к зарабатыванию денег, то теперь, когда он при работе, радующей сердце (не в последнюю очередь из-за того, что он каждый день — в центре внимания зрителей), можно и расслабиться, и оглядеться.

(Мог ли он тогда предположить, что увлечется прошлым старых волжских городов, их архитектурой и устройством и — страшно подумать! — станет собирать путеводители и соберет их несколько десятков?)

Но, похоже, что и работа в цирке в скором времени приелась — когда, спустя несколько месяцев, труппа направилась в Саратов, Гиляровский отстал от поезда в Тамбове. Вероятно, не случайно.

Глава 4.
Человек театра

«Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда», — писал Михаил Лермонтов. И вправду, этот городок хоть и носил высокий титул города губернского, был фактически обычным провинциальным поселением. Да и в наши дни нельзя сказать, что в Тамбове проходили судьбоносные события для России. Небольшой, уютный городок — вот в чем его достоинство. Сегодня и в давние времена.

Итак, у Гиляровского было два выхода. Первый, самый, казалось бы, естественный — дождаться следующего поезда и отправиться вслед за труппой. И второй — вновь искать счастья.

Наш герой, как нетрудно догадаться, выбрал второй. Он пошел в театр, а после в ресторан, где ввязался в небольшую потасовку. Выступал он на стороне актеров. И не удивительно, что уже на следующий день Владимир Гиляровский стал членом другой труппы — на сей раз театральной. Не удивительно хотя бы потому, что тамошний антрепренер был сродни нашему герою: «В конце шестидесятых, в начале семидесятых годов в Тамбове славился антрепренер Григорий Иванович Григорьев. Настоящая фамилия его была Аносов. Он был родом из воронежских купцов, но, еще будучи юношей, почувствовал „божественный ужас“: бросил прилавок, родительский дом и пошел впроголодь странствовать с бродячей труппой, пока через много лет не получил наследство после родителей. К этому времени он уже играл первые роли резонеров и решил сам содержать театр. Сначала он стал во главе бродячей труппы, играл по казачьим станицам на Дону, на ярмарках, в уездных городках Тамбовской и Воронежской губернии, потом снял театр на зиму сначала в Урюпине и Борисоглебске, а затем в губернском Тамбове».

Своеобразным был оседлый быт этого деятеля (да и его труппы — тоже): «Он жил в большой квартире при своем театре, и его квартира была вечно уплотнена бродяжным актерским людом. Жили и в бельетаже, и внизу, и даже в двух подвалах, где спали на пустых ящиках на соломе, иногда с поленом в головах. В одном из этих подвалов в 1875 году, Великим постом, жил и я вместе с трагиком Волгиным-Кречетовым, поместившись на ящиках как раз под окном, лежавшим ниже уровня земли. „Переехал“ я из этого подвала в соседний только потому, что рано утром свинья со двора продавила всю раму, которая с осколками стекла упала на мое ложе, а в разбитое окно к утру

намело в подвал сугроб снега. Потом меня перевел наверх в свою комнату сын Г.И. Григорьева, Вася, помощник режиссера».

Но самым сильным потрясением для нашего героя были «женщины театра», как он сам их называл. Изящные, воспитанные, с правильной, красивой речью, они произвели на Гиляровского неописуемое впечатление. Он сам вдруг сделался галантным кавалером — вспомнились уроки двух молодых тетушек, выпускниц знаменитого Смольного института.

Первой же ролью будущего репортера стала роль Держиморды в «Ревизоре». Владимир Алексеевич с любовью вспоминал о том, как выскочил на сцену, гремя шпорами и крикнул: «Был по приказанию!»

Если верить его записям, зал сразу же разразился бурными аплодисментами.

Но не долго длилось это счастье. Гиляровского хватило только на сезон: «Прошел пост, окончился сезон. Мне опять захотелось простора и разгула. Я имел приглашение на летний сезон в Минск и Смоленск, а тут подвернулся старый знакомый, богатый казак Боков, с которым я познакомился еще во время циркового сезона, и предложил мне ехать к нему на Дон в его имение, под Таганрогом. Оттуда мы поехали в Кабарду покупать для его коневодства производителей».

Тут начался настоящий экстрим. На охоте Гиляровский познакомился с одним местным жителем.

«С нами был горец, который обратил мое внимание: ну совсем Аммалат-Бек из романа Марлинского или лермонтовский Казбич. Или скорее смесь того и другого. Видно только, что среди горцев он особа важная — стрелок и джигит удивительный, шашка, кинжал и газыри в золоте. На тамаши в глухом горном ауле, где была нам устроена охота, горцы на него смотрели с каким-то обожанием, держались почтительно и сами не начинали разговоров, и он больше молчал».

Собственно, и знакомством назвать это было нельзя. Горец практически не знал русского языка — так, чуть-чуть, отдельные словечки. Но Гиляровский начал, по обыкновению, демонстрировать всякие цирковые номера и тем привлек внимание аборигена.

«Видимо, я его заинтересовал и понравился ему, потому что в заключение он сказал:

— Ти мэнэ кунак — я тэбэ кунак! Моя — твоя, твоя — моя!

И запили слова наши бузой».

Спустя несколько дней Владимир Гиляровский отправился пешком на знаменитую гору Машук, чтоб осмотреть могилу Лермонтова. Но тут его нагнали трое местных жителей на

кабардинских лошадях. Четвертую вели с собой на привязи. Возглавлял процессию новый кунак. Он сказал:

— Ва! Мы кунаки! Мои деньги — твои деньги, мой лошадь — твой лошадь! Охотиться будем… Туда-сюда поедем. Хорошо будет.

И Гиляровский согласился. Получил от кунака лошадь, винчестер, бурку — и пустился во все тяжкие. То есть снова вольница — горы, кони, неустроенная жизнь. Но Гиляровский все-таки понимал: это по большому счету пройденный этап. Театр намного интереснее. И, прознав о том, что в городе Саратове играет труппа А. Погонина, с которым он служил в Тамбове, Гиляровский направляется туда.

* * *

В прошлом, 1875 году Владимир Алексеевич так и не доехал до Саратова. На этот раз все обошлось благополучно.

Путешественница А. Валуева писала о Саратове: «По своим торговым оборотам Саратов считается одним из первых городов Поволжья. Главный предмет его торговли — хлеб во всех видах. Многоэтажные мукомольные мельницы завладели всем берегом вблизи пристаней. С тем вместе Саратов является также главным складом произведений немецких колоний. Кому не известна, например, саратовская сарпинка, расходящаяся по всей России. Для немецких колонистов Саратов, в полном смысле слова, столица. Они стремятся туда за покупками и для того, чтобы поглазеть на все прелести большого города, потому-то в Саратове и на улицах, и в лавках, на излюбленной торговым людом Сенной площади — всюду встречаются типичные фигуры немецких колонистов в их длиннополых камзолах, с гладко выбритыми физиономиями, и колонисток в чепцах и больших передниках; потому-то и виднеются на многих харчевнях и трактирах немецкие вывески, да и самая главная улица Саратова носит название Немецкой.

Торговое значение Саратова еще более возросло с продлением до города Уральска бывшей Тамбово-Саратовской железной дороги. Вокзал новой Уральской дороги находится в слободе Покровской, на противоположном левом берегу, за Беклемишевым островом. Остров этот назван в честь саратовского воеводы Беклемишева».

Сейчас в Саратове немецких колонистов днем с огнем не сыщешь, но его значение по большому счету не утрачено.

Ощущая теперь себя человеком творческим, Гиляровский

взял курс на сад Сервье, в котором и играла труппа А. Погонина.

Сад этот основал Франц Осипович Шехтель — саратовский купец, а также родственник и полный тезка прославившегося впоследствии «короля русского модерна».

Саратов уже в середине XIX века был городом крупным и шумным. Горожане, особенно летом, нуждались в месте отдохновения. И шехтелев сад, находившийся в двух с лишним верстах от тогдашнего города, пришелся саратовцам как нельзя кстати. Тем более что путь этот был нисколько не обременительным — предприимчивый купец пустил особые омнибусы от Театральной площади до своих владений.

Франц Осипович не претендовал на строгость и академичность. Там, например, случались вот такие представления: «В саду Шехтель. Перед отъездом компания артистов гг. Дитрихи и Сабек представят здесь небывалое зрелище, составленное из 50 персон в богатых азиатских, африканских и европейских костюмах, которые на 17 роскошно убранных верблюдах сделают шествие по главным аллеям сада и потом в богато убранном Аравийском шатре исполнят аравийские игры и пляски, в чем будет участвовать хор цыган».

Помимо этого здесь играли в бильярд и кегли, запускали в небо «аэоростатический шар» и, разумеется, танцевали под звуки оркестра. «Приятно было приехать в сад Шехтель, — писал современник, — даже не ради театра и танцев, а просто насладиться чистым воздухом и послушать музыку».

Однако Шехтелям этот сад принадлежал не долго. В конце 1860-х семью постигла финансовая катастрофа. К счастью для саратовцев, сад и театр достались некому Э.Ф. Сервье — французу, парикмахеру и человеку, явно не чуждому изящных развлечений. Сад не только не изменил своего характера — напротив, стал интереснее и милее горожанам. Продолжались гулянья и спектакли. Артист В. Давыдов описал атмосферу известного сада в 1871 году, спустя четыре года после того, как сад сменил владельца: «Маленький деревянный театрик, весь спрятавшийся в зелени тенистого сада, совершенно не был приспособлен для сложных постановок, в нем не было даже приличных декораций… Лето было жаркое, и все с наслаждением после пыльного и палящего дня бросались в тенистый и чистенький сад. Были сделаны дорожки, беседки, скамейки. Сад усердно поливали водой, чтоб не было пыли. Вечером украшали цветными фонариками, а в праздники Медведев освещал его каким-то прибором, дававшим необыкновенно сильный и яркий огонь. Здесь же можно было в ресторанчике сытно, вкусно и дешево закусить, а прекрасный оркестр услаждал музыкой.

Одним словом, это было премиленькое местечко, где приятно было отдохнуть».

Увы, в 1875 году театр сгорел. Пришлось срочно отстраивать новый. Сервье не жалел средств, и уже в мае 1876 года «Саратовский справочный листок» коротенько отчитался: «На месте сгоревшего в саду Сервье театра открылся вновь отстроенный летний театр».

Один из завсегдатаев тогдашнего сада Сервье вспоминал: «Это был громадный тенистый сад, походивший скорее на рощу. Прямые тенистые аллеи, поросшие мелкой травой… В мелкой лесной поросли звучали трели соловья, ворковали горлинки… Высокие папоротники зеленели своими кудрявыми султанчиками, тихо покачиваясь при малейшем дуновении ветерка, а посреди этой рощи, со всех сторон окруженной вековыми благоухающими липами, возвышался большой деревянный театр, обнесенный просторной крытой террасой».

В этот театр и попал Владимир Алексеевич.

Он в то время был уже маститым лицедеем — как-никак целый сезон за плечами. Играл не «кушать подано» и в массовках, как в Тамбове, — теперь ему доверяли роли настоящие, правда пока только второго плана. Но в закулисной жизни он сразу же выбился на первый план.

Детские проказы вдруг выплыли откуда-то из глубины сознания. Владимир Алексеевич прослыл записным шутником в театральной труппе. Розыгрыши его особенным изяществом не отличались. Однажды, например, он раздобыл букет цветов, щедро усыпал его нюхательным табаком и нанял старичка, который и продал букет коллеге, прославившемуся впоследствии актеру Владимиру Далматову. Можно себе представить, как была довольна девушка, которой господин Далматов преподнес этот букет.

Правда, сам Далматов не держал зла на шутника. Напротив, он был очарован Гиляровским: «Молодой, живой, веселый и счастливый, посвятивший себя сцене со всем пылом юноша… Его выходки часто оканчивались протоколами, но всегда проходили безнаказанно».

Не преминул Гиляровский продемонстрировать свою редкостную силу: «Как-то я увидел во время репетиции, что Симонов, не заметив меня, подошел к Гаевской, стоявшей с ролью под лампой между кулис, и попытался ее обнять. Она вскрикнула:

— Что вы, как смеете!

Я молча прыгнул из-за кулис, схватил его за горло, прижал к стене, дал пощечину и стал драть за уши. На шум прибежали со сцены все репетировавшие, в том числе и Большаков.

— Если когда-нибудь ты или кто-нибудь еще позволит обидеть Гаевскую — ребра переломаю! — и ушел в буфет».

Не удивительно, что Василий Далматов (помимо актерства он баловался сочинительством) вывел своего приятеля под видом Володи Румянцева в одном из рассказов — «Юлия Пастрана». Тот Румянцев, «молодой, живой, веселый и счастливый, посвятивший себя сцене со всем пылом юности, встретив тогда во мне отклик, — Володя был мне предан до самоотвержения и несколько лет не разлучался со мной… Его выходки часто оканчивались протоколами, но всегда проходили безнаказанно… Обладая необыкновенной силой и ловкостью, он пленял всех окружающих своими атлетическими упражнениями и благородством… самое любезное название у него было „бродяга“.

— Бродяга! Мы все бродяги! — с громким смехом повторял Володя. Как драматический артист он не представлял большой ценности по своему таланту, но зато по добросовестности мог служить примером любому актеру. Меня особенно трогало, что он все бросал ради работы над ролью, как бы незначительна она ни была. Вообще он мне казался большим фантазером, рисовавшим будущность драматического театра такими яркими красками, что глаза слепило. А так как я и сам был не прочь пофантазировать, то мы на этой эфемерной почве заносились в такие бесконечности, что голова кружится при одном воспоминании… Жаркие схватки и пламенные споры о театре, об искусстве и его значении, о драматической поэзии… Много вечеров было отдано Шекспиру…»

Тот же Далматов рассказал впоследствии писателю В. Дорошевичу историю, которую тот изложил в своем фельетоне в «Русском слове». Здесь Владимир Алексеевич выведен в образе поэта: «Как раз приходит к нему полицейский пристав с какими-то замечаниями относительно афиши и ведет себя очень резко. Поэт бранился с ним, бранился, да вдруг и осенился блестящей идеей. Будучи человеком чудовищной силы, ухватил он пристава, вскочил с ним на стол и повесил его за кушак на крюк люстры.

Пристав ошалел от ужаса, а поэт сел к своим бумагам. Пристав поэту:

— Как вы смеете? В Сибирь угодите! Снимите меня сейчас же, сию же минуту!

А поэт ему:

— Нет, врешь, повиси!

На эту сцену возвращается Далматов. Увидел и ошалел. А потом как схватится за голову…

— Опять твои шуточки, Володька! Да что же мне делать с тобой, погубитель? — Схватил вне себя револьвер со стола… бац,

бац! У поэта пуля в ляжке…

А он говорит:

— Стреляй еще!

Опомнился, бросил револьвер… Спустил пристава, а он от стрельбы и раны поэта так струсил, что уже не в претензии, что повисеть пришлось, только бы не влететь в уголовщину да замять скандал… Кровь из поэта ручьем льет. Ну, перевязали дырку кое-чем, сели втроем пить вишневку…

Как ни хорошо известно мне, что молодость поэта полнее необычными приключениями, чем ресторанный садок с рыбой, однако на сей раз усомнился… Спросил Далматова, он даже побледнел при воспоминании.

— Еще бы не правда! Ты представить себе не можешь, как этот изверг Володька тогда меня напугал…

— Со страху и стрелял?

— Да что же с ним, чертом, было еще делать?»

* * *

А свободное от репетиций время Гиляровский проводил в окрестностях Глебучего оврага. Этот овраг был достопримечательностью города. Журналист И. Горизонтов писал: «Древние саратовцы выбрали себе приют умненько: с запада их окружало непроходимое болото с лесом (где теперь настоящий город), с северо-востока глубокий овраг (Глебучев), с юго-востока и юга — Волга: накось, возьми их!»

Видимо, один лишь Горизонтов осмелился печатно восхититься этой достопримечательностью города. В основном же Глебучев овраг всячески охаивали.

Писатель Орешин, к примеру, так запечатлел жизнь этой трещины: «Глебучев овраг через весь Саратов тянется: от Волги до Вокзала, и живет в овраге сплошная нищета. Розовые, голубые, синие домишки друг на друге как грибы поганые, лепятся на крутосклонах, того и гляди, верхний домишко на своего нижнего соседа загремит. В летнюю пору банная вода посредине оврага течет, растет колючий репей, свиньи в тине лежат, ребята на свиньях верхом катаются. Весенняя вода в овраге разливалась саженей на пять, бурлила, клокотала, гудела и несла через весь город дохлых собак, кошек, бревна, поленья, щепу. Овражные жители охотились за щепой и поленьями. Народишко бедный, домишки рваны, заборишки худы — жили, как птицы».

Николай Чернышевский с этаким высокомерным состраданием писал об обитателях оврага: «Разнокалиберная

мелюзга всех полунищенских положений, вне прочно установившихся бедных сословий, вся и очень честная и не очень честная бесприютная мелюзга от актеров жалчайшего театришка до вовсе голодных бездомников — все это мелкое, многочисленное население города, разорявшееся от непосильных подушных податей и постоянно находившееся под угрозой попасть в работный дом, где заключенные занимались тяжелым трудом и подвергались истязаниям».

Время от времени власти Саратова пытались что-то предпринять в Глебучем овраге. Например, разместить там кузнечные и прочие вредные производства. Или переоборудовать овраг под сад. Но все было впустую — кузнецы селились там, где им хотелось, а найти денег на такой гигантский сад, конечно, не удавалось.

Чем же там занимался Гиляровский? Да ничем особенным. Просто играл с мужиками в орлянку. «Здесь целый день кипела игра в орлянку. Пьянство, скандалы, драки. Играли и… оборванцы, и бурлаки, и грузчики, а по воскресеньям шли толпами разные служащие из города и обитатели „Тараканьих выползков“ этой бедняцкой окраины города. По воскресеньям, если посмотреть с горки, всюду шевелятся круглые толпы орлянщиков. То они наклоняются одновременно все к земле — ставят деньги в круг или получают выигрыши, то смотрят в небо, задрав головы, следя за полетом брошенного метчиком пятака, и стремительно бросаются в сторону, где хлопнулся о землю пятак. Если выпал орел, то метчик один наклоняется и загребает все деньги, а остальные готовят новые ставки, кладут новые стопки серебра или медяков, причем серебро кладется сверху, чтобы сразу было видно, сколько денег. Метчик оглядывает кучки, и если ему не по силам, просит часть снять, а если хватает в кармане денег на расплату, заявляет:

— Еду за все!

Плюнет на орла — примета такая, — потрет его о подошву сапога, чтобы блестел ярче, и запустит умелою рукою крутящийся с визгом в воздухе пятак, чуть видно его, а публика опять головы кверху.

— Дождя просят! — острят неиграющие любители.

Вот я по старой бродяжной привычке любил ходить „дождя просить“. Метал я ловко».

Что поделать — бурлацкое прошлое сказывалось.

* * *

Кстати, именно в Саратове Владимир Алексеевич влюбился в первый раз. В ту самую Гаевскую, которую геройски защищал от прочих воздыхателей. Впрочем, перед ней он робел — провожал до дома, познакомился с родителями, иногда с ними чаевничал. Но даже не осмелился коснуться ее нежной руки. А затем жизнь нашего героя в очередной раз встала с ног на голову.

Шла Русско-турецкая война. По всей стране была объявлена мобилизация.

Однажды Гиляровский встретил своего коллегу по театру, некого Инсарского. Тот прилично выпил за обедом, и Владимир Алексеевич решил над ним немного подшутить и затащил на заседание городской думы. Там какой-то депутат агитировал записываться в добровольцы.

— Юрка, — шепнул Гиляровский Инсарскому. — Пойдем на войну!

— А ты пойдешь? — спросил Инсарский, плохо соображающий.

— Куда ты, туда и я, — ответил шутник.

Каково же было удивление Инсарского, когда на следующий день в театр на репетицию явился гарнизонный и вручил Инсарскому и Гиляровскому повестки.

Инсарский чуть не упал в обморок — он, разумеется, воспринимал вчерашнюю проделку исключительно как шутку, да и вообще мало что помнил. Зато в обморок упала его юная жена, случайно оказавшаяся вместе с ним на репетиции.

— Юра… Юра… Зачем они тебя? — причитала она, вновь обретши сознание.

— Сам не знаю, — мотал головой доброволец. — Вот пошел с этим чертом, и записались оба…

Если бы не мускулы и кулаки нашего героя, то его, наверное, побили бы. А так — все обошлось. Тем более что отступать было некуда. С Министерством обороны не пошутишь. Да и по Саратову в момент поползли слухи — дескать, актеры пошли на войну.

В ближайший понедельник к девяти часам утра оба явились в местные казармы. Владимир Алексеевич, как заправский строевик, сразу был назначен обучать новеньких солдат. В том числе и Инсарского. Гиляровский, разумеется, сочувствовал своей несчастной жертве, но дальше сочувствия дело не шло: «Через два дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инсарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного или во фраке. Он мастерски его носил! И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под ружьем, топчется в шеренге таких же неуклюжих

новобранцев».

К счастью, у Инсарского нашли какую-то болезнь, и он был комиссован. Придя в себя, вновь стал играть в театре. А Владимир Алексеевич после торжественных проводов отправился на фронт. Ему все это было очень даже интересно.

* * *

На войне Владимир Алексеевич резвился — для таких, как он, искателей экстрима там было раздолье. Веселье началось еще в пути, на знаменитой Военно-Грузинской дороге: «Я о себе скажу одно — ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что измученные и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Так же я дурил когда-то и на Волге в бурлацкой артели, и здесь, почуя волю, я был такой же бешеный, как и тогда».

В пути один из офицеров попался в сети карточному шулеру, и Гиляровский легко вытащил его из этой ситуации — просто-напросто дал по физиономии мошеннику, отнял у него деньги, тот в страхе бежал — и никаких долгов чести отдавать не пришлось.

На самой же войне оказалось еще интереснее: «Весело жили. Каждую ночь в секретах да на разведках под самыми неприятельскими цепями, лежим по кустам за папоротником, то за цепь переберемся, то часового особым пластунским приемом бесшумно снимем и живенько в отряд доставим для допроса… А чтобы часового взять, приходилось речку горную Кинтриши вброд по шею переходить и обратно с часовым тем же путем пробираться уже втроем — за часовым всегда охотились вдвоем. Дрожит несчастный, а под кинжалом лезет в воду. Никогда ни одному часовому пленному мы никакого вреда не сделали: идет как баран, видит, что не убежишь. На эти операции посылали охотников самых ловких, а главное сильных, всегда вдвоем, а иногда и по трое. Надо снять часового без шума. Веселое занятие — та же охота, только пожутче, а вот в этом-то и удовольствие».

Действительно, в сравнении с бурлачеством, бродяжничеством, службой на белильном заводе и бегством из полицейской части война не была чем-то очень уж кошмарным. Ну, стреляют и стреляют. На охоте тоже медведь может заломать.

Но боевые действия закончились, и осенью 1878 года Гиляровский получил отставку. Впереди вновь маячила скучная, мирная жизнь. Наш герой вернулся в Россию. Первым городом, в

котором он остановился, был Таганрог.

* * *

Один из современников Гиляровского В.Я. Светлов писал о Таганроге:

«Таганрог — очень неинтересный город для принужденных постоянно обитать в нем и, главным образом, неинтересный по климатическим условиям: жара в нем стоит неестественная, доходящая летом до 48—50 градусов, а холод зимою до 20 и больше…

Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города: улицы пустынны, как в Помпее, ставни у всех домов наглухо заперты; изредка попадается неторопливо идущий прохожий; даже на главной, Петровской улице летом нет никакого движения, а зимою — лишь небольшое, да и то в определенный вечерний час.

С внешней стороны Таганрог довольно красив, главным образом, своей правильной планировкой, тенистыми бульварами, обсаженными белыми акациями, каштанами и платанами, опрятными каменными домиками в один, редко в два этажа и кажущейся чистой, но именно только кажущейся. Не имея канализации, водопровода и стоков, город не может быть действительно чистым; в особенности отвратительно в нем содержание ассенизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от мчащегося с грохотом обоза».

Светлов конечно же утрировал. В Таганроге было, да и есть множество интересных черт и черточек. Город портовый, рыбацкий, торговый, с громадной греческой колонией, он был довольно колоритен. Владимир Алексеевич, прибыв в Таганрог, прямиком направился в театр.

Местная труппа отнюдь не блистала. Незадолго до появления в городе Гиляровского один городской житель так описывал ее: «Режиссером был некто Кочевский, игравший первые роли в трагедиях и комедиях, в опере же и водевилях он был не так оригинален от неумения петь арии и куплеты. Таким образом одни и те же артисты принуждены были играть в драме и петь в опере. За Ключевским следовали: Маркс, с замечательным артистическим талантом в комическом роде; Дорошенко,

игравший светских людей, любовников, денди; Михайлов, хороший в глуповатых ролях, но в трагедиях и драмах он до того, в самых лучших местах, исступляется, что неистовыми выкриками монологов приводит публику в апатичное состояние.

Далее идут Дрейхис, лучший комический актер, особенно в малороссийских вещах; Петровский, заслуженный актер на роль трагических стариков, воевод, министров, но по дряхлости лет память его ослабевает и язык начинает пришептывать; Мачихин, таланта посредственного на ролях рассудочных отцов…

Из артисток можно отметить госпожу Кочевскую… только она редко является на сцене, оттого что серьезные пьесы мало играют в этом театре, а в водевилях очень мало достойных ролей».

Зато здесь гастролировали знаменитости — В.Н. Андреев-Бурлак, М.М. Блюменталь-Тамарина, А.Я. Глама-Мещерская, М.Т. Иванов-Козельский, Н.П. Рощин-Инсаров, Н.И. Соболыциков-Самарин и прочие кумиры публики.

Но наш герой не собирался останавливаться здесь надолго. Зашел в уборную к знакомцу — Яковлеву, трагику, гордо отверг предложение остаться в труппе (а оно последовало, кто бы сомневался) и продолжил путь на север.

Следующий пункт назначения — Воронеж. Именно там в то время проживала его возлюбленная, госпожа Гаевская. А после абсолютным триумфатором вступил в родную Вологду.

Домой пришел ровно в полночь и своим появлением произвел фурор. Вручил отцу подарки — в основном, табак турецкой выделки. Папаша отдарился табакеркой («Береги, она счастливая»).

Чтобы показать свою недюжинную силу, наш герой в ходе разговора, якобы в рассеянности, схватил кочергу и завязал ее узлом. На что папашка пробурчал:

— Не порть отцовского имущества!

И развязал ее обратно.

Впоследствии эта милая забава станет чем-то наподобие визитной карточки Владимира Гиляровского. Иногда, за неимением с собой визитки, он будет заворачивать в узел чужую кочергу и класть ее на столик для визитных карточек. У хозяев, разумеется, сомнений не возникнет — кто именно был дома в их отсутствие.

* * *

А в скором времени Гиляровский получил письмо из Пензы, от старого приятеля Далматова, который приглашал его в театр:

«Мне говорили, что Вы уже получили отставку, если это так, то приезжайте ко мне трудиться… Я думаю, что отец доволен Вашим поступком — он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к Вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей. 5 октября 1878 года».

К этому моменту отчий дом уже наскучил Гиляровскому, и он, не раздумывая, отправился на зов Далматова, в Пензу.

Писатель Михаил Загоскин так расхваливал этот достойный город: «Пенза — губернский город, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоит! Публика отличная, просвещенная, благородные собрания, театр, воксалы, Английский клуб (говорят, однако же, что он рушился), балы — словом, чего хаешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернатор с вице-губернатором живут всегда в ладу, сплетней никаких нет, барыни меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сунься, везде так и режут по-французски. Что и говорить — Пенза-городок Москвы уголок!»

Пришелся этот город по душе и нашему герою. Впервые в жизни он более-менее остепенился — снял приличную квартиру в центре города, двухкомнатную. Завел собаку, а затем еще одну — Дуньку и Зулуса. Получил постоянный сценический псевдоним — В.А. Сологуб (когда Далматов с Гиляровским думали над псевдонимом, их взгляд случайно упал на книжку В. Сологуба «Тарантас». Инициалы совпали, фамилия звучная — чем не вариант). Обзавелся визитными карточками, на которых графская корона (все же настоящий Сологуб был граф) представляла из себя скабрезную картинку. И даже сыграл бенефис.

Правда, подготовка к бенефису была в некотором роде унизительна. По местному обычаю, Владимир Алексеевич должен был объезжать всех местных богачей и предлагать им выкупить билетик. Несколько купцов отказывались — согласился лишь один портной, которому бенефициант был должен за сюртук, — в счет долга, разумеется. Но затем театральный буфетчик познакомил его с Мейерхольдом — преуспевающим пензенским водочником. Мейерхольд сначала угостил актера своей водочкой, «Углевкой». Гиляровскому она весьма понравилась. После чего купил билет, притом от сдачи отказался:

— Нет… Нет… Никакой сдачи. У нас по-русски говорят: почин сдачи не дает. На счастье!..

Эмиль Федорович Мейерхольд был обрусевшим немцем и имел полное право так говорть.

Не удивительно, что с этого момента все пензенские актеры начинали свой обход именно с Мейерхольда. Он никому не

отказывал, постепенно сделался в театре своим человеком, в результате чего его сын, Всеволод Мейерхольд, вырос в окружении людей театра и стал одним из самых знаменитых русских режиссеров-реформаторов. Можно сказать, что если бы не Гиляровский — не было бы в нашей истории целой театральной эпохи.

Так вот, наш герой кушал себе водочку «Углевку», вел с Мейерхольдом светскую беседу и в конце концов добился того, что сам пензенский водочник поехал по купцам распространять билеты на Сологубов бенефис.

Словом, дела у Гиляровского пошли на лад. «Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать, — и никто не смел мне замечание сделать — может быть, потому, что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно.

Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта резонера, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию, с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы».

Этому, скорее всего, можно верить. Владимир Алексеевич был действительно силен, а вел себя обычно как громадный добродушный пес, который никому зла не желает, даже собственным завистникам и недругам, но, если надо — припугнет как следует. Однажды, например, в театр забрался пьяный унтер-офицер в медалях и на костылях. По окончании спектакля он засел в буфете, начал требовать шампанского, других напитков, а на все просьбы удалиться лишь показывал свой пистолет. И видно было, что не шутит. Тогда Владимир Алексеевич надел парадную черкеску, прицепил погоны, шашку, наклеил пышные усы из реквизита (свои усы в то время еще были жидковаты и не убедительны), заломил папаху и пошел в буфет.

— Встать! Какого полка! За что у вас медали?

Буян беспрекословно выполнял все его приказания и отвечал на все вопросы. В конце концов он заплатил буфетчику и удалился. А на следующий день узнал, что выполнял приказы актеришки, загримированного под поручика. Первым побуждением было пойти в театр и застрелить обидчика. Однако в этот момент к буяну, не в первый раз показывавшему свой норов, заявилась, наконец, полиция и выдворила его из Пензы.

* * *

Летом 1879 года наш герой, Далматов и другие мастера провинциальной сцены поехали в Воронеж — играть в тамошнем легендарном театре.

Воронежский театр — один из самых старых. Профессиональная труппа появилась здесь уже в начале XIX века.

В январе 1823 года директор училищ Воронежской губернии доносит в вышестоящую организацию — училищный комитет Императорского Харьковского университета: «Дом, подаренный воронежскими гражданами воронежской гимназии в 1817 году, не был тогда взят в училищное ведомство, не приносил гимназии никакого дохода. По принятии его в мое ведомство… я озаботился дабы сей дом, пока выгоднее продать будет с публичного торга, о чем имеется предписание, доставлял какую ни на есть гимназии пользу, и теперь она получает за квартирование гауптвахты 500, иностранца Барбарини около 300 рублей. Но верхний этаж сего дома оставлен пуст по ветхости крыши и потолков, которые в разных местах начали уже падать. Г. воронежский гражданский губернатор согласил меня допустить в верхнем этаже театральные представления, которые в нем и в прошлую зиму происходили, с тем, что повреждение будет без издержек гимназии поправлено».

Так, под протечным потолком и начал пробивать свой путь воронежский театр — в условиях, гораздо менее комфортных, нежели его соседи — гауптвахта и какой-то таинственный (и притом отнюдь не бедный) «иностранец Барбарини».

Впрочем, довольно скоро городской театр обзавелся и собственным зданием (примерно в том же самом месте, где располагалось полуразвалившееся здание гимназии). Было оно неказистое, хотя достаточно удобное. Чего стоил один лишь огромный навес перед входом. Под него могло свободно заезжать одновременно несколько экипажей вместе с лошадьми — чтобы в дождливый день любители прекрасного не портили свои изысканные туалеты.

Несколько хуже дело обстояло с самой труппой. Поэт Кольцов писал об этом критику Белинскому: «Театр у нас есть, да такой гадкий, что тошно в нем быть: мужчины бесталанные, а женщины и безобразные. Играют все одни и те же трагедии, драмы, комедии, водевили, оперы, мелодрамы, балеты и всякие другие вещи. „Ревизоры“ свои и „Гамлеты“ ни по чем. И сборы идут хорошие. Как можно звонким риском да и впору у нас много выигрывать».

Можно было бы упрекнуть Кольцова в некоторой

предвзятости, однако сам кольцовский адресат, Виссарион Белинский, при случае аттестовал тот же Воронежский театр еще строже: «Воронежские актеры — чудо из чудес: они доказали мне, что область бездарности так же бесконечна, как область таланта и гения. Куда перед ними уроды московской сцены!»

Правда, чуть позже он попытался немного подсластить свою пилюлю: «Впрочем, одна актриса с талантом, недурна собою, даже с грацией, играет мило и непринужденно; жаль только, что эта непринужденность часто переходит в тривиальность. Есть также там один актер (кажется, Орлов) если не с талантом, то не без таланта».

Увы, даже похвала Белинского звучала, словно издевательство. И ничего тут не поделаешь — уровень театра был рассчитан не на избранных эстетов-интеллектуалов, а на провинциальных обывателей, желающих приятно провести вечерок.

Однако вскоре дело выправилось, и уже в 1861 году другой критик, А.А. Стахович, видевший в Воронеже гоголевскую «Женитьбу», сообщал: «Вот вам и провинция и провинциальные актеры. Не мешало бы петербургским артистам, исполняющим эти роли, посмотреть, как их играют в провинции (положим, что так сыграть они не в состоянии, для этого нужно иметь дарования Колюбакина и Петрова), но петербургские придворные артисты увидели бы, как добросовестно, с каким уважением в провинции исполняют произведения великого писателя, как умный и талантливый актер обдумывает каждое слово, движение своей роли».

Одновременно с этим возрастал и уровень воронежского зрителя. Ему, воспитанному на Петрове с Колюбакиным, а также приезжих лицедеях, стало довольно трудно угодить. Владимир Гиляровский писал: «Чтоб заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую знаменитостей-гастролеров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера… Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на разные выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы, и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер».

«Вольности» же были примерно такого плана: «Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила „Гамлета“, сама же его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину-Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем».

Словом, то, что Гиляровский был востребован в таком театре,

говорит о многом. Он, видимо, и вправду был актером неплохим.

Здесь же в Воронеже Владимир Алексеевич впервые встретился с Ермоловой. Он поразил великую актрису — но не своей игрой, а тем, что выпил за ее здоровье залпом целую бутылку коньяку. А еще больше тем, что после этого участвовал в спектакле.

Ермолова охотно слушала рассказы Гиляровского о его юношеских похождениях и приговаривала:

— Столько видеть и не писать нельзя.

Слова Ермоловой оказались провидческими.

В общем же в Воронеже все обошлось без приключений.

Разве что, проходя мимо памятника Петру Первому напротив интендантства, наш герой заметил, что фигура императора рукой указывает на тюрьму. Гиляровский достал из кармана кусочек мела (для чего-то он носил с собою мел) и написал на постаменте свой очередной экспромт:

Смотрите, русское дворянство,
Петр Первый и по смерти строг —
Глядит на интендантство,
А пальцем кажет на острог.

По замыслу создателей Петр указывал не на острог, а на Азов — один из городов, взятых во времена этого государя русским флотом. Однако Гиляровский в эти тонкости вдаваться не желал.

Впрочем, и надпись сохранялась на постаменте не так долго — ее стер бдительный городовой.

Кроме того, Гиляровский поучаствовал в тушении двух пожаров в должности «первого лазальщика». Вот, в общем, и все приключения.

* * *

Но от судьбы, как говорится, не уйдешь. По окончании сезона Гиляровский и его приятели поехали обратно в Пензу. Он, по своему обыкновению, не успел сесть в поезд, но быстро нагнал последний вагон и только хотел ухватиться за поручень, как вдруг почувствовал, что кто-то держит его за корпус и не отпускает. Поезд ушел. А Гиляровский, обернувшись, увидал огромного жандарма, который принялся читать ему нотацию.

Но наш герой нравоучение не дослушал. Размахнулся — и

ударил жандарма кулаком в лицо. Тот охнул и упал с платформы. А Владимир Алексеевич, не будь дурак, стал думать, где бы спрятаться: «Я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский…

Слышу гвалт, шум и вопли около жандарма, которого поднимают сторожа. Один с фонарем. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально, пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков — их оказалось в вагоне только пять, — в задний угол вагона, забираю у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сено и, так замаскировавшись, ложусь на пол в углу…

Тихо. Быки постукивают копытами и жуют жвачку… Я прислушиваюсь. На станции беготня… Шум… То стихает… То опять… Раздается звонок… Мимо по платформе пробегают люди… Свисток паровоза… длинный… с перерывами… Грохот железа… Рвануло вагон раз… два… и колеса захлопали по стрелкам… Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от какой-то тишины… Светает… Соображаю, где я… Красные калмыцкие быки… Огромные, рогастые… Поезд стоит. Я встаю, оправляюсь. Вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его… Потом надеваю… выглядываю из вагона… Заря алеет… Скоро солнышко взойдет… Вижу кругом нескончаемые ряды вагонов, значит, большая станция… Ощупываю карманы — все цело: и бумажник и кошелек… Отодвигаю один запор и приготовляюсь прыгнуть…

Пробираюсь под вагонами, и передо мною длиннейшая платформа. Ряжск! Как раз здесь пересадка на Пензу… Гордо иду в зал I класса и прямо к буфету — жажда страшная. Пью пиво и ем бутерброды».

Словом, и на этот раз все кончилось благополучно. Вещи же Гиляровского никуда не делись. Больше того — вышло так, что в Ряжске он нагнал своих коллег.

* * *

В Пензе наш герой пробыл до 1881 года. По его собственным словам, «бросил трактирную жизнь и дурачества… и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь».

Разве что изредка резвился — чтобы куража не растерять. Как-то Гиляровскому попался в руки паспорт коллеги, первого любовника Белова. Не долго думая, в графе «особые приметы»

Владимир Алексеевич вписал: «Скверно играет Гамлета».

В скором времени Белов узнал об этом.

«Я чувствую, что будет дело, соскакиваю с трапеции и становлюсь в грозную позу. Белов ко мне, но остановился… Глядит на меня, да как заплачет… Уж насилу я его успокоил…» — вспоминал впоследствии заботливый Владимир Алексеевич.

А после наш герой отправился в Москву.

Глава 5.
Очарованный Москвой

Итак, Гиляровский в Москве. Второй раз в жизни. С тех пор ежели и покидал этот город, то ненадолго, — когда уезжал в командировку или в отпуск. После десятилетия скитаний Гиляровский, наконец, определился. Пусть не с домом, но, по крайней мере, с городом.

Он устроился в театр А. Бренко, где исполнял обязанность и актера и помрежа. Новая служба увлекала Гиляровского. Он писал своим знакомым в Пензу: «Шла драма старинная „Актер Яковлев“. Я когда-то читал ее и ровно ничего не нашел в ней хорошего; но что же из этой драмы сделали наши, что сделали. Я впился в сцену и ничего не видел, ничего не слышал, что происходило кругом меня, я видел только действующих лиц, я жил ими, в некоторых сценах я плакал, я, черт с железными нервами, плакал, как молодой щенок.

Суть пьесы. Давно, очень давно у нас в России был знаменитый трагик Алексей Степанович Яковлев — он и выведен… Бурлак играет крошечную роль — отставного, восьмидесятилетнего, знаменитого прежде артиста. Хорош он был до восторга, до обожания, до слез — Бурлак выражал чувства, которые действительно мог пережить Дмитриевский… Бурлака не было — был Дмитриевский…»

Тем не менее о том периоде жизни Владимира Алексеевича никаких воспоминаний не осталось. Ни у самого героя, ни у других мемуаристов. Видимо, дело в том, что на провинциальной сцене Гиляровский был звездой, а в Москве его затмили звезды в несколько раз ярче. Да и Далматов говорил по поводу нового «назначения» своего приятеля: «Что касается ваших режиссерских талантов, то я их не заметил, иначе бы непременно использовал».

Это не могло удовлетворить честолюбивого авантюриста. Он понял: следует искать другой жизненный путь.

Тут-то и случилась судьбоносная встреча. Актер В. Андреев-Бурлак познакомил Гиляровского с Н.П. Кичеевым, редактором «Будильника». Конечно, речь зашла о том, какой Владимир Алексеевич герой — он, дескать, и в народ ходил, и воевал, и пожары тушил, а сейчас актерствует.

Тут-то Бурлак и произнес те самые слова, которые определили всю дальнейшую жизнь Гиляровского:

— Николай Петрович, а он, кроме того, поэт, возьми его под свое покровительство. У него и сейчас в кармане новые стихи; он

мне сегодня читал их.

Владимир Алексеевич конечно же воспользовался случаем. Дело происходило в ресторане, за закусками и выпивкой. Наш герой поднялся, приосанился и начал декламировать.

Все-то мне грезится Волга широкая,
Грозно-спокойная, грозно-бурливая,
Грезится мне та сторонка далекая,
Где протекла моя юность счастливая.
Помнятся мне на утесе обрывистом
Дубы высокие, дубы старинные,
Стонут они, когда ветром порывистым
Гнутся, ломаются ветви их длинные.
Воет погодушка, роща колышется,
Стонут сильнее все дубы громадные,
Горе тяжелое в стоне том слышится,
Слышится грусть да тоска безотрадная…
Что же вы плачете, дубы старинные?
Или свидетели вы преступления,
Кровь пролита ли под вами невинная,
И до сих пор вас тревожат видения.
Или, быть может, в то времечко давнее,
В стругах когда еще с Дона далекого,
Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владели до моря широкого, —
Ими убиты богатые данники,
Гости заморские, с золотом грабленым;
Или, быть может, и сами изгнанники
Здесь, с атаманом, молвою прославленным,
С удалью буйные головы сложили,
С громкой, кровавой, разбойничьей славою?!
Все-то вы видели, все-то вы прожили, —
Видели рабство и волю кровавую!

Мало сказать, что наш герой не был уверен в том, что эти строки произведут впечатление на господина Кичеева. Он был не глуп и отдавал себе отчет в огрехах — отсутствие внятной концовки, фальшь в ударении (слОжили вместо сложИли), чрезмерный пафос. Одно дело — приятель-актер, и совсем другое — профессиональный литератор.

Видимо, как раз этот пафос и понравился редактору. Сам он не придерживался крайних революционных взглядов, Разина не боготворил, но надо ведь и про тираж подумать. Подобное

стихотворение вполне могло потрафить либеральной публике, которая, собственно говоря, и составляла целевую аудиторию этого журнала.

Словом, господин Кичеев взял у Гиляровского листочек, положил себе в карман и произнес:

— Прекрасные стихи, напечатаем.

А спустя несколько дней и вправду напечатал. Наш герой вспоминал: «Вдруг вваливается Бурлак, — он только что окончил сцену с Киреевым и Борисовским.

— Пойдем-ка в буфет. Угощай коньяком. Видел?

И он мне подал завтрашний номер «Будильника» от 30 августа 1881 г., еще пахнущий свежей краской. А в нем мои стихи и подписаны «Вл. Г-ий».

Это был самый потрясающий момент в моей богатейшей приключениями и событиями жизни. Это мое торжество из торжеств. А тут еще Бурлак сказал, что Кичеев просит прислать для «Будильника» и стихов, и прозы еще. Я ликовал. И в самом деле думалось: я еще так недавно беспаспортный бродяга, ночевавший зимой в ночлежках и летом под лодкой, да в степных бурьянах, сотни раз бывший на границе той или другой погибели и вдруг…

И нюхаю, нюхаю свежую типографскую краску, и смотрю не насмотрюсь на мои, мои ведь, напечатанные строки».

Еще до этого Владимир Алексеевич изредка публиковался в газете «Современные известия». Писал под псевдонимом «Театральная крыса» небольшие информационные заметки о московской сцене.

Теперь же, после публикации стихотворения, Гиляровский решил, что станет литератором. Ну, или, по крайней мере, журналистом.

* * *

Спустя некоторое время Гиляровский вновь отнес в редакцию «Будильника» свое стихотворение — на этот раз «Переселенцы»:

Из стран полуденной России,
Как бурный вешних вод поток,
Толпы крестьян полунагие
На Дальний тянутся Восток.
Авось в том крае малолюдном,
Где спит природа непробудно,

Прекрасна в дикости своей,
Земли и хлеба будет вволю.
И, доброй взысканы судьбой,
Мы переменим горе-долю
На счастье, радость и покой.
Продавши скот, дома в селенье,
Бесплодный клок родной земли
Облив слезами сожаленья,
Они за счастием брели.
Но далека еще дорога,
И плач некормленых детей
Еще тревожить будет долго
Покой и тишь немых степей.

Однако же его ждало пренеприятнейшее известие — стихотворение «завернули». Правда, не по причине качества, а из цензурных соображений. Можно было бы ожидать, что наш герой почувствует себя борцом с режимом, станет с гордостью рассказывать об этом происшествии.

Но не тут-то было. Гиляровский огорчился и довольно сильно. Писал в Пензу: «Дела мои не особенно хороши — так себе. Досадно, во все время написал только три стихотворения, из которых одно, лучшее, „Переселенцы“, не позволено. Сейчас его переделал и завтра опять пошлю в цензуру. Мало написать! Право, ничего не пишется…»

Увы, «Переселенцев» все равно не приняли. А вслед за ними запретили и так называемые «Театральные шутки» — о нищих переписчиках театральных ролей. И наш герой все больше сокрушался. Идеологических амбиций у него в то время не было. Главное — войти в литературу, примкнуть к столь заманчивому для него писательскому цеху. А тут — какая-то цензура строит помехи.

Может быть, и стал бы он писать о чем-нибудь неподцензурном — о жизни славного дворянства, например. Однако ему приходилось опираться на свой собственный жизненный опыт. А он у Гиляровского был соответствующий.

Осенью 1881 года закончился его контракт с театрами, и он окончательно ушел с профессиональной сцены. Принялся фрилансерствовать, в основном в «Русской газете». Публиковал, как правило, стихи и заметки о городской жизни. А спустя пару месяцев Н.И. Пастухов пригласил его в свой «Московский листок», только что появившийся на рынке СМИ. Там он и начал

писать постоянно под псевдонимами «Театральная крыса», «В. Гиля-й» или просто «Гиляй».

Наш герой вспоминал не без гордости: «Пастухов сразу оценил мои способности, о которых я и не думал, и в первые же месяцы сделал из меня своего лучшего помощника. Он не отпускал меня от себя, с ним я носился по Москве, он возил меня по трактирам, где собирал всякие слухи, с ним я ездил за Москву на любимую им рыбную ловлю, а по утрам должен был явиться к нему в Денежный переулок пить семейный чай. И я увлекся работой, живой и интересной, требующей сметки, смелости и неутомимости. Это работа как раз была по мне».

Гиляровский был на сто процентов прав. Способностей к так называемой информационной журналистике было у него хоть отбавляй. В первую очередь — огромная физическая сила и здоровье. Гиляровский не боялся, что в каком-нибудь притоне его ударят по башке пивной кружкой. При огромном скоплении народа (как, к примеру, на Ходынке) не боялся, что его раздавят. Залезая в коллектор Неглинки, не боялся, что промочит ноги и получит насморк (совершая этот «подвиг», большим он не рисковал). А навыка для написания малюсеньких заметок ему, хотя и начинающему литератору, было не занимать.

К тому же рядом всегда был Пастухов, новый наставник. В любой момент он мог помочь дельным советом. По большому счету все они сводились к одному:

— Будь как вор на ярмарке! Репортерское дело такое.

Наш герой не скрывал своей радости: «Сил, здоровья и выносливости у меня было на семерых. Усталости я не знал. Пешком пробегал иногда от Сокольников до Хамовников, с убийства на разбой, а иногда на пожар, если не успевал попасть на пожарный обоз. Трамвая тогда не было, ползала кое-где злополучная конка, которую я при экстренных случаях легко пешком перегонял, а извозчики-ваньки на дохлых клячах черепашили еще тише. Лихачи, конечно, были не по карману, и только изредка в экстреннейших случаях я позволял себе эту роскошь».

Больше всего Владимир Алексеевич, по старой памяти, любил пожары: «Помню, увидал пожар за Бутырской заставой. Огонь полыхает с колокольню вышиной, дым, как из Везувия; Тверская часть на своих пегих красавцах промчалась далеко впереди меня… Нанимаю за два рубля лихача, лечу… А там уж все кончилось, у заставы сгорел сарай с сеном… Ну, и в убыток сработал: пожаришко всего на пятнадцать строк, на семьдесят пять копеек, а два рубля лихачу отдал! Пастухов, друживший со всеми начальствующими, познакомил меня с

оберполицмейстером Козловым, который выдал мне за своей подписью и печатью приказание полиции сообщать мне подробности происшествий, а брандмайор на своей карточке написал следующее: „Корреспонденту Гиляровскому разрешаю ездить на пожарных обозах. Полковник Потехин“.

И я пользовался этим правом вовсю, и если не успевал попасть на пожарный двор во время выезда, то прямо на ходу прыгал на багры где-нибудь на повороте. Меня знали все брандмейстеры и пожарные, и я, памятуя мою однодневную службу в Ярославской пожарной команде и Воронеж, лазил по крышам, работал с топорниками, а затем уже, изучив на практике пожарное дело, помогал и брандмайору. Помню — во время страшного летнего пожара в Зарядье я спас от гибели оберполицмейстера Козлова, чуть не провалившегося в подгорелый потолок, рухнувший через минуту после того, как я отшвырнул Козлова от опасного места и едва выскочил за ним сам. Козлов уехал, опалив свои огромные красивые усы, домой, а в это время дали сбор частей на огромный пожар в Рогожской и часть команд отрядили из Зарядья туда».

Да, Владимир Алексеевич не гнушался принимать участие в тушении пожаров. А когда его спрашивали, для чего он лезет в пламя, для чего собой рискует — ведь другие журналисты этого не делают, — он отвечал:

— Баре, белоручки, им бы пожары из переулка наблюдать. Когда слышишь раздирающий душу плач, видишь истерику людей, у которых горит имущество, почему бы не помочь?

Гиляровский, без году неделя в журналистике, даже воспитал ученика — учителя чистописания А.А. Брайковского. Тот страстно любил пожары, и Владимир Алексеевич, который был не в состоянии присутствовать на всех таких событиях (Москва в те времена горела часто, да и у сотрудника «Московского листка» было немало других дел), время от времени давал ему задания. Впоследствии Брайковский так освоился, что забросил педагогику, снял квартиру бок о бок с пожарным депо на Пречистенке, добился того, чтоб ему на квартиру протянули шнурок с каланчи, и, когда где-нибудь полыхнет зарево, дежурный часовой дергал шнурок, в комнате у пожарного маньяка звонил колокольчик, и Брайковский радостно бежал в депо — он ездил на пожары вместе с огнеборцами.

За год Владимир Алексеевич сделал карьеру головокружительную. «Трудный был этот год, — писал он, — год моей первой, ученической, работы. На мне лежала обязанность вести хронику происшествий — должен знать все, что случилось в городе и окрестностях, и не прозевать ни одного убийства, ни

одного большого пожара или крушения поезда. У меня везде были знакомства, свои люди, сообщавшие мне все, что случилось: сторожа на вокзалах, писцы в полиции, обитатели трущоб. Всем, конечно, я платил. Целые дни на выставке я проводил, потому что здесь узнаешь все городские новости».

Но результаты того стоили.

* * *

В 1882 году Владимир Гиляровский раздобыл настоящую сенсацию. Пастухов сформулировал задание так:

В Орехово-Зуеве, на Морозовской фабрике был вчера пожар, сгорели в казарме люди, а хозяева и полиция заминают дело, чтоб не отвечать и не платить пострадавшим. Вали сейчас на поезд, разузнай досконально все, перепиши поименно погибших и пострадавших… да смотри, чтоб точно все. Ну да ты сделаешь… вот тебе деньги и никому ни слова…

И дал последнее напутствие:

— Да ты переоденься, как на Хитров ходишь… день-два пробудь, не телеграфируй и не пиши, все разнюхай… Ну, счастливо.

И Владимир Алексеевич отправился на место происшествия.

Начал он с трактира. Послушал, порасспрашивал. Выходил. Становился в очередь с рабочими мануфактуры, как будто за зарплатой. Вновь заходил в трактир. Словом, наводил справки, по возможности, не привлекая к своей персоне ни малейшего внимания.

Спустя несколько дней картина прояснилась. Но простого описания события для газеты было явно недостаточно. Гиляровский подошел к одному полицейскому и огорошил его вопросом в лоб:

— Скажите, какая, по-вашему, причина пожара?

— Поджог! — ответил тот, но сразу же насторожился и спросил: — А ты кто такой за человек есть?

— Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так… могу тебе и карточку с удостоверением показать.

Полицейский понял Гиляровского по-своему.

— А, здравствуйте! Значит, оттуда? — спросил он и подмигнул. В виду имелось, разумеется, высокое начальство, знаменитое сыскное отделение.

— Значит, оттуда. Вторые сутки здесь каталажусь… Все узнал. Так поджог?

— Поджог, лестницы керосином были облиты.

— А кто видал?

— Есть такие, найдутся, а то расходы-то какие будут фабрике, ежели не докажут поджога… Ну, а как ваш полковник поживает?

— Какой?

— Как какой? Известно, ваш начальник, полковник Муравьев.

И тут Гиляровский пошел на шантаж. Предъявил свое подлинное удостоверение. У полицейского, естественно, поджилки затряслись — что будет, если его начальник прознает про это интервью? Страшно подумать. И, взамен на обещание Гиляровского оставить свой «источник» в тайне, рассказал ему еще массу секретных сведений.

На следующий день утром текст лежал у Пастухова. Подробный и разоблачительный. Подписанный, на всякий случай, псевдонимом.

Редактор решил подзадорить дирекцию мануфактуры и изменил псевдоним.

— «Проезжий корнет»? Так корнету и поверят. Пусть будет «Свой человек». Пусть у себя поищут, а то эти подлецы купцы узнают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые… Вот рабочие так обрадуются, читать газету взасос будут, а там сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки.

И 4 июня в газете был опубликован подробнейший отчет о тех трагических событиях: «28 мая, в половине двенадцатого часа ночи, в спальном корпусе № 8, где находились денные рабочие с семействами, а равно семейства отсутствовавших, вспыхнул пожар и в одно мгновение охватил все здание. Люди в страшном испуге бросились к выходу, но немногие успели спастись этим путем. Остальные начали бить и ломать оконные рамы и бросаться с высоты второго этажа на землю. Ужасную картину представляло горящее здание: в окнах, из которых, прорываясь в разбитые стекла, валил дым и языками поднималось пламя, зажигая наружную часть стены, метались рабочие, тщетно стараясь выбить крепкие, наглухо заделанные рамы… Вот в одном из окон, на виду всех, высокий мужчина отчаянно бьет самоваром по раме, но тщетно! Несчастный задыхается в дыму и падает мертвым… Огонь окончательно охватил окно… В другом окне появилась женщина с грудным ребенком на руках… волосы и платье ее пылают… Ей успели подать лестницу, спасли ее и всю обожженную отправили в больницу вместе с ребенком… Это жена крестьянина Сычевского уезда Смоленской губернии Сорокина. Муж ее в это время лежал без чувств на руках своего сына, только что возвратившегося со смены. Сорокин тоже обезображен донельзя… На лице и руках у него кожа и мясо болтались

лохмотьями. Дочери его, Марфы, одиннадцати лет, и до сих пор найти не могли. Из одного окна отец бросил свою малолетнюю дочь, которая была поймана кем-то на руки и осталась невредимой, а вслед за ней, весь в огне, прыгнул и сам несчастный… Лестниц было немного, да и те не имели никакого значения, потому что окна были забиты, не отворялись, и выбить их было чрезвычайно трудно, так как здание было новое. К счастью, быстро прибывшая фабричная пожарная команда с паровыми трубами отстояла соседние казармы и бараки, или, вернее сказать, темные чуланы, где помещались рабочие, и жертвою пламени сделался только один верхний этаж корпуса №8. Вот как рассказывает жена рабочего Кулькова о начале пожара:

— Спали мы в чулане, сзади казармы, а проснувшись, отправились на смену, часу в двенадцатом. Только что я вышла — вижу, в окне третьей каморки, вверху, огонь и дым валит. Максим! — мужа зову, — гляди-ка, никак пожар? Он вышел из чулана, и мы побежали в корпус — вещи наши там были. Только прошли через кухню в коридор, а уж огонь-то в нем. Крикнули: «Спасайтесь, горим!» Ну, народ начал выбегать, а уж коридор сразу со всех сторон горел. Как я выбежала на двор — не знаю — муж мой из окна выскочил, скамьей его вышиб и кричит, помощи просит… Народ из окна лезет, падает, кричит. Казарма уж сразу вся в огне была… Действительно, корпус загорелся сразу, и к утру весь второй этаж представлял из себя развалины, под которыми погребены были тела погоревших. В субботу найдены были трупы, обуглившиеся, потерявшие человеческий вид; некоторые из них валялись сверху обломков, а некоторые под ними. Особенно трогательную картину представлял труп женщины с двумя обгорелыми детьми на руках. Это жена сторожа, разрешившаяся в момент пожара… Далее были найдены еще два ребенка, сын и дочь отставного солдата из Динабурга Иванова. Сам же Иванов, получивший страшные обжоги и ушибы, лежит в больнице.

В груде пепла и обломков найдено пока одиннадцать трупов, которые и похоронены в тот же день. Детей клали в один гроб по несколько человек. Похороны представляли печальную картину: одиннадцать гробов были положены в простые телеги и отвезены на кладбище!.. Обломки на пожарище не все разобраны. Предполагают, что найдутся сгоревшие, так как, по словам рабочих, несколько человек недостает.

Причины пожара объяснить никто не может, но ввиду того, что громадная казарма, имеющая семнадцать окон по фасаду в каждом этаже, вспыхнула моментально, загоревшись в разных концах, предполагают поджог, тем более что, по уверению

фабричных, все лестницы в корпусе были облиты керосином.

Получивших обжоги и ушибы при прыжках со второго этажа насчитывают до тридцати человек, из которых большая часть находится в больнице…

Пожар навел страшную панику на рабочих. Так, например, в понедельник, 31 мая, в казарме №5 при раздавшемся крике «горим! пожар!» произошел неподдающийся описанию переполох, но тревога оказалась напрасной — пожара не было. Теперь рабочие, для безопасности, привязывают у окон веревки, чтобы избегнуть страшного несчастья быть заживо поджаренными».

А спустя несколько дней последовало и продолжение: «Упавшую крышу и обгорелые бревна на погоревшем корпусе Морозовской фабрики сняли, но до сих пор не разрывают землю, свалившуюся с накатов и покрывшую уцелевший пол второго этажа здания. Между рабочими носятся упорные слухи, что под этой землей есть еще трупы сгоревших. В больнице из числа помещенных туда обожженных шесть человек умерли и были похоронены на так называемом Мызинском кладбище. Кладбища здесь два: одно около церкви, близ села, называемое Ореховское, а другое Мызинское. На первом хоронят только жителей известных деревень и сел или тех умерших, для которых откупят место, а на другом всех без исключения. Мызинское кладбище находится в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесу, на песчаном кургане. Тут же похоронены и одиннадцать человек сгоревших. На днях еще привезли из больницы несколько человек на кладбище, но на вопросы: „Что это, из числа пострадавших?“ ответ последовал отрицательный. И уже потом объяснилось, что „запрещено“ говорить, что умирают погорельцы. Вообще происшедшую катастрофу и все ее последствия здесь хотят прикрыть почему-то непроницаемой завесой…

Так, например, желая узнать и проверить ранее добытые нами из уст посторонних и пострадавших фабричных известия, мы обратились с этой целью к местному надзирателю, старику, получающему жалованье от Морозовской фабрики, но от него получили полнейший отказ сообщить нам необходимые сведения.

Не добившись ничего от блюстителя порядка, мы обратились к фабричному врачу. Но и этот последователь Эскулапа настолько пропитался тем же фабричным духом таинственности, что решительно отказался отвечать на наши вопросы.

— Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгоревших? — спросили мы.

— Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь или в контору, или, самое лучшее, к следователю, — был ответ.

— Не можете ли вы сказать, удовлетворительно ли их

здоровье, поправляются ли они после обжога?

— Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь в контору или…

— Но скажите, пожалуйста, умер кто-нибудь из них? Ведь это же не секрет!

— Ничего-с, ничего-с, ничего-с не могу сказать! Обратитесь лучше… — и, не кончив речи, врач ретировался.

Между тем, несмотря на молчание врача, известно, что в больницу после пожара труднобольных поступило 29 человек. Но сколько из них поправилось и сколько умерло — неизвестно.

В настоящее время на фабрике идут переделки. К нерастворяющимся рамам начали приделывать петли, по стенам казарм наставили несколько деревянных лестниц… и только! Почти все корпуса, и даже самый громадный — прядильный, снабжены лишь старыми деревянными лестницами снаружи, да и то по одной или по две… Вообще нельзя не сказать, что г. Морозову, считающему у себя на фабрике до 15000 рабочих, следовало бы серьезнее позаботиться о них. Не лишне было бы, например, посократить усилившиеся за последнее время штрафы, подумать о предупредительных мерах на случай пожара и распорядиться, чтобы по ночам в коридорах корпусов дежурили сторожа, а в «каморках» спали бы не по 15 и 17 человек, как это делается теперь, а поменьше, сообразно величине этих «каморок»».

Дело кончилось вызовом Пастухова к губернатору Москвы. Тот обвинил главного редактора в организации бунта на фабрике — ознакомившись с газетной публикацией, рабочие действительно затеяли бузу — оставили станки, стали собираться в кучки и переговариваться. Хозяева ходатайствовали перед градоначальником, чтобы он выслал автора крамольной публикации из Москвы. Пастухов, однако же, сослался на каких-то не известных никому рабочих с фабрики, которые, якобы, принесли заметку. Губернатор — жизнелюб и бонвиван Владимир Долгорукий — спустил все на тормозах.

По этому поводу Пастухов с Гиляровским и еще одним сотрудником «Московского листка» устроили у Тестова истинный пир. Николай Иванович кутил, наказывал официанту:

— Кузьма, уху из стерлядки, расстегайчик пополамный, чтобы стерлядка с осетринкой и печеночка налимья, потом котлеты пожарские, а там блинчики с вареньем. А пока закуску: икорки, балычка, ветчинки — все как следует. Да лампопо по-горбуновски, из Трехгорного пива.

Одна беда — так и не выяснили, кто разлил керосин.

* * *

Вскоре после этого Владимир Алексеевич совершил очередной свой репортерский подвиг. Выпивал в компании антрепренера М. Лентовского и его приятеля — управляющего Московско-Курской железной дорогой К.И. Шестакова. И вдруг за Шестаковым прибыл курьер. Оказалось, неподалеку от Орла произошла страшная, немыслимая катастрофа — поезд вместе с рельсами под землю провалился. Шестаков, естественно, уехал. А следом за ним — и Гиляровский.

Тайком пробрался к экстренному поезду, который приготовили для высшего железнодорожного начальства, и спрятался под поезд, припаркованный бок о бок с ним. Выгадав случай, проскочил в экстренный поезд и спрятался в уборной. Так и доехал до Кукуевки, рядом с которой и произошла трагедия. И отправил телеграмму в родную газету.

«Огромный глубокий овраг пересекает узкая, сажень до двадцати вышины, насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов. На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят готовые рухнуть разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба — причина катастрофы. Страшный ночной ливень 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу, вымыл землю и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул поезд… Два колена трубы, пудов по двести каждая, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи, такова была сила потока…

Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте, и вся средина поезда, разбитого вдребезги, так как машинист, во время крушения растерявшись, дал контрпар, разбивший вагоны, рухнула вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной и зысыпало землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и трупами погибших людей».

Затем на место происшествия съехались и другие репортеры. Но первым с сообщением о катастрофе выступил «Листок», что еще более прославило «Дядю Гиляя».

Полмесяца длились работы у Кукуевки. Все это время наш герой провел на месте происшествия: «С момента начала раскопок от рассвета до полуночи я не отходил от рабочих. Четырнадцать дней! С 8 июля, когда московский оптик Пристлей поставил электрическое освещение, я присутствовал на работах ночью, дремал, сидя на обломках, и меня будили при каждом показавшемся из земли трупе… Я пропах весь трупным запахом и

более полугода потом страдал галлюцинацией обоняния и окончательно не мог есть мясо».

И, разумеется, все это время Пастухов публиковал его подробные и регулярные отчеты.

Первый из них назывался бесхитростно, однако эффектно: «Страшная катастрофа на Курской железной дороге»: «Сильный дождь, продолжавшийся в Москве целый день во вторник, 29 июня, лил и в отдаленных от нее Тульской и Орловской губерниях и при этом сопровождался там страшной бурей. Поэтому к вечеру на многих местах полотно Московско-Курской дороги было размыто, и рельсы или разошлись, или совсем свалились. Оказалось это близ станций Сергиево и Скуратово, но в третьем месте, именно, не доезжая 1½ версты до станции Чернь, ночью повреждения не заметили. Между тем это место, окруженное болотистой трясиной (285-86 верст от Москвы), одно из опаснейших на всей дороге. Ночью, в третьем часу, на этом месте встречаются почтовые поезда: идущий из Москвы, №3, и из Курска, №4. В эту ночь с 29 на 30 июня почтовый поезд, шедший из Курска, благополучно прошел над этой трясиной в 2 часа 32 минуты ночи; спустя лишь четверть часа подошел встречный ему почтовый поезд, шедший из Москвы. Машинист и поездная прислуга ни о какой опасности на предыдущей станции, Крестцах, предуведомлены не были, поэтому поезд шел очень быстрым ходом. Между тем за эту четверть часа насыпь от сырости опустилась, рельсы разошлись одна от другой, и вот здесь-то почтовый поезд потерпел страшное крушение. Десять вагонов с пассажирами разбились вдребезги, четыре вагона, в том числе и почтовый, оторвались и уцелели. Страшное зрелище представляли эти обломки поезда и массы убитых и тяжело израненных! Поездная прислуга убита почти вся. По первому исчислению, более 50 пассажиров убиты и до 80 человек искалечены так ужасно, что многие едва ли останутся в живых. К утру приехали врачи из Черни и из Тулы, а в 3½ часа дня с почтовым поездом отправлены врачи из Москвы. Это небывалое еще у нас в железнодорожной хронике несчастье случилось в 2 часа ночи, а депеша правлением дороги получена была только в 10 часов утра; ее задержала гроза. Поезда, шедшие к Москве, были задержаны».

И в дальнейшем Гиляровский удерживал внимание читателей, совмещая скрупулезность репортера с образностью литератора: «К утру 14 июля раскопки в жерле могилы были кончены, трупы и части вагонов вынуты; докопались до самого грунта. Оставалось поднять три колена трубы, попавшие в глубокую, выбитую водой яму. Это стоило громадных усилий, так

как каждое колено (звено) весит до 160 пудов. Наконец, с помощью нескольких сот рабочих, под песню традиционной „Дубинушки“, колено это вытащили. Прокурор палаты С.С. Гончаров, лично осмотрев это место, отправился далее, вниз по дну оврага и по течению соседнего ручья, производить окончательный осмотр местности. При осмотре присутствовали: инспектор дороги г. Шуберский, тульский губернский инженер Иванов, инженер Б. Домбровский и Клемчицкий, товарищ прокурора Федотов-Чеховский, судебный следователь г. Висневский и местный исправник г. Козловский.

На расстоянии 120 сажень в сторону от места катастрофы была сплошь перекопана вся наносная земля, осмотрено каждое место, где можно предполагать присутствие трупов. К 10 часам утра все было кончено, и С.С. Гончаров, честно выполнивший свою задачу, отправился в Москву.

В тот же день, к вечеру, по распоряжению чернского исправника было произведено сожжение морга и всех удобосгораемых вещей, оставшихся после адской катастрофы; земля насквозь пропитана дезинфекционными средствами и засыпана толстым слоем извести. Теперь уже все замолкло, никого нет на этой ужасной могиле… Нет ни инженеров, мечущихся по насыпи и орущих на рабочих, в грязных рубахах, с лопатами и тачками в руках, нет разнокалиберной публики, нет и помещиц — барынь и барышень, разодетых в богатые пестрые, не вяжущиеся с общей грустной картиной костюмы. Нет и родственников, горько плачущих по убитым… никого нет… Пусто и безлюдно на этом отныне увековеченном адском месте…

Дальше же внизу, справа и слева, продолжаются другие работы: постройка насыпи для обходного пути… Работа идет быстро. На дне проклятого оврага начинают уже класть трубы для новой насыпи — и притом кладут те самые трубы, которые уцелели после катастрофы…

Проходя по мостику, устроенному для перехода пассажиров, я увидел несколько железнодорожников из мелких служащих, ведших между собой следующий разговор:

— Да вот опять на работу сейчас, и отдохнуть не дадут, анафемы! — промолвил один из них…

— Куда это еще? — спросил другой, одетый в синюю блузу.

— Да гробы перетаскивать…

— Какие гробы? С ума сошел? Вчера последнее тело отправили…

— Да не тела, а гробы, тут вон дорогих свинцовых гробов по случаю накупили, тел-то мало оказалось, а гробы остались…

— Куда же их теперь, дяденька? На что покупали? —

обратился молодой, почти мальчик, рабочий к старику, стоявшему рядом.

— Куда?! Ты думаешь, зря их покупали… Начальство-то, брат, знает, что делает, — вот трубы-то старые ставят, а гробы-то новые… Смекнул?!

Далее я не мог расслышать разговора, так как в это время мужики, накатывающие трубы под насыпью, затянули «Дубинушку»:

Ой, робя, ворочай туже,
Видны косточки наружи!..
Ой, дубинушка, ухнем…»

И так — каждый день.

Правда, один выходной у нашего героя все же был. Владимир Алексеевич встретил тут своего знакомого, Евгения Михайловича Гаршина, брата известного писателя. Тот проживал недалеко, на даче, из любопытства съездил поглядеть на место катастрофы, но, не выдержав трупного запаха, вернулся на дачу. Прихватив Гиляровского.

Репортер там искупался в пруду, переоделся во все свежее (а грязную одежду прирожденный хулиган не выбросил — засунул в дупло дерева) и наодеколонился. Тут же случился и поэт Полонский — Гаршин познакомил двух мастеров слова:

«На полянке, с которой был виден другой конец пруда, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий, величественный старец, с седой бородой, и писал картину. Я видел только часть его профиля.

— Яков Петрович!

— А, Евгений Михайлович! Я слышал, кто-то купается, — не отрываясь от работы, говорил старик.

— Я, да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гиляровский.

Старец обернулся и ласково, ласково улыбнулся.

— Очень рад, очень рад… Где-то я на днях видел вашу фамилию, ну, вот недавно, недавно…

— А корреспонденция из Кукуевки, — вмешался Гаршин, — как раз вчера мы с вами читали… я его оттуда и привез.

— Так это вы? Мы все зачитываемся вашими корреспонденциями, какой ужас. В других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят «Листок» из Мценска. Очень, очень рад… Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду, очень рад, очень…

Мы быстро пошли.

— Кто этот славный старик, уж очень знакомое лицо? — спрашиваю я.

— Да Яков Петрович Полонский, поэт Полонский, я гощу у него лето, Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался… А вот Яков Петрович и его семья — здесь.

— Какой Иван Сергеевич? — спрашиваю я.

— Да Тургенев, ведь это его имение, Спасское-Лутовиново».

Владимир Алексеевич был несказанно рад приятному знакомству и, конечно, похвале Полонского.

Один же из сотрудников «Московского листка» впоследствии писал о Гиляровском: «Командированный в 1882 году на Кукуевскую катастрофу, он пробыл в „знаменитой могиле“ при откапывании трупов 14 дней и дал такое подробное описание, что получил известность как корреспондент. Работая в газетах, он даже получил прозвище „Король репортеров“».

Вряд ли «коронация» произошла именно в 1882 году, ведь Гиляровский был в то время репортером начинающим, пускай и ярким. Но события в Кукуевке сыграли, видимо, решающую роль в его послужном списке. Ведь известность пришла именно тогда.

* * *

Владимир Алексеевич писал довольно много репортажей из Московской губернии, в частности из Коломны и ее окрестностей… Даже о жизни цыган: «Кроме обыкновенных нищих сюда прибыли еще две семьи воронежских цыган. Эти уж действительно нищие, в полном смысле слова. На берегу Москвы-реки, ½ версты от города, раскинуты два шатра, из дырявой дерюги — это их жилища. Внутри разложен огонек, где они варят себе незатейливую пищу — вода с капустой — щи, печеный картофель и что-то вроде варенцов на подонках постного масла. В каждом шатре человек по десяти, грязных, полураздетых, полуголодных… Когда я вошел к ним, на меня бросилась громадная овчарка; но сейчас же была и остановлена. Меня приняли очень ласково.

— Садись, барин, посмотри на цыганское житье, погрейся! — предложил мне старший из них.

Я присел к огню. Замазанный до последней степени, с соломой и сором в курчавой голове, мальчик лет десяти вытащил из золы полусырой картофель и подал его мне.

— Так, Гуза, так, угощай барина! — смеясь заметил ему отец. Все рассмеялись и что-то пробормотали между собой на своем

удивительном наречии.

Глава их, мещанин воронежской губернии Бобров, подал мне две бумажки и просил прочитать. Первая оказалась отношением из Бобровской мещанской управы, крайне безграмотно написанным, в котором говорилось, что мещанин Бобров за получением паспорта должен явиться сам, так как с него следуют подати и он состоит в подозрении полиции (подлинные слова бумаги). Другая же бумага оказалась отсрочкой на два месяца, выданной на проживание в Коломенском уезде.

— Вот, барин, и туда меня зовут, и отсюда не пускают! Как быть? А здесь жить нечем, надо идти, и идти нельзя.

— Так что же вы думаете делать? — спросил я.

— Христа ради сбираем, лучше здешнего купечества и не найти. Другой, положим, и поломается над тобой, и фараоном египетским назовет, и все-таки даст пятачок. Опять вон мачка (он указал на старуху, сидевшую у костра) гадать умеет — купчихи любят, тоже кой-что дадут.

Посидев еще несколько минут и надышавшись едким дымом костра до головокружения, я распрощался с цыганами и отправился домой».

Ранние репортажи нашего героя были занятными, наивными и непосредственными. Он брался за любые темы, по сути, продолжал пробовать жизнь на зубок. Читателю же это импонировало, и он подписывался на «Листок». Доходы Пастухова увеличивались.

За него можно было лишь порадоваться. Открыть такое дарование, как Гиляровский, — дорогого стоит.

* * *

В том же 1882 году в Москве произошло прелюбопытное событие, о котором было возвещено заранее: «Воздухоплаватель Берг сегодня 3 сентября в 7 часов вечера совершит полет на воздушном шаре с пустопорожнего места Мошнина в Каретном ряду. За вход 30 копеек, сидячее место — 1 рубль».

Гиляровский получил задание от Пастухова описать полет. Собственно говоря, сенсации в том не было — воздушные шары летали по России с незапамятных времен. Но все же, все же…

Владимир Алексеевич вновь оказался молодцом: «Я пробился к самому шару. Вдали играл оркестр. Десяток пожарных и рабочих удерживали шар, который жестоко трепало ветром. Волновался владелец шара, старичок, немец Берг, — исчез его помощник Степанов, с которым он должен был лететь. Его ужас

был неописуем, когда подбежавший посланный из номеров сказал, что Степанов вдребезги пьян и велел передать, что ему своя голова дорога и что на такой тряпке он не полетит. Берг в отчаянии закричал:

— Кто кочит летайт, иди…

— Я, — шепнул я на ухо старику среди общего молчания и шагнул в корзину. Берг просиял, ухватился за меня обеими руками, может быть, боялся, что я уйду, и сам стал рядом со мной».

Под аплодисменты Берг и Гиляровский взмыли в воздух. Собственно, на этом радости закончились. Воздухоплаватели сразу оказались в гадкой, мокрой туче, из которой выбрались отнюдь не сразу, и незамедлительно попали в новую. Летели несколько часов и приземлились в Люберцах. В Москву Владимир Алексеевич вернулся лишь на следующий день и с ходу получил от Пастухова нагоняй — ведь репортаж-то Гиляровский вовремя не сдал.

Владимир Алексеевич очень любил рассказывать эту историю и непременно прибавлял:

— Это за всю мою репортерскую деятельность был единственный случай такого упущения.

Кокетничал, стервец.

* * *

Первое время босяцкая юность давала знать о себе. Владимир Алексеевич пытался и в Москве жить по законам поволжской вольницы. Впоследствии конечно же он понял, что подобное поведение здесь не слишком-то уместно. Но прежде испытал много разочарований и совершил немало ошибок.

Однажды, например, он пригласил к себе в меблированные комнаты пожить нищего пьяницу и хитрована (а по совместительству поэта) Сергея Андреева Рамзай-Соколия (Рамзай-Соколий был, ясное дело, псевдоним, образованный от песьих кличек). А тут великая удача — на одном из вечеров стихотворение Гиляровского «Неравный брак» будет читать актер А. Южин. Как пропустить такой триумф!

После работы Гиляровский заскочил к себе домой переодеться. И увидел за своим столом веселую компанию — самого Рамзай-Соколия и двух старых приятелей — Сергея Евстигнеева, только что освободившегося из полицейского участка (двинул в ухо квартальному), и Василия Григорьева, тоже недавно вышедшего на свободу, только из дурдома.

Гиляровскому тоже налили стакан. Он махнул и полез за одеждой. Брюки есть, жилет — вот он, а сюртука не видать.

— Рамзай, где мой сюртук? — спросил Владимир Алексеевич.

— Вот твой сюртук, — показал тот на стол. Оказалось, что приятели пропивают парадную хозяйскую одежду.

Что же сделал наш герой? Да ничего особенного. Сел с ними за стол, начал пить, закусывать, слушать романсы под гитару в исполнении Григорьева:

Стою один я пред избушкой,
Кругом все тихо и темно.
Но с этой бедною лачужкой
Так много дум сопряжено…

А в это время актер Южин декламировал роскошной публике его стихи. Но наш герой не огорчался, более того, с любовью вспоминал потом об этом: «Много всего я повидал на своем веку, а все-таки памятен мне тот вечер с моими искренними друзьями юности, которых уже нет. Рамзай-Соколий был найден замерзшим на улице. Сережку Евстигнеева убили до смерти в пьяной драке, а Вася Григорьев, премьер в провинциальных труппах, угорел, по пьяному делу, в своей комнате, когда гастролировал в г. Козлове. Его забыли разбудить».

Кстати, писал Гиляровский преимущественно на подоконнике. Дело в том, что в его номере гостиницы «Англия» на Тверской улице (к счастью, денег на свой номер в самом центре города ему хватало) довольно часто бывали гости. Понятно, выпивали и закусывали. А придя в восторженное состояние, заваливались на кровать или же на диван, а чаще занимали оба спальных места. Стол же был занят остатками пиршества, убирать которые уж очень не хотелось. Да и смысла не было. Гости проснутся — снова сядут пить.

Тогда Владимир Алексеевич приставлял стул к подоконнику и начинал писать.

Как тут не вспомнить Даниила Хармса: «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твердую ногу».

* * *

Гиляровский любил алкоголь, мог пить его в неограниченном количестве, но не пьянел и похмелья не испытывал. В отличие от

большинства товарищей по увлечению, он поднимался ранним утром, около пяти утра, и сразу принимался за работу. Из дому выходил около десяти — шел по редакциям, по тем местам, откуда следовало сделать репортаж, взять нужную информацию.

Обедал же Владимир Алексеевич на Бронной, в простенькой студенческой столовой. Рацион был незатейлив — щи и каша. Но нашего героя это устраивало — он был неприхотлив в еде, хотя знал толк в деликатесах.

* * *

А желание поиграть мускулатурой все не оставляло Гиляровского. Тем более что поводов для этого в Москве хватало.

«Возвращался я с дружеской пирушки домой и вижу возню у памятника. Городовой и ночной сторож бьют плохо одетого человека, но никак с ним сладить не могут, а тот не может вырваться. Я соскочил с извозчика, подлетел, городового по шее, сторожа тоже. Избиваемый вырвался и убежал. Сторож вскочил — и на меня, я его ткнул головой в сугроб. Городовой, вставая, схватился за свисток — я сорвал его у него с шеи, сунул в свой карман, а его, взяв за грудь шинели, тряхнул:

— За что вы били человека? — а сам трясу.

Голова его то на грудь, то к спине. Сторож вылезает из сугроба. Все это дело одной минуты. Обеими руками городовой ухватился за мою руку, но тщетно».

Правда, на всякий случай Гиляровский представился городовому племянником Козлова, обер-полицмейстера. Он отдавал себе отчет в противоправности своих действий.

Но со временем его физическая удаль стала принимать цивилизованные формы. Гиляровский стал ходить в школу гимнастики и фехтования, затем вступил в Русское гимнастическое общество. Правда, по уставу запрещалось принимать в общество тех, кто показывал себя за деньги на арене, но наш герой с этой проблемой справился блестяще — умолчал о том, что некогда работал в цирке.

* * *

Финансировал Русское гимнастическое общество Сергей Тимофеевич Морозов, брат известного Саввы Морозова и один из самых колоритных русских меценатов. Коллеги-купцы считали Сергея Морозова в высшей степени странным субъектом. Один из

них, некто Н. Варенцов писал в своих заметках: «Сергей Тимофеевич из-за своей нервной болезни не пожелал заниматься делом, а всецело отдался работе по кустарному музею, на что тратил большие деньги».

Насчет дела и «нервной болезни» Варенцов слегка преувеличивает — Сергей Морозов был директором-распорядителем Товарищества Никольской мануфактуры. А странности его были вполне простительны. Сергей Тимофеевич, к примеру, не хотел жениться. Вместо этого он содержал молодую венгерскую танцовщицу и по модной в то время системе доктора Фореля ездил к ней из своего Успенского дважды в неделю. Притом Морозова на всякий случай каждый раз сопровождал домашний доктор.

Именно Сергей Морозов основал крупнейший в Москве родильный дом, субсидировал дорогостоящий журнал «Мир искусств», на свои деньги отстроил Кустарный музей (ныне — Музей народного искусства). И без корысти приглашал в свое имение Успенское художников и литераторов.

Чаще всего там гостил Исаак Левитан. Сергей Морозов, неравнодушный к живописи, брал у него уроки мастерства и в любое время с радостью предоставлял приют Исааку Ильичу. По его же просьбе Сергей Тимофеевич Морозов пригласил в Успенское Антона Павловича Чехова. Они вместе охотились, при этом оба «гуманиста» не могли добить смертельно раненного вальдшнепа — им было очень его жалко. И, в конце концов, удар нанес писатель Чехов.

Левитан впоследствии писал Антону Павловичу: «Очень рад, что Морозов тебе понравился, он хороший, только слишком богат, вот что худо, для него в особенности».

Однако сам Чехов был более резок: «На днях был в имении миллионера Морозова. Дом — как Ватикан, лакеи в пикейных жилетах с золотыми петлями на животах, мебель безвкусная, вина — от Леве, у хозяина никакого выражения на лице, — и я сбежал».

Не удивительно, что Сергей Тимофеевич пожертвовал часть своих денег на забавы с эспадронами, рапирами и прочим, как говорят в наши дни, железом. Здесь же Гиляровский и познакомился с Чеховым. Впоследствии Антон Павлович вспоминал о первой встрече: «Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят — смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу триста лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий

сказал, что один из бойцов — Тарасов, первый боец на эспадронах во всей России, преподаватель общества, а другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер — поэт Гиляровский. … Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал».

Два молодых, начинающих писателя сразу понравились друг другу. Быстро сдружились — так, как могли сдружиться только два талантливых провинциала, оказавшихся в столице (пусть и во второй по своему значению). Гиляровскому был симпатичен деликатный, робкий и при этом остроумный, искрометный Антон Павлович. Тот же восторгался своим другом-силачом:

— Ну, какой же я гимнаст! Я человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры! Витязи! Как тогда хлестались вы мечами! Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы!.. Нет уж, куда мне!.. Да и публика у вас не по мне, — пробежал он глазами по списку членов общества.

Кстати, сохранилась характеристика Антона Павловича, данная ему одним из членов общества, г-ном Беляевым: «Первый год занятий в обществе, в 1883 г., талантливый писатель частенько посещал классы, был он худощав, цвет лица имел нездоровый. Занимался неаккуратно, часто бросал тот или другой аппарат, но любил смотреть, как делали гимнастику другие лица, скорее был молчалив, а если начинал говорить, увлекался и вел долгую, оживленную беседу».

Ну чем не отличник, привычно отлынивающий от школьной «физ-ры»?

А Гиляровский резвился в зале гимнастического общества вовсю. Николай Телешов вспоминал: «Прыгал там через „кобылку“, показывая пример молодежи, дрался на эспадронах, поднимал над головой на железной кочерге двоих приятелей, повисших по обе стороны этой кочерги, и вообще показывал чудеса ловкости и силы. А сила у него была редкостная, исключительная».

Впрочем, ни занятия гимнастикой и ни строительство своего имиджа не отвлекали нашего героя от работы. Он прекрасно понимал, что главное — все-таки тексты. Без устали работал на «Листок», публиковался и в «Осколках», и в «Будильнике», и в «Развлечении», и в «Русском сатирическом листке». Он был надежным, безотказным и к тому же одаренным литератором.

Владимир Алексеевич выбрал себе задачу по плечу — стать «королем репортеров». И, действительно, стал им.

* * *

Отношения с Антоном Павловичем Чеховым — тема отдельная. Спустя некоторое время после встречи в Русском гимнастическом обществе Гиляровский был, что называется, введен в семью. Брат писателя Михаил Павлович об этом вспоминал: «Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал:

— Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.

Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление».

Дружба двух писателей крепла. Гиляровский приводил Чехова в полный восторг. Антон Павлович говаривал:

— Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит. Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться триста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века.

В личной переписке Антон Павлович частенько поминает Гиляровского: «Продаю мангуста с аукциона. Охотно бы продал Гиляровского с его стихами, да никто не купит. По-прежнему он влетает ко мне почти каждый вечер и одолевает меня своими сомнениями, борьбой, вулканами, рваными ноздрями, атаманами, вольной волюшкой и прочей чепухой, которую да простит ему бог».

В другой раз восхищается: «Гиляровский прошел недавно в один день 80 верст пешком, убил медведя, лисицу и множество зайцев и опять собирается в лес, так как во Владимирской губернии ему дали знать, что три медвежьи берлоги уже ждут его. Нет времени, а надо ехать!»

Пишет Горькому: «Гиляровский налетел на меня вихрем и сообщил, что познакомился с Вами. Очень хвалил Вас. Я знаю его уже почти 20 лет, мы с ним вместе начали в Москве нашу карьеру, и я пригляделся к нему весьма достаточно. В нем есть кое-что ноздревское, беспокойное, шумливое, но человек это

простодушный, чистый сердцем, и в нем совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам. Анекдоты рассказывает он непрерывно, носит часы с похабной панорамой и, когда бывает в ударе, показывает карточные фокусы».

И иногда сообщал в письмах: «Был у меня Гиляровский. Что он выделывал, боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна. Говорил он не переставая».

Действительно, на даче у Антона Павловича наш герой, что называется, словно с цепи срывался. Сестра писателя Мария Павловна об этом вспоминала: «Нечто невообразимое творилось у нас в усадьбе, когда приезжал Владимир Алексеевич Гиляровский… Гиляровский обладал огромной физической силой: мог ломать лошадиные подковы, гнуть железные бруски, подымать большие тяжести. Страшно шумный, без умолку говорящий, все время в действии — он своим приездом будоражил всю усадьбу. Он мог выпить какое угодно количество водки, ничего с ним не делалось, оставался все таким же».

Сам же Гиляровский вспоминал о Чехове: «Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью».

Покровительство было не только в интонации. Владимир Алексеевич и вправду любил Чехова, старался, по возможности, порадовать его какой-нибудь безделицей. Приезжал, к примеру, из командировки по донским степям — и сразу же к Антону Павловичу:

— Вот тебе гостинец из родных краев — копченый гусь, сало, две бутылки цимлянского с Дона да шемайка вяленая с Терека.

Чехов же в подобных случаях говаривал:

— Ты — курьерский поезд. Остановка пять минут. Буфет.

Однажды Гиляровский гостил у Чехова на даче в Ялте. Там же находился еще один гость, который непрерывно курил сигару. У Антона Павловича было очень плохо с легкими, табачный дым вредил ему, и он даже повесил в кабинете маленький плакатик с надписью: «Просят не курить». Однако посетитель то ли не заметил этой скромной вывески, то ли не придал ей значения — смолил и смолил.

В конце концов Чехов не выдержал, закашлялся. Тогда Владимир Алексеевич вскочил, сорвал плакатик со стены и выбежал из кабинета. Взял извозчика, доехал до ялтинской типографии и настоял, чтобы ему сейчас же отпечатали такой же транспарант, но в несколько раз больше. Заказ был выполнен. Гиляровский вернулся к Чехову и демонстративно прилепил этот плакатище к стене.

Гость, разумеется, сразу же засмущался и сигару затушил. Конечно, если б Гиляровский просто попросил посетителя немножко потерпеть, Чехов гораздо раньше бы избавился от въедливого дыма. Но похоже, что без куража Владимир Алексеевич в принципе обойтись не мог.

И Чехов иной раз оказывал приятелю услугу. Однажды вылечил его от пустякового недуга, притом вылечил весьма своеобразно. Владимир Алексеевич писал: «Я изредка навещал его в Ялте. Приехал как-то раз я очень усталый от довольно бурно проведенного времени и норд-оста, потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.

— Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно — ты, витязь, премированный за атлетику! — начал упрекать меня Чехов.

Меня опять дернуло.

— Оставь, будь умным! Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь? — И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза.

— Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет, все как было, так и останется… Брось, не смей!

И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копошившегося около клумбы.

— Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае.

Я сочинил какие-то четыре строчки, из которых помню теперь только последнюю: «И какой-то Бабакай».

— Ну вот, теперь напиши это на косяке, — мы спускались в это время вниз по лестнице.

Я написал. Антон Павлович прочел.

— Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо, от этого никому ни лучше, ни хуже не будет, и перестань.

— Верю и не буду.

— Да, вот… Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит — я доктор. Во «Всей Москве» напечатано: «Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Шешкова. Практикующий врач». Так и написано, не писатель, а врач, — значит, верь!

И я поверил и больше ни разу не дернулся до сего времени».

Полностью же экспромт выглядел так:

Край, друзья, у вас премилый —
Наслаждайся и гуляй.
Шарик, Тузик косорылый
И какой-то Бабакай.

Гиляровский при любом удобном случае расхваливал Антона Павловича. Посвящал ему стихи, иной раз и весьма нелепые:

Глаз Чехова, мерцающий и зоркий,
Глядит в восторге с высоты галерки.

Как это глаз может глядеть в восторге? И вообще, такой ли это подходящий комплимент для человека, страдающего сильной близорукостью? Но за искренность ему прощалось многое.

* * *

Юмор у Гиляровского подчас был своеобразным. Однажды, например, он с небольшой компанией зашел в извозчичий трактир — попить чайку. Принялся, по обыкновению, рассказывать свои «рискованные анекдоты», отчебучивать всякие сальности. Один извозчик слушал, слушал да не выдержал:

— Господа, — говорит, — а безобразят.

Тогда Гиляровский сделал круглые глаза, уставился на этого извозчика и произнес:

— Постой, постой… Это, кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги?

Один из участников этого чаепития писал: «Что тут произошло! Все извозчики повскакали, всполошились, не знали, что им делать — хватать ли Гиляровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата извозчика или постараться замять всю эту историю. Но дело вскоре уладилось само собой: Гиляровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком, моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, и стали подниматься и мы».

* * *

Одной из составляющих работы нашего героя были регулярные посещения Хитрова рынка, или, в просторечии, Хитровки. В начале XIX века эта территория принадлежала генерал-майору Хитрово. При нем была расчищена, замощена и оборудована лавками большая площадь. «Московские ведомости» сообщали: «…площадь Хитрова рынка уже не вмещает всех прибывающих возов, они помещаются по ведущим к ней переулкам и даже на Солянке… Какой, какой живности нет там. Куда ни оглянись, всюду возы с поросятами, телятами, баранами, гусями, утками, курами, индейками, с гусиными потрохами, с говядиной и солониной, с коровьим маслом, дичью».

Это в наши дни заставленные фурами улицы возле рынка — обычное явление. В 1850-е же годы подобное поражало.

Но впоследствии Хитров рынок поменял свой профиль. Владельцы оборудовали здесь навес для тех, кто прибывал в Москву в поисках работы. Планы были благородные — сделать цивилизованную биржу труда. Но реальность оказалась иной. Наивные провинциалы становились жертвами преступных группировок, которые под видом протежирования лишали их последних средств существования, а также обуви, одежды и всего нехитрого имущества. Жертвам некуда было деваться — они оставались здесь же, на Хитровке, промышляли подаянием, как правило, спивались.

В результате в центре Москвы появился целый комплекс дешевых харчевен, трактиров, ночлежек, имевших сложную систему подземных ходов — чтобы была возможность за несколько минут покинуть территорию Хитрова рынка. С одной стороны — предприятие абсолютно легальное, владельцы которого платят исправно налоги, а с другой — прославленный на всю империю притон.

Наш герой был своим человеком на этом причудливом рынке. И, разумеется, Владимир Алексеевич не забывал упоминать об этом в своих книгах и статьях: «Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных домов, есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок.

Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжение последних шести лет».

Для чего именно посещал? Формально для того, чтоб добывать сведения для газет. Схема была простая: Гиляровский приходил в притон, оплачивал скромное угощение для его обитателей — разбавленную водку (неразбавленная стоила дороже раза в два), яйца, селедку, хлеб, тушеную печенку. Кстати, сам он в подобных местах употреблял только водку и яйца —

опасался напороться на некачественную продукцию.

Среди обитателей притонов встречались представители разных слоев русского криминала — от мелких мошенников до беглых каторжников. Им явно льстило, что благородный человек — приличный, не вонючий, в пиджаке — интересуется их жизнью, слушает внимательно истории об их похождениях, но не доносит полицейским. Более того — время от времени приносит свежие газеты, в которых эти похождения описываются. И опять угощает напитками.

Но, похоже, главной мотивацией нашего героя было иное. Гиляровский посещал Хитровку по той же причине, по которой подался в бурлаки. Жить без подобного экстрима он не мог.

Зато какое расслабление наступало, когда после очередного посещения так называемого рынка вновь удавалось оказаться посреди цивилизации, притом живым-здоровым.

«Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трех запоздавших торговок съестными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи человек, тот самый, которого „убрали“ по мановению хозяйской руки с пола трактира… Тихо было на площади, только сквозь кой-где разбитые окна „Каторги“ глухо слышался гомон, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего „многую лету“, то визгом пьяных „теток“:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем…»

К счастью, мордобития удавалось избежать всегда. Другое дело болезни. Владимир Алексеевич писал: «На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у В.Н. Бестужева, я заразился рожей.

Мой друг еще по холостой жизни доктор Андрей Иванович Владимиров лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41°, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне коллодиумом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотреться в зеркало.

В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но А.И. Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится.

Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок скарлатиной. Лечили его А.П. Чехов и А.И. Владимиров. Только

поправился он — заболела сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб и моими хитрованцами.

— Вот до чего ваше репортерство довело! — говорила мне няня».

Кстати, пока Чехов не вошел в зенит своей литературной славы, Гиляровский обращался к нему за советами как к медику. Но даже в трудных обстоятельствах Владимир Алексеевич не мог обойтись без шутки. Посылал, к примеру, Чехову записку, а в ней вместо обычных «умираю», «спасай» и т.п. — каламбур:

Здоровей, чем рыцарь в латах,
Не боялся я простуд.
39,3!
Что мне делать тут?
Не был ты врачом богатых,
Значит, мне и помогай.
39,3!
Твой всегда Гиляй.

Хитровские агенты заявлялись к Гиляровскому запросто домой. Они производили кошмарное впечатление на его супругу Марию Ивановну. Но главу семейства это только забавляло: «Мои хитрованцы никогда не лгали мне. Первое время они только пугали мою молодую жену: стучит в двери этакий саженный оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел».

А сведения, действительно, бывали самые разнообразные. Как и причины, по которым Гиляровскому их излагали. Однажды, например, компания приятелей с Хитровки похитила не что-нибудь, а сейф весом в три сотни килограммов. И не где-нибудь, а в самом центре города, в Столешниковом переулке. И не ночью, а среди бела дня. Как им удалось это проделать — непонятно. Факт остается фактом — сейф был украден, переправлен поездом в Егорьевск, оттуда — на Ильинский погост, в бандюганский район под названием Гуслицы. Там сейф вскрыли, обнаружили 15 тысяч, разделили (главарю, некому Болдохе, досталась большая часть, всем остальным — поменьше) и, довольные собой, поехали в Москву. Но по дороге рядовые исполнители задумались — а почему они должны довольствоваться такой малостью? Не долго думая, опоили главаря, отняли у него деньги и скинули Болдоху с

поезда, будучи уверены, что тот больше не жилец.

Тот же пришел в себя, нашел своих подельников, но те, ясное дело, ни в чем не признались. Дескать, все пьяные были, и ты тоже. Сам, небось, с поезда свалился, а деньги потерял.

По лицам бандюганов было видно — врут. Но доказательств нет. А если б были — что же с этого? В полицию ведь жаловаться не пойдешь!

И приперся господин Болдоха к Гиляровскому:

— Я к вам, пропишите их, подлецов, в газетах!

А ему что? Взял да и прописал (не назвав, разумеется, имен, зато указав точные координаты выброшенного сейфа). Гиляровского, ясное дело, вызывают в полицию. Расспрашивают: что к чему, откуда сведения. Тот источника не выдает, только посмеивается:

— Мои агенты лучше ваших!

А по суду привлечь нельзя. Тем более что сейф действительно был найден в месте, указанном в статье.

Результаты заметки Гиляровского о жизни хитрованцев выглядели приблизительно так: «На днях на Хитровом рынке, в ночлежном доме инженер-капитана Ромейко, агентами сыскной полиции арестовано пятеро известных воров, много раз судившихся, сидевших в тюрьмах и бежавших с места ссылки. В числе их, между прочим, арестован один беглый из Сибири, сначала назвавшийся московским мещанином, но потом уличенный сыскной полицией. Все пятеро арестованных в момент ареста в ночлежной квартире были в одном нижнем белье, так что их, чтобы отправить в участок, пришлось ранее одеть в арестантские халаты. Между тем все пятеро в день ареста явились в ночлежный дом более или менее прилично одетыми, но все платье, а равно как и деньги, пропили и проиграли в карты съемщику квартиры. Не мешало бы за съемщиками квартир иметь более внимательное наблюдение. Съемщики эти, из которых редкие не привлекались к суду за укрывательство и покупку краденого, плату за ночлег в размере 5 копеек считают далеко не главным доходом, как это следовало быть. Гораздо более пользы получают они от торговли водкой распивочно, тайно от покупки за неимоверно дешевую цену заведомо краденого и приема в заклад вещей по 5 и 10% за несколько дней.

В заклад принимаются даже паспорты ночлежников, и этот вклад у съемщиков считается верным, так как заложивший паспорт обязательно должен его выкупить в случае поступления на место и т.п. Если же заложивший паспорт, как и бывали примеры, заявит об этом полиции и потребует через нее возвращения паспорта, то никогда ничего не получит, так как

съемщик этот паспорт или продаст кому-нибудь из воров, или прямо уничтожит. Кроме того, многие съемщики держат у себя публичных женщин, которые заманивают посетителей в нарочно имеющиеся при ночлежной квартире отдельные нумерки и заставляют покупать у съемщика водку и платить за нумер, если можно так назвать конуру без всякой мебели, устланную рогожами.

Некоторые же из съемщиков непосредственно участвуют в кражах и дают средства и указания ворам на совершение краж, за что воры непременно приносят для продажи краденое съемщику».

Впрочем, сведения, добываемые на Хитровке, не ограничивались городом Москвой. Туда стекалась информация со всей губернии, ежели не со всей России: «В ночь на вчерашнее число, 2 июля, из тюремного замка в городе Звенигород, Московской губ., бежали два арестанта, крестьяне Иван Цыганков и Василий Антипов, известный между московскими ворами под прозванием „Васька Смирный“. Оба бежавшие — молодые люди, обитатели по зимам московского Хитрова рынка. Тот и другой не раз были арестованы за разные преступления московской полицией. Самым интересным фактом этого побега является то, что вместе с арестованными бежал и караульный ефрейтор, разводящий на часы часовых, Зуев. У Зуева хранились ключи от всех камер, и этими ключами он отпер камеры, где содержались оба арестанта, двери тюремного замка и, выпустив арестантов, бежал сам. Бежавшие арестанты, чтобы побег их не был известен в Москве и полиция не успела принять меры к их задержанию, оборвали проволоку телеграфного провода, соединяющего Звенигород с Москвою».

Ничего, казалось бы, особенного. В те времена подобными историями интересовались многие газеты, и публикации такого рода вовсе не были чем-то выдающимся. Однако репортажи нашего героя отличились от иных заметок в жанре криминальной хроники. Дело в том, что репортеры пользовались лишь одним источником — полицией. И только один Гиляровский собирал свои сведения с обеих сторон этой «рампы».

* * *

Большинство заметок Гиляровского в «Листке», увы, без подписи. Не потому, что наш герой стеснялся славы — просто там было не принято подписывать коротенькие, пусть даже и увлекательные, сообщения. Вот, к примеру, такая история: «В прошлую субботу во время маскарада в Большом театре публика

обращала особое внимание на одного молодого человека, сильно выпившего, который приставал буквально ко всем, не различая знакомых от незнакомых. У многих он сдирал маски, срывал накладные бороды, усы, привязные косы и проч. Затем, увлекшись безнаказанностью своих шалостей, он вздумал подшутить над самим собой, и для удовольствия присутствующих прыгнул в резервуар фонтана. В один миг он погрузился выше головы и стал захлебываться. Тогда один из его приятелей вытащил его и поставил на ноги. По зале раздался хохот, и мокрый безобразник, видя, что к толпе приближается полиция, удрал. Товарищ же его, тащивший из резервуара своего друга, тоже мокрый, попался на глаза дежурному полицейскому офицеру, и тот пригласил его в отдельное помещение для составления акта. Публика вступилась за мокрого кавалера и объяснила, в чем дело. Но полицейский офицер не поверил этому и, заглянув в резервуар, где плавала на поверхности шляпа, стал уверять публику, что человек уже утонул, что нужно спасать; стали спускать воду, и через сравнительно долгое время добрались до дна резервуара. Что же оказалось? Шляпа, одна перчатка и носовой платок; утопленника, вопреки ожиданию полицейского, не оказалось. Пассаж этот доставил много удовольствия публике, но мало радости приятелю, который весь мокрый поехал восвояси. Прыгнувший в резервуар оказался сыном генерал-майора Н-ым, которого полиция давно знает за скандалиста и не составляет протоколов только во внимание к общественному положению его отца».

Мог ли Владимир Алексеевич, театральный деятель, любитель всевозможных удовольствий, оказаться на том маскараде и составить этот текст? Конечно. Да, стиль повествования несколько отличается от изложения «Москвы и москвичей», однако не будем забывать, что Гиляровский в это время только пробовал свое перо, искал свой стиль и запросто мог воспроизвести нечто подобное. К тому же в газете существовали редакторы, которые вполне могли придать этому репортажу легкости, игривости и ироничности.

Доказать же или опровергнуть авторство «дяди Гиляя» невозможно.

Владимир Алексеевич мог быть автором и этого материала: «В день Христова Воскресения, во время утрени, в церкви Косьмы и Дамиана на Маросейке оборвалось маленькое паникадило с четырьмя свечами, висевшими против иконостаса; при падении своем оно задело по плечу купца Шиканова, стоявшего как раз на этом месте. Ушиб был незначительный, но зато случай этот наделал большой переполох в храме между богомольцами. Старостою церковным при этом храме состоит известный богач

С.И. Корзинкин, который, как водится, мало заботится о безопасности прихожан церкви, подвергающимся таким несчастьям, как падения паникадила».

Это, пожалуй, даже ближе нашему герою — многочисленные информаторы могли при случае поведать Гиляровскому и о самом событии, и о репутации Корзинкина.

И, конечно, сразу думаешь о Гиляровском, когда читаешь о преступниках и преступлениях. Не обязательно о кровавых убийствах, — но и о незначительных проступках: «В ночь на 20 июля с канализационного поля Петровско-Разумовской академии похищены четыре термометра для измерения температуры почвы, стоимостью 24 рубля».

Не исключено, что эту более забавную, чем страшную историю Владимир Алексеевич узнал в одном из пакостных трактиров на Хитровке и притом от самого укравшего. Но, по обыкновению, не сдал его полиции.

Большинство же подписанных материалов в «Листке» были, как ни странно, стихами. Почему-то Пастухов считал, что в его детище должна присутствовать поэзия. Маститым стихотворцам не платил — старался экономить, обходиться внутренним ресурсом. Чем наш герой, естественно, и пользовался. Вещал с газетных полос:

Я часто бываю печален, угрюм
В компании шумной, веселой.
Я рад бы быть весел, но в сердце от дум
Лежит словно камень тяжелый…
И, слушая песни и говор друзей,
Я думаю тою порою,
Что весело мне, а за мною
Ведь тысячи страждущих стонут людей!

И подпись: «В. Гиля-й».

Как большинство начинающих поэтов, Гиляровский склонен был преувеличивать в стихах значение собственных эмоций. Доходил подчас до откровеннейшего графоманства:

За окном бушует вьюга,
Бьет сердито снег в стекло,
А у жаркого камина
И уютно, и тепло.
Тишина кругом немая

О покое говорит,
Но в душе моей мятежной
Буря страшная кипит…

Стихла в поле непогода,
Воцарилась тишина.
Но в душе все та же буря,
И не кончится она!

Это стихотворение называлось «В непогоду», было также подписано «В. Гиля-й» и посвящалось некому или же некой А.М.

Однако нашему герою все же лучше удавались стихи язвительные:

Сыру целый фунт мещерского
Мне прислал один добряк,
Завернув в журнал Мещерского
Новоизданный «Добряк».

И представь — я сыру мерзкого
Уж не ел — прощай, мечты —
Побывав в листке Мещерского,
Сыр мой стал без остроты.

Между тем слава поэта «серьезного» неодолимо манила его.

Кстати, наш герой, помимо репортерства и поэзии, занимался также и придумыванием подписей к картинам. Журналист Н. Кичеев прислал ему как-то письмо: «Дорогой Владимир Алексеевич! Две сосенки, две глупые сосенки, но эта картина А.К. Саврасова… Будьте добры, пришлите… восемь, шестнадцать, двадцать четыре или тридцать шесть строк».

И Гиляровский — присылал.

* * *

Разумеется, не все затеи Гиляровского всегда венчались головокружительным успехом. Однажды, например, он приобрел за двадцать пять рублей бракованную лошадь — Буцефала. Выяснилось, что животное кусается и постоянно сбрасывает седока. Но Гиляровский уверял, что это — дело поправимое, что такому знатному лошаднику, как он, исправить эту лошадь — пара пустяков, что пройдет совсем немного времени, и он будет на ней верхом кататься по Москве.

Лошадь поместили на даче, в сарайчике. Каждый день Владимир Алексеевич уединялся с ней на час-другой. Из сарая доносились звуки схватки. Затем Владимир Алексеевич выходил из сарая, пряча свои окровавленные руки. Если их кто замечал, он говорил:

— Так здорово бил ее, сволочь, по зубам, что даже раскровянил себе руки.

Признаться в том, что Буцефал кусается по-прежнему, он считал ниже своего достоинства.

В один прекрасный день Владимир Алексеевич привел крестьянина-живодера и тот забрал лошадь. С тех пор о Буцефале в доме Гиляровского не заговаривали.

И не удивительно — ведь поражений наш герой терпеть не мог. Однако жизнь есть жизнь — иной раз приходилось и терпеть фиаско.

* * *

А весной 1883 года Гиляровский распрощался с прошлым окончательно. Это и впрямь было прощание — друг Вася Андреев-Бурлак предложил ему отправиться с друзьями актерами в турне вниз по матушке-Волге. Владимир Алексеевич, конечно, согласился — очень уж ему хотелось побывать в знакомых местах. Кроме того, по слухам, Гиляровский попал в «черный список» — тех, кого следует выселить из Москвы на время коронации царя. Впрочем, не исключено, что этот слух распространил лично Владимир Алексеевич — и для пиара, и для оправдания длительной отлучки из редакции. Так или иначе, наш герой отправился в длительное и увлекательное путешествие.

«Вот Тверицы, где я нанялся в бурлаки… Вот здесь я расстался с Костыгой… Вот тюремное здание белильного завода.

Меня провожали актеры, приветствовали платками и шляпами с берега, а я преважно с капитанского мостика отмахивался им новенькой панамой, а в голову лезло:

Белый пудель шаговит, шаговит…»

Похоже, что Владимир Алексеевич представлял себя участником экскурсии «По местам юности великого репортера Гиляровского». В том, что он действительно станет великим, наш герой ни чуточки не сомневался.

Кульминация произошла в Казани, когда Гиляровского и Бурлака — столичных штучек, более людей маститых, знаменитых и заслуженных (у нашего героя ленточка георгиевская в петлице, за Турецкую войну) принимал тот самый полицейский, от которого Владимир Алексеевич сбежал в 1874 году. Гиляровский, разумеется, решился поозорничать. Увидел ложку, скрученную им же восемь лет назад, и раскрутил ее обратно.

Несчастный полицейский изумился. Говорит:

— Второго вижу… Знаете, даже жаль, что вы ее раскрутили, я очень берегу эту память… Если бы вы знали…

— Так поправлю, — отвечает Гиляровский и опять закручивает ложку.

Полицейский делится воспоминаниями:

— Арестовали неизвестного агитатора с возмутительными прокламациями… Привели ко мне, вижу, птица крупная, призываю для допроса, а он шуточки, анекдотики, еще завтрака просит. Я его с собой за стол в кабинете усадил да пригласил жандармского полковника. Так он всю водку и весь коньяк стаканом вылакал. Я ему подливаю, думаю, проговорится. А он даже имени своего не назвал. Оказался медвежатником, должно быть, каналья, в Сибири медведей бить выучился, рассказывал обо всем, а потом спать попросился да ночью и удрал. Разломал ручищами железную решетку в окне на чердаке, исковеркал всю и бежал. Вот это он ложку свернул… Таких мерзавцев я еще не видал. Пришлось бы мне отдуваться, да спасибо полковнику, дело затушил…

А наш герой рад стараться. То выпьет стакан коньяку, то скажет какую-нибудь поговорочку. Полицейский, не будь дураком, заподозрил неладное. Стал пристально вглядываться в Гиляровского. Но не признал. Лишь качал головой удивленно.

* * *

В путешествии дядя Гиляй вел дневник. В Ярославле писал: «Вот она Волга. Ярославль, знакомые места… завод… Ветка, где зимогоры живут, грузят вагоны… Американский мост… Всё это мелькнуло… А вдали ширь и гладь необъятная… Как громадное овальное зеркало, расстилается передо мной Волга, окруженная

сперва зелеными, дальше темными и, наконец, синеватыми рамками лесов! Пароходов и судов еще мало… Все на низ схлынули».

В Костроме позабавился церемонией спуска на воду новенького корабля: «Вся Кострома высыпала посмотреть новый пароход, плоскодонный, с одним колесом, принадлежащий Зевеке. Вдали, на темном фоне берега, светлым пятном белел высокий корпус этого гиганта-американца, созданного на русской Волге предприимчивым пароходчиком. Я еле-еле пробрался к пристани Зевеки. Она была битком набита народом. Впереди у самого края толпилось костромское купечество, молодежь, дальше дамы и их спутники — офицерство, здешние сердцееды… Всё ближе и ближе обрисовывался контур „Амазонки“. Ясно были видны две громадные трубы, соединенные железной перекладиной для прочности. Вот и люди уже видны…

— И что это ён не свистит? — вопрошает пальто с барашковым воротником своего соседа — толстого купца.

— Эти пароходы без свисту, потому они мериканские, им воспрещается.

— Почему же?

— Потому что мериканские и никак невозможно.

Как бы в ответ на это раздается оглушающий свист «Амазонки».

— А вот свищет, дядя! — заговорило пальто.

— Дурак! Это не свист, а шип!»

Подъезжая к Самаре, любовался Жигулевскими горами: «Прекрасный вид представляют Жигули. Почти всё каменные скалы, нагроможденные одна на другую, заросли густым непроходимым лиственным и изредка хвойным лесом, между зеленью которого то поднимаются гористыми, неправильной формы вершинами темные скалы дикого камня, то спускаются уступами голые, темные груды известняка, прорытого глубокими продольными трещинами и чернеющего пещерами. Вот сверху до самой воды тянется белая полоса алебастра. Наверху этой полосы, на белом ее фоне мелькнуло, зашевелилось что-то красное, еще, еще. Если пристально вглядеться, то эти красные и синие точки — рабочие, ломающие алебастр… Вот из-под ног рабочих с громом, таща за собой груду осколков и тучи пыли, покатился по белой полосе огромный камень и, прыгая по утесам, со страшной силой громыхнулся в воду… Эхо от падения раздалось несколько раз по горам и отозвалось столько же далеко за Волгой… Целый водопад брызг обдал берег, и волна пошла от места, куда рухнул великан. Туча пыли на горе скрыла рабочих. Впереди, в нескольких саженях от места падения, шли бечевой

бурлаки. Они встали на минутку, перекрестились, дали улечься сыпавшимся обломкам и, снова повиснув грудью на бечеве, мерно, воробьиным шагом потянулись вперед под опасным местом. Еще груда загромыхала вниз. Спадет вода, обсохнет берег, и алебастр, брошенный в воду, очутится на берегу. Его пережгут в тут же устроенных печах… Лесу, дров много! Богаты всем Жигули… Говорят даже, что и очень немудрено, руды разные есть. Но рук мало! Мало предприимчивых людей, взявшихся за разработку этих богатств… А преданий, легенд сколько ходило о них. Теперь меньше, а прежде между бурлаками больше рассказов было».

В Астрахани было развлечение. «Остановился в Коммерческой гостинице, — пишет он в дневнике, — в десять часов вечера целая масса народа провожала пароход „Суворов“, это здесь называется гуляньем. В 12-м часу отправился в здешний павильон Салон де Варьете. За вход двадцать копеек. Когда я вошел, на сцене пела из „Мадам Анго“ какая-то накрашенная певица и пела гадко. Вслед за ней потешал публику рассказами Вашенский. Присутствующие, все больше купцы, вели себя удивительно: кричат, ругаются, пьют и слушают в одно и то же время. В зале около сцены поставлены столы. Кто-то бросил вареным раком на сцену».

Эти строки написаны не для газет, не для журналов, не для книжек, не для денег, не для славы — просто так.

А Гиляровского тем временем исправно подменял друг Чехов. Не в «Московском листке» — там сотрудников хватало. В журнале «Осколки», в котором наш герой уже вел свою рубрику — «Московское обозрение». Поэт Илиодор Иванович Пальмин писал Николаю Александровичу Лейкину, редактору «Осколков»: «Гиляровский перед отъездом приходил прощаться. Благодаря тому, что высылаемым на время коронации (оных говорят 600 количеством) дозволено отправляться куда им угодно, он поехал с Бурлаком, Гламой, Далматовым и еще другими актерами на Волгу в Ярославль, Казань и затем на Кавказ. Выражал сожаление, что „Московское обозрение“ таким образом не может писать. Кому бы отдать? По моему мнению, приструните Антошу Чехонте. Он песик хороший и остроумный».

Несколько позже Пальмин сообщал: «Убедил я его, чтобы он писал Вам „Московское обозрение“, и он к воскресенью пришлет Вам его. Собственно говоря, он не то что не хотел писать, а, и вправду, это трудновато, и хорошего обозрения Москвы нельзя не дать. Он держится, да и довольно резонно, больше беллетристики. Талантливый малый».

Словом, был период, когда Чехов подменял Гиляровского,

словно стажер — признанного мэтра.

* * *

В августе 1883 года наш герой отважился на настоящий репортерский подвиг — с риском для жизни. Случилось так, что поздно вечером он шел по одному из переулков, расположенных рядом с Трубной площадью, и случайно подслушал диалог:

— Какой здоровущий был, все руки оттянул!

— Фокач, бросим его тут… А то в кусты рядом.

— Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра лягаши по всем хазам…

— В трубу-то вернее, и концы в воду!

— Делать, так делать в глухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Поняв, что преступники намерены спрятать труп, Гиляровский закричал и засвистел в свисток. Злодеи сразу же ретировались, прибежал городовой. Владимир Алексеевич на всякий случай тоже улизнул. Но решил испытать на себе мир грачевской (а Грачевкой называли тогда эту местность) романтики.

В один прекрасный день он углубился в здешние трущобы. Цель была — прикинуться богатеньким искателем приключений и таким образом «подставиться» в каком-нибудь притоне. То есть посмотреть на весь процесс глазами жертвы.

Притон нашелся очень быстро. «В одном из глухих, темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань…

Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочиста и выбрасывают на пустыри.

Около входов стоят женщины, показывают «живые картины» и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену.

Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски:

— Зайдите к нам, у нас весело!»

«Веселье» заключалось в том, что в скверной, прокуренной и грязной комнатенке несколько человек играли в карты, два пьяных мужика спорили о чем-то явно криминальном и пьяная же тетка голосила:

И чай пила, и булки ела,
Позабыла, с кем сидела.

Гиляровского сразу же развели на выпивку, при этом всем подали пиво в простеньких стаканах, а нашему герою — в хрустальной кружке с крышечкой. Он мгновенно понял, что в кружке — снотворное, и отказался пить. Тогда обитатели притона стали настаивать:

«— А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается. Извольте пить! — сказал бородач — банкомет и потянулся ко мне чокаться.

Я отказался.

— Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи до греха, пей!

— Нет!

— А, нет? Оська, лей ему в глотку! — Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот.

Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол».

Неизвестно, чем закончилась бы эта схватка. Владимир Алексеевич конечно же силач и тренированный мужик, но численное превосходство все-таки на стороне противника.

Кроме того, «дома даже стены помогают». Но тут в комнату вошел хозяин притона и узнал нашего смельчака. Они, оказывается, были знакомы по бегам.

Гиляровский был спасен. А в газете появился очерк под названием «В глухую». О притонах Москвы.

* * *

Владимир Алексеевич иной раз, пусть и незначительно, но подтасовывал факты. Чего не сделаешь ради сенсации. Но Пастухов на это не сердился. Напротив, ставил нашего героя в пример другим коллегам-репортерам.

Однажды, например, сотрудник газеты, некто Епифанов принес в редакцию заметку о том, что на Цветном бульваре найден был огромный мертвый какаду. Главный редактор

прочитал и вынес заключение:

— Не пойдет! Ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал, тогда пойдет!

— Это невозможно, Николай Иванович! — обескураженно ответил Епифанов.

— Какой же ты после этого репортер? — возмутился Пастухов. — Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку «Грешники в Патриаршем пруде». Там хоть смешно было… А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх ты, строчило-мученик!

Гиляровскому уже в то время позволялось многое. Он же не злоупотреблял своими репортерскими возможностями и дальше безобидных, но забавных шалостей не заходил.

* * *

Репортерские «эксперименты» нашего героя подчас были весьма оригинальны. Однажды он, к примеру, решил выяснить, какая почта лучше — лондонская или московская. Взял чистый лист бумаги, положил в конверт и подписал: «Лондон, Вшивая горка. В. А. Гиляровскому». Спустят полмесяца письмо из Лондона вернулось отправителю с припиской по-английски: «В Лондоне Вшивой горки нет».

Гиляровский сделал заключение: «Лондонский почтамт должен был бы написать, что „Вшивой горки в Лондоне нет и что по справке адресного стола Гиляровский проживающим в Лондоне не значится“. А Московский почтамт это сделал бы. Значит, Московский почтамт работает лучше Лондонского».

Действительно — на письме не было обратного адреса, однако же оно вернулось к нашему герою. Следовательно, почтамт и вправду сверился с данными адресного стола.

В другой раз Владимир Алексеевич отправился интервьюировать так называемых охотнорядцев — работников самого знаменитого московского рынка. О нем — чуть подробнее.

Охотный ряд возник в 1737 году, когда сюда перевели часть продуктовых лавок с нынешней Манежной площади. Тогда же появилось и название, характеризующее специализацию этого рынка. Торговали здесь так называемой убоиной.

Охотный ряд был в некоторой степени сезонным рынком. Вот как он выглядел сразу же после масленицы: «Великий пост. Мама

и я ходим из лавки в лавку в рыбном ряду. Это — Охотный ряд. В огромном чану — рыбы. Серебристой россыпью заиндевелой мелочи искрятся крошечные снетки. Весело и людно кругом. Сверкает снег, как на картинке с Дедом Морозом. Пахнет сайками и блинами. На салазках — опарницы, бутыли: квасы, сбитень…»

Это — воспоминания Анастасии Цветаевой, сестры поэтессы Марины Цветаевой. Она не замечала «сора, перьев и рогож», набросанных в подсобках. Она видела тут великопостную сказку.

Великий пост — время духовных, большей частью скорбных размышлений. Того нельзя, и этого нельзя. Однако люди умудрились даже в этот период устроить себе праздник, ничуть не нарушая христианских заповедей. Как говорится, естество свое берет.

На великопостный рынок отправлялась «вся Москва». Он не помещался в Охотном ряду, и иной раз доходил до берегов речки Яузы. В лавках, конечно, ничего скоромного. Зато баранок — сахарные, горчичные, анисовые, маковые, соленые, лимонные, шафранные, изюмные… Десятки сортов. Их связками вязали и задирали на высокие шесты, чтобы не украл какой-нибудь хулиган. Зато в открытом небе на баранки нападали голуби.

Уйма всяких квасов — хлебный, солодовый, бражный, кислощейный (сильногазированный), изюмный, имбирный, грушевый. А кто замерз — пьет горячий сбитень. Прямо тут, на улице. К сбитню — постные блины. С икрою, с луком.

Больше всего праздник поста ощущался в медовом ряду. Там даже дух стоял церковный — пахло воском, но тем не менее и тут — разнообразие: мед малиновый, гречишный, вересковый, липовый… Такое же обилие было у рыбников, у грибников, у мастеров солить капусту.

Но с наступлением Великой субботы ассортимент изменялся. Павел Вистенгоф писал: «В Охотном ряду расставлены куличи, пасхи и красные яйца; туда стекаются хозяйки, дворецкие, повара и кухарки. Кто бежит и несет ногу копченой ветчины, кто тащится, едва передвигаясь под тяжестью нагруженных кульков, из которых торчит и нос испуганного петуха, и печальное рыло поросенка, производящего по улицам пронзительный визг, как бы от предчувствия, что ему не миновать беды».

Торговцы потешали посетителей разными ухищрениями. Однажды, например, на одной рыбной лавке появилось своего рода рекламное объявление: «Сам ловил, сам солил, сам продаю!» А вскоре на ближайшей лавочке вывесили такое объявление: «Сам не ловил, сам не солил, а дешевле соседа продаю». Непонятно, чего было больше в этой акции — желания привлечь покупателей или желание самому повеселиться.

Естественно, что здесь случались и курьезы, и трагедии, а чаще смех и слезы существовали вместе. Однажды, например, в газете появилось сообщение, озаглавленное так: «Прискорбный случай с врачом Г.»: «17 марта в Охотном ряду ходил какой-то прилично одетый господин, но без шапки. Сняв с себя шубу, он тут же продавал ее каждому встречному, в том числе и городовому. Последний, разговаривая с продавцом, понял, что ему приходится иметь дело с психически больным, так как неизвестный, забыв о своей шубе, стал рассказывать о крыле какого-то насекомого, которое будто бы излечивает массу болезней. Городовой надел на больного его же шубу и отвез его в приемный покой Тверской части. Здесь врач, беседуя с доставленным и освидетельствовав его, нашел его, действительно, психически больным. В лице больного признали московского домовладельца, лекаря Г., 30 лет, который, работая над диссертацией на степень доктора медицины, от усиленных занятий заболел психическим расстройством».

Но кухарки и дворецкие, конечно, в этих тонкостях не разбирались. Они с удовольствием слушали рассуждения несчастного доктора Г. о чудотворном крыле.

С легкой руки Гиляровского к Охотному ряду пристало нелицеприятное прозвище — «Чрево Москвы». Владимир Алексеевич был недоволен. Дескать, тут из подвалов тянуло тухлятиной, надоедали приказчики «в засаленных долгополых поддевках и заскорузлых фартуках», а ножи там чистили лишь раз на дню. Опять-таки обвес, обсчет и прочие традиционные явления русской торговли.

Городские власти иногда делали санитарные осмотры. Что ж, они выглядели вполне объективным подтверждением заметок Гиляровского: «14 августа полициею 2 участка Тверской части совместно с врачом и торговым смотрителем в Охотном Ряду был произведен осмотр… лавок… Во всех этих лавках полки найдены в грязном виде, крючья, на которых вешается провизия, не вылужены, стены и потолок не выбелены, полы загрязнены, „стулья“, на которых рубят говядину, и фартуки рабочих также покрыты грязью».

Иной раз дело обстояло даже так: «Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно, помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которою пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям… всюду набросан сор, перья, рогожа, мочала…»

Словом, дух от ужаса захватывает.

Однако же сам Владимир Алексеевич время от времени проговаривался: дескать, по результатам сих проверок

охотнорядцев очень даже ощутимо штрафовали, а против крыс использовали средство радикальное — котов и даже специальных фокстерьеров-крысоловов. Да и вряд ли, будь прав Гиляровский, главными клиентами охотнорядских лавок были бы «повара лучших трактиров и ресторанов, а затем повара барские и купеческие, хозяйки-купчихи и кухарки».

Значит, все было не так уж плохо.

Впрочем, про Охотный ряд писали многие — и в мемуарах, и в газетных сообщениях. Но интервьюировать тамошних продавцов придумал именно Владимир Алексеевич: «В Охотном ряду кошек не держат, потому что крысы крупнее кошек и никакого уважения, а не то что боязни кошкам не оказывают… Кошек здесь заменяют собаки: фокстерьеры или простые дворняжки. Почти в каждой лавке имеется одна или две такие „крысоловки“.

Так, у Грачева имеется полудворняжка „Мальчик“, не упускающая ни одной крысы.

„Мальчиком“ названа она в честь знаменитого рядского крысолова „Мальчика“, околевшего во время забастовки. О нем ходят в Охотном легенды. Эта собака никому не принадлежала, жила на дворе и ежедневно ходила из лавки в лавку. Где крысы, туда ее и брали ночевать. Когда утром отпирали лавку и кладовую, то находили с десяток задушенных крыс. Слава „Мальчика“ настолько упрочилась, что за ним приезжали мясники от Страстного монастыря и из Таганки и увозили его в свои лавки на гастроли. Теперь героем Охотного ряда считается довольно породистый фокстерьер Джек, принадлежащий В. Ф. Сафонову…

— Полюбуйтесь! Это у нас постоянно! — указал мне владелец лавки на перекладину под потолком над выходом на площадь.

Я поднял глаза. По перекладине тихо и покойно шла огромнейшая крыса. Вслед за ней вышла кошка, села на перекладину и начала облизываться. К ней подошел котенок и сел рядом.

— Это у нас крысиным мостом зовется! Они партиями по нему ходят, потому что собаки достать не могут.

— А много крысы товара портят? — спросил я.

— Да в год тысячи на две в каждой большой лавке птицы и мяса портят. И надо сказать, крыса у нас избалованная, крыса гурман! У птицы выест мозги и филейчики, а у мяса, у цельной туши, только вырезку. И выберет самое свежее, самое нежное мясо: уж если что крысой тронуто, так и знай, что лучший товар, плохого не отведает.

— Как же вы избавляетесь от крыс?

— Только собакой. Разные морильщики ходят к нам сотнями,

да ничего не могут сделать. Главная масса крыс в кладовых на дворе и наверху, над лавками. У нас весь низ лавки, видите, обит железными листами, они не прогрызают. А в кладовых асфальтовый пол прогрызают, и никак от них избавиться нельзя. Пришлось прибегнуть к единственному способу, — рассказывает г. Сафонов, — я арендую кладовую в доме, где „Национальная“ гостиница. Там кладовая бетонная, и ни одна крыса проникнуть не может.

— Так и в Охотном можно устроить бетонные кладовые — вот и разрешение вопроса.

— Ничего не достигнете! Сверху набегут, поселятся и разведутся…

По крысиному мосту опять прошла крыса».

Большинство репортеров, разумеется, не опускались до того, чтобы интервьюировать торговцев. Но у нашего героя был другой критерий — проявить свою значимость, не взяв интервью у министра, а написав хорошую статью, в которой представлен диалог не с властями предержащими, а с простым охотнорядцем по фамилии Грачев.

* * *

Стиль Гиляровского со временем менялся, вместо легких диалогов появлялось обстоятельное и подробное повествование. Вот, к примеру, как выглядел репортаж о трагедии, связанной с раздачей милостыней в память об умершем купце Губкине: «Накануне катастрофы, 28-го ноября, внук покойного г. Кузнецов по обычаю, существующему среди купечества, роздал несколько сот рублей „на поминки“ нищим, собравшимся у дома покойного в количестве 300—350 человек в чаянии обычной подачки. Весть об этом мигом облетела все нищенские притоны, и на другой день, 29 ноября, с самого раннего утра, к дому Губкина начали стекаться оборванцы, мало-помалу положительно запрудив не только проезд Рождественского бульвара, но и весь бульвар и прилегающие к нему переулки. Тут было не менее 15 тыс. человек, частью нищих, а главным образом так называемых хитровцев, людей без определенных занятий и места жительства, в лохмотьях и отрепьях. Наконец ворота дома Г. отворились, и во дворе приказчик с несколькими артельщиками начали раздачу — по 1 руб. на человека. Лишь только разнеслась об этом весть, как колоссальная толпа разом ринулась в ворота. Несколько городовых с околоточным надзирателем пытались сдержать этот дикий напор, но сами были быстро смяты. В течение нескольких

минут происходила страшная давка, особенно в воротах дома, и над толпой, в которой каждый старался опередить другого, стоял непрерывный смешанный гул как бы борющихся людей. Порой из этого хаоса звуков вылетали отчаянные, дикие крики. Явился отряд полицейских и жандармов, приехали обер-полицмейстер генерал А.А. Козлов и полицмейстер Н.И. Огарев. После страшных усилий удалось развеять толпу, и тогда представилась ужасная картина: на снегу, покрытом массой опорков и лохмотьев от одежды, лежало несколько человек; другие хоть и держались на ногах, но стонали от боли; в стороне оттирали снегом какого-то полицейского чиновника. На месте осталось шесть трупов, страшно обезображенных, толпа смяла этих несчастных и положительно их растоптала; сверх того один оказался с такими страшными увечьями, что через несколько времени умер, три или четыре человека получили тяжелые увечья, и, наконец, многие отделались легкими повреждениями; трупы пострадавших поспешили отправить в приемный покой Мясницкой части. В течение всего дня и на другой день, 30 ноября, когда тело покойного А.С. Губкина было отправлено по железной дороге на родину, у дома продолжали стекаться толпы, которые тотчас же рассеивались полицией».

Наш герой брал уже не столько стилем, сколько материалом — сенсационным, неожиданным, скандальным.

* * *

Когда господин Пастухов задумал написать роман о Ваське Чуркине, известном бандюгане того времени, он предложил Гиляровскому отправиться туда, где обитал этот разбойник, поднабрать материала. Владимир Алексеевич с радостью согласился. И, видимо, не только потому, что Пастухов был его основным работодателем. Просто тянуло Гиляровского на приключения.

Местность, где орудовал разбойник Чуркин, даже в наши дни таинственная и зловещая. Это Мещера. Она находится на стыке трех областей — Московской, Рязанской и Владимирской. Именно оттуда почти каждое теплое лето на столицу идет смог вонючей черной гари — в Мещере под землей горит торф.

В те же времена мещерская низменность вполне могла сойти за декорацию к «Собаке Баскервилей» — торфяные болота, удушливый запах, какие-то таинственные свечения. И среди всего этого «великолепия» — воровские притоны, схороны краденого, заброшенные полукриминальные скиты. И речка Гуслица,

хранящая в своих глубинах (впрочем, незначительных) множество человеческих, рыбой объеденных костей.

Именно здесь Владимир Алексеевич и собирал материал для книги своего руководителя. Он прикинулся охотником, ходил с ружьем по лесу, заговаривал с людьми. А люд здесь был подозрительный. Один из местных жителей, к примеру, все глядел, глядел на Гиляровского и вдруг спросил:

— Где же при тебе, охотничек, собачка?

Выручил сопровождающий (а несмотря на всю свою отвагу наш герой нанял сопровождающего, местного трактирщика, доверенного человека). Ответил любопытствующему:

— На что ему собака? Он самопугом — идет лесом, а дичина вылетает, заяц выбегает — он их и хорп.

С тех пор Владимир Алексеевич так и ответствовал: «Я самопугом». Но все равно особого доверия не вызывал. До тех пор, пока в одном из трактиров не сошелся с местным бандюганом. Для обольщения воспользовался уже отработанным приемом: «Я не удержался и отозвался на вызов Кости.

— Ну, выходи, дьяволы! С кем на ведро схватимся?

Особенного риску не было. Я вышел. Все заорали, смеются, а Василий Богданов уговаривает меня не бороться и все шепчет: «Знаешь, кто это, знаешь?..»

Я встал — схватились, и я, не дав ему укрепиться, сразу бросил его на спину и прижал.

Под радостное и удивленное оранье бросился на меня Костя:

— Врешь, я оскользнулся, давай еще, по-другому!

— Давай!

Тут я воспользовался другим моим любимым приемом и легко положил его в полминуты. Он встал при восторгах и криках, подошел ко мне, снял шапку, поклонился и протянул мне огромную лапищу».

Тогда-то Гиляровскому и расписали во всех подробностях жизнь Васьки Чуркина. Только жизнь эта на поверку оказалась не такой уж романтичной. Василий был обычный пьяница, который грабил на дорогах беззащитных путников и вымогал у местных фабрикантов рублей по двадцать пять — «а то фабрику подпалю».

Не понравились заказчику все эти сведения. Принялся он писать про Чуркина на свой манер — как про Дубровского и Робин Гуда. Гиляровский робко возражал:

— Николай Иванович? Ведь гусляки над вашим Чуркиным смеются.

— Зато подписываются на «Листок», — отвечал редактор. — А розница-то какая.

Что поделаешь? Владимир Алексеевич смирился с

неизбежным.

Глава 6.
Автор на все руки

Во время путешествий по местам бесчинств, творимых Васькой Чуркиным, Владимир Алексеевич набрал материал для цикла очерков о незавидном положении тамошних рабочих спичечных заводов. Об охране труда на тех заводах никто и не слышал, на спички шли вредные для здоровья сера, фосфор. Рабочие умирали — у них выпадали зубы, постоянно кровоточили десны, а случалось, и пальцы отваливались.

Очерки были, разумеется, написаны, поданы Пастухову. Тот же, с присущей ему деловой циничностью, сказал:

— Не нашего ума дело защищать рабочих.

Когда газета стала приносить доход, Пастухов даже и не подумал увеличить гонорар или же как-нибудь иначе улучшить жизнь своих репортеров. Всю прибыль Николай Иванович тратил лишь на себя. Впрочем, Пастухов был в этом не одинок. Владимир Алексеевич писал: «За последнее время двинулись „Новости дня“, и редактор начал зазнаваться. Нанял прекрасную квартиру, обзавелся обстановкой и, ровно ничего не делая, получает барыши, между тем как мы из-за куска хлеба работаем до упаду… Пастухов так же начинал „Московский листок“… Ездил, бегал, кланялся всем, прося не оставить его, поддержать новое дело, а потом отъелся и сел на шею сотрудникам… Досадно работать на этих хамов-дармоедов… Жаль тратить силы на них, а приходится, зато сознание чести и собственного достоинства при нас! Это сознание облегчает тягость положения многих, а у меня еще больше. „Либерал“, пишущий красно, господин Ланин, редактор „Русского курьера“, заплатил за перевод одной сотруднице по три четверти копейки за строку, а другой по копейке. Все нуждающиеся промолчали. Я написал на клочке бумаги следующий экспромт:

«Курьер» гуманный, орган честный,
Служивший истине всегда
И миру целому известный
Поборник женского труда,
Идеи братства и свободы
Ты так отстаивал, мой друг,
А женщинам за переводы
Платить копейку начал вдруг…

Злит меня это хамство кулаков-редакторов и безвыходное положение мелких сотрудников… Ужасно положение репортера, честно относящегося к делу, за каждую строку заметки приходится перестрадать».

Правда, на статьи Гиляровского — и про спичечные фабрики, и про другие проблемы все-таки нашелся щедрый покупатель — «Русские ведомости». Не долго думая, Владимир Алексеевич покинул Пастухова навсегда. О чем не пожалел ни разу. Более того, смена газеты пошла Гиляровскому на пользу. Его секретарь Н. Морозов писал: «Работая в „Русских ведомостях“, В.А. Гиляровский значительно расширил круг своих литературных знакомств и связей. Он не раз говорил, что время работы в этой газете считал счастливейшим в своей жизни. Там в то время сотрудничали лучшие представители русской литературы: Л.Н. Толстой, Н.Г. Чернышевский, Глеб Успенский, Н.К. Михайловский, Д.Н. Мамин-Сибиряк и другие».

«Русские ведомости» были газетой солидной. Николай Морозов, секретарь Гиляровского, писал в мемуарах: «Иначе выглядели „Русские ведомости“. Здесь посетителя встречал в прихожей швейцар, чего не было в „Московском листке“. Швейцар Леонтий, служивший в газете почти с ее основания, был человек степенный, грамотный. На нем сверкал галунами и медными пуговицами длинный форменный сюртук с карманами в задних фалдах. Так одевали привратников в банках, клубах и в некоторых богатых домах.

По лестнице сходит престарелый профессор Д.Н. Анучин — антрополог, географ, этнограф, имеющий сотни научных трудов; он, как один из создателей, руководит всей хозяйственной частью газеты, и его чаще всех можно встретить в редакции. Появляется А.П. Лукин, пишущий под псевдонимом «Скромный наблюдатель», полный, в черном сюртуке, — он тоже пайщик газеты. Кого здесь не встретишь — редактора ли газеты В.М. Соболевского, высокого, величественного; горбуна ли Григория Аветовича Джаншиева, молодого ли профессора А.А. Мануйлова, — от всех веет важным спокойствием, изысканной вежливостью и подчеркнутым сознанием своего превосходства по отношению к тем, кто ниже их».

Кстати, именно тогда Владимир Алексеевич начал систематически и много писать для других популярных изданий — «Русская мысль», «Новое время», «Будильник». Большинство его коллег и не мечтали о подобной славе.

Конечно, не все в отношениях с редакциями складывалось безмятежно. В частности, уже упомянутый Н. Лейкин, редактор

петербургского журнала «Осколки», часто предъявлял довольно странные претензии. Например, такие: «Хотелось бы, чтобы Вы захватили в обозрение побольше предметов, а не касались бы чего-нибудь одного. Лупите купца всякого сколько влезет, лупите актера, чиновничество, думу, но только не хвалите, „Осколки“ для похвалы не издаются. Проберите-ка хорошенько московских кутил, безобразников, рестораторов, трактирщиков».

Или, в другой раз: «Что за несчастье, мы не можем с Вами никак спеться… Я не хочу этим сказать, что пристав, урядник должны быть изъяты из „Осколков“. Нет. В другом каком-нибудь виде, вот хоть бы, например, так, как у Вас был помещен рассказ в „Развлечении“, где урядник пишет протокол об упадке с крыши. Тогда милости просим… Стихотворение „Убит“ потому возвращаю, что слишком мрачно, а во-вторых, Вы вздумали обличать… Далее, тема „Наши санитары“ чересчур утрирована… Вторая тема о Ланине. Я вовсе не желаю нападать на Ланина, ибо это вышло бы — своя своих не познаша».

Этого можно ругать, этого нельзя. Об этом можно писать, а об этом нельзя. Просто какие-то интриги испанского двора. Поди тут разберись.

Но наш герой старался разбираться.

* * *

В 1884 году Владимир Алексеевич женился на Марии Ивановне Мурзиной, милой и обаятельной девушке. Мария Ивановна была сиротой, которую приютило семейство садовода Оттона Матвеевича Баума. Она окончила гимназию в Пензе и получила право работать домашней учительницей. Но судьба распорядилась иначе — Мария Ивановна стала домашней хозяйкой.

Влюбился наш герой не шуточно. Писал своей невесте: «Ты одна для меня все на свете… Передо мной на столе, заваленном листами исписанной бумаги, стоит дорогая мне карточка с венком из колосьев и цветов на густой русой косе… И работается с удовольствием, с радостью».

Эта фотография стояла на его столе на протяжении всей его жизни.

Венчание было скромным, в маленькой, неприметной церкви Святого мученика Ианнуария при Запасном дворце (площадь Красных ворот). Со стороны Гиляровского присутствовали только два человека — Антон Павлович Чехов и репортер Русаков (который, можно сказать, только этим и вошел в историю).

Е. Киселева, родственница Гиляровского, писала: «По характеру своему Мария Ивановна была совершенной противоположностью дяде Гиляю. Замкнутая, очень спокойная, с постоянством привычек и нелюбовью к передвижениям, даже поездки в Крым ради здоровья дочери были для нее нежелательны. Мария Ивановна проводила свою жизнь дома неутомимым, бдительным и никем не заменимым стражем его благополучия. Дядя Гиляй, как бы ни был занят, с себя никогда хозяйственных забот не снимал, оставался деятельным и заботливым хозяином. И все же основой дома была Мария Ивановна.

Для Гиляя, который мог иногда сообщить о себе через два-три дня, сдержанность Марии Ивановны, ее привязанность к дому были драгоценными качествами.

При этом она смогла наполнить дом женским уютом, держалась просто и доброжелательно, люди с ней не испытывали натянутости или скованности. Ее отношение к человеку было искренним, обращение приветливым. Мария Ивановна вызывала желание задержаться в Столешниках, поговорить с ней в обстановке, не сверкающей красным деревом, изысканным хрусталем люстр, но согревающей дивным и драгоценным огнем человеческой теплоты».

Мария Ивановна прекрасно готовила, варила варенье, делала домашние настойки, шила, вязала, была интеллигентной, мудрой и даже помогала Гиляровскому в его работе. Часто совмещала это всё — в чане на кухне варится варенье, Мария Ивановна беседует с Чеховым и Куприным, ожидающими возвращения хозяина дома, и при этом у нее в руках мелькают спицы.

В семейной жизни нашему герою явно повезло. И он, естественно, это ценил — ни разу не сказал своей жене грубого слова. И всегда дарил ей первый экземпляр своих книг. А когда хозяйка дома увлеклась вдруг вегетарианством — не перечил. Спокойно поедал морковные котлетки. Правда, перед обедом заворачивал в трактир, ел расстегаев, заливного поросенка и другие яства. А морковные котлетки были вроде как десертом.

Спустя год после свадьбы у Гиляровского родился сын. Пришлось снимать дачу, в Красково.

Каждый день после работы спешил на Рязанский вокзал, на поезд. Привозил всевозможные гостинцы (например, все из того же Охотного ряда). Семейная жизнь несколько изменила его. Наш герой сделался романтичнее. Специально ходил к своей даче мимо чьей-то заброшенной старой усадьбы. Любовался. Писал: «Странное чувство является при виде развалин дома. Высокие колонны украшают дом, верх которых был увенчан когда-то

прекрасной, но уже полуобвалившейся лепниной. Могилой смотрит дом со своими полузабитыми окнами, нежилой черной темнотой…

Отсветы заката нет-нет да и блеснут в уцелевшем осколке богемского стекла, в окнах второго этажа, и исчезнут, и снова та же могила. Из разбитых окон и щелей дощатых колонн то и дело вылетают галки и опять возвращаются в свое гнездо. Даже змеи, злобно шипя, выглядывают из расщелин каменной широкой лестницы, ведущей в сад… А вид на пруды с лестницы восхитительный. Лестница спускается в большой цветник, окруженный кустами дорогих растений… Цветник кончается обрывом, а под ним, как в глубокой пропасти, то отражая светлое небо, то вековые сосны, блестит и чернеется ряд прудов. На среднем пруду круглый островок с руинами когда-то щегольского павильона. Здесь пускались роскошные фейерверки, на этом островке лилось вино рекой и потехи барские придумывались. А за прудами виднеются запущенные роскошные поля. Там во время этих пикников ручьем лился крестьянский пот, под сохой гнулась спина мужицкая, и заскорузлые руки неустанно работали, добывая деньги на эти вина. Павильон разрушился, от барского дома остались одни развалины, а пот мужицкий все льется, заскорузлые руки все добывают деньги».

Если бы не социальная концовка, не узнать бы нам стиль Гиляровского.

* * *

Владимир Алексеевич довольно быстро понял, как нужно с максимальной пользой для себя писать газетный репортаж. Уйма народу платит деньги, и немаленькие, для того, чтобы прославиться в газетах, чтобы о них опубликовали хоть абзац, хоть строчку. А у репортера есть возможность получать все это задарма, притом в больших количествах. Рецепт предельно прост — делать себя героем собственных статей. При этом именно героем, а не просто рядовым участником.

И в 1884 году выходит в свет, можно сказать, шедевр этого жанра.

Задача ставилась простая и бесхитростная — поведать о том, как в Москве пробивается артезианский колодец. Но как наш герой к этому подошел!

«Мой проводник зажег свечу.

Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним спускался канат с крючком.

Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная, коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечки. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу.

С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света — это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене».

Проводник репортера, настоящий, в общем-то, герой, был аккуратно отодвинут в сторону. В центр повествования поставлен был сам Гиляровский — еще бы, ведь не побоялся же, залез под землю. Хотя бояться было абсолютно нечего. Множество рабочих проводили здесь целые дни и ничего не опасались. Главное — во время взрыва спрятаться в особенную западню, да понадежнее загородиться досками.

Но именно этот момент Владимир Алексеевич и выбрал для геройства.

«Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад.

— Куда суешься — убьет! Во какие сахары полетят.

Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс, — и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб».

Имел ли в самом деле место инцидент с просовыванием головы или же нет — не важно, да и не проверишь. Владимир Алексеевич старательно лепил имидж отважного героя-репортера. И осуждать его за это не приходится. Плох тот репортер, который равнодушен к славе.

Впрочем, с точки зрения саморекламы, самым эффективным был другой репортаж Гиляровского, но тоже про подземную Москву. Он был озаглавлен: «Полчаса в катакомбах» и посвящался Неглинке, текущей в трубе.

«Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться.

Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху.

С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышались шум воды и хлюпанье.

Я посмотрел наверх. Мне видны были только четырехугольник голубого, яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу.

Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня. Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды».

Страшно? То-то же. Да только зря Владимир Алексеевич нагнетал жути. В этом путешествии не было ровным счетом ничего особенного. Да и страховали его, по обыкновению:

«— Опускайся смелей; становись, неглубоко туточка! — глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий».

Чем рисковал Владимир Алексеевич? Естественно, ничем. Так почему же до сих пор поход по дну подземной речки в сопровождении квалифицированного проводника считается одним из его главных подвигов? Почему он, строго говоря, присвоил славу, ну хотя бы того самого проводника, который в том коллекторе проводил уйму времени, а не полчаса, которые выдержал наш герой? Да и заходил в места, более опасные и заповедные, нежели тот коротенький маршрут, которым он провел нашего репортера?

Видимо, потому, что Гиляровский был первым из пишущих людей, который залез в речку с целью написать об этом в газете. До него все роли были строго распределены. Рабочие обслуживают реку и не вмешиваются в дела интеллигенции. Интеллигенция ходит в театры, спорит о политике, читает книжки, а под землю — ни ногой. Разве что в собственный подпол за очередной бутылочкой смородиновки. И газеты, разумеется, дело интеллигенции, а не рабочего — пусть и квалифицированного, но малообразованного.

Гиляровский все смешал. Он вдруг схватил интеллигенцию в

ухватистый кулак и сунул мордой в страшную дыру колодца на Цветном бульваре. И сделал это именно молодой беспринципный репортер, а вовсе не рабочий-проводник. А следовательно, и слава — репортеру.

«Я… прошел по колено в бурлящей воде шагов десять. Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку… Даже страшно стало».

Разве смог бы работяга написать такое? Ни за что! Ему не страшно, он живет средь этой слизи. А Гиляровский был представителем интеллигенции.

Прошло тридцать минут, и проводник-рабочий, с облегчением вздохнув, приступил к выполнению своих прямых обязанностей. С облегчением вздохнул и Гиляровский. И поехал отмываться в баню с тем, чтобы потом, в свежей сорочке сесть за свой редакционный стол и поведать всей России, какие ужасы он пережил.

* * *

Со временем сформировался стиль работы Гиляровского. Излишней щепетильностью он, разумеется, не отличался — да и профессия этого не предполагала. Кроме осведомителей из воровского мира обзавелся собственным осведомителем из правоохранительных структур: «Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии оберполицмейстера, через руки которого проходили к начальству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил мне его в корректорскую. Благодаря ему мы не пропускали ни одного интересного события и обгоняли другие газеты».

Владимир Алексеевич всерьез работал над своим имиджем — отважного героя, обладателя инсайдерской информации из всех социальных московских слоев и одновременно своего в доску парня.

«Я не любил работать в редакции — уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии! Наборщики — это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез! Первым

делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя — потом я их развел много — подойдут, понюхают табаку и чихают. Смех, веселье! И метранпаж рад — после минутного веселого отдыха лучше работают.

— Что нового принесли? — любопытствует метранпаж…

— Да вот, буду сдавать…

И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектное — наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно: ведь одеревенеешь стоять за пахучими кассами и ловить, не глядя, освинцованными пальцами яти и еры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпации».

Сколько здесь всяческих выгод для имиджа! И демократичность (дескать, я с ними, с простыми рабочими), и забота о людях (развеселю, табачком угощу), и намек на оперативность своей информации (сразу — в набор) и на собственную исключительность (никому не доверяют, а мне — можно).

Сразу видно руку мастера саморекламы.

Впрочем, и его воспоминания о том, как он вел себя в редакционных помещениях, ничуть не уступают. О себе репортер отзывался даже в третьем лице: «Как буря влетает в крохотную редакцию Гиляй — В.А. Гиляровский, — схватывает стул, на котором сидит сотрудник, поднимает его выше головы и относит в другой угол:

— Не беспокойся, я тебя опять на место поставлю! — и сыплет под общий хохот экспромтами».

Ну, просто душа-человек.

* * *

Бывало, нашего героя прилично заносило. Упомянутый уже Михаил Павлович описывал одну историю — достойную, чтобы ее полностью воспроизвести:

«В мае 1885 года я кончил курс гимназии и держал экзамены зрелости. Чтобы не терять из-за меня времени, брат Антон, сестра и мать уехали на дачу в Бабкино, и во всей квартире остался я один. Каждый день, как уже будущий студент, я ходил со Сретенки в Долгоруковский переулок обедать в студенческую столовую. За обед здесь брали 28 копеек. Кормили скупо и скверно, и когда я возвращался домой пешком, то хотелось пообедать снова.

В одно из таких возвращений, когда я переходил через Большую Дмитровку, меня вдруг кто-то окликнул:

— Эй, Миша, куда идешь?

Это был В.А. Гиляровский. Он ехал на извозчике куда-то по своему репортерскому делу. Я подбежал к нему и сказал, что иду домой.

— Садись, я тебя подвезу.

Я обрадовался и сел. Но, отъехав немного, Гиляровский вдруг вспомнил, что ему нужно в «Эрмитаж» к Лентовскому, и, вместо того чтобы попасть к себе на Сретенку, я вдруг оказался на Самотеке, в опереточном театре. Летние спектакли тогда начинались в пять часов вечера, а шел уже именно шестой, и мы как раз попали к началу.

— Посиди здесь, — сказал мне Гиляровский, введя в театр, — я сейчас приду.

Поднялся занавес, пропел что-то непонятное хор, а Гиляровского все нет и нет. Я глядел оперетку и волновался, так как ходить по «Эрмитажам» гимназистам не полагалось. Вдруг ко мне подошел капельдинер и потребовал билет. Конечно, у меня его не оказалось, и капельдинер взял меня за рукав и, как зайца, повел к выходу. Но, на мое счастье, точно из-под земли вырос Гиляровский.

— В чем дело? Что такое?

— Да вот спрашивают с меня билет… — залепетал я.

— Билет? — обратился Гиляровский к капельдинеру. — Вот тебе, миленький, билет!

И, оторвав от газеты клочок, он протянул его вместо билета капельдинеру. Тот ухмыльнулся и пропустил нас обоих на место.

Но Гиляровскому не сиделось.

— Пойдем, мне пора.

И мы вышли с ним из «Эрмитажа».

— Я, кажется, хотел подвезти тебя домой… — вспомнил Гиляровский. — Где же наш извозчик?

Он стал оглядываться по сторонам. Наш извозчик оказался далеко на углу, так как его отогнал от подъезда городовой. В ожидании нас он мирно дремал у себя на козлах, свесив голову на грудь.

Гиляровский подошел к нему и с такой силой тряхнул за козлы, что извозчик покачнулся всем телом и чуть не свалился на землю.

— Дурак, черт! Слюни распустил! Еще успеешь выспаться!

Извозчик очухался, и мы поехали.

Нужно было уже сворачивать с Садовой ко мне на Сретенку, когда Гиляровский вдруг вспомнил опять, что ему необходимо

ехать зачем-то на Рязанский вокзал, и повез меня насильно туда. Мы приехали, он рассчитался с извозчиком и ввел меня в вокзал. Встретившись и поговорив на ходу с десятками знакомых, он отправился прямо к отходившему поезду и, бросив меня, вдруг вскочил на площадку вагона в самый момент отхода поезда и стал медленно отъезжать от станции.

— Прощай, Мишенька! — крикнул он мне.

Я побежал рядом с вагоном.

— Дай ручку на прощанье!

Я протянул ему руку.

Он схватился за нее так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе и затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона.

Поезд уже шел полным ходом, и на нем вместе с Гиляровским уезжал куда-то и я. Силач увозил меня с собой, а у меня не было в кармане ни копейки, и это сильно меня беспокоило.

Мы вошли с площадки внутрь вагона и сели на местах. Гиляровский вытащил из кармана пук газет и стал читать. Я постарался казаться обиженным.

— Владимир Алексеевич, куда вы меня везете? — спросил я его наконец.

— А тебе не все равно? — ответил он, не отрывая глаз от газеты.

Вошли кондуктора и стали осматривать у пассажиров билеты. Я почувствовал себя так, точно у меня приготовились делать обыск. У меня не было ни билета, ни денег, и я уже предчувствовал скандал, неприятности, штраф в двойном размере.

— Ваши билеты!

Не поднимая глаз от газеты, Гиляровский, как и тогда в театре, оторвал от нее два клочка и протянул их обер-кондуктору вместо билетов. Тот почтительно пробил их щипцами и, возвратив обратно Гиляровскому, проследовал далее. У меня отлегло от сердца. Стало даже казаться забавным.

Мы вылезли из вагона, кажется, в Люберцах или в Малаховке и крупным, густым лесом отправились пешком куда-то в сторону. Я не был за городом еще с прошлого года, и так приятно было дышать запахом сосен и свеженьких березок. Было уже темновато, и ноги утопали в песке. Мы прошли версты с две, и я увидел перед собою поселок. Светились в окошках огни. По-деревенски лаяли собаки. Подойдя к одному из домиков с палисадником, Гиляровский постучал в окно. Вышла дама с ребенком на руках.

— Маня, я к тебе гостя привел, — обратился к ней Гиляровский.

Мы вошли в домик. По стенам, как в деревенской избе,

тянулись лавки, стоял большой стол; другой мебели не было никакой, и было так чисто, что казалось, будто перед нашим приходом все было вымыто.

— Ну, здравствуй, Маня! Здравствуй, Алешка! — Гиляровский поцеловал их и представил даме меня.

Это были его жена Мария Ивановна и сынишка Алешка, мальчик по второму году.

— Он у меня уже гири поднимает! — похвастался им Гиляровский.

И, поставив ребенка на ножки на стол, он подал ему две гири, с которыми делают гимнастику. Мальчишка надул щеки и поднял одну из них со стола. Я пришел в ужас. Что, если он выпустит гирю из рук и расшибет себе ею ноги?

— Вот! — воскликнул с восторгом отец. — Молодчина!

Таким образом я нежданно-негаданно оказался на даче у Гиляровского в Краскове».

Комментарии, как говорится, излишни.

* * *

А впрочем, интересно здесь не только самовольство Гиляровского по отношению к беспомощному гимназисту — этими фокусами нас уже не удивишь. Любопытно другое — газетные обрывки вместо билетов. Вряд ли нашего героя знали все без исключения обер-кондукторы и билетеры. Тем более из текста Чехова вовсе не следует, что эти люди опознали Гиляровского. Ни поздоровались, ни как-нибудь особенно взглянули. Ничего подобного. Просто приняли бумажку за билет — все.

Положа руку на сердце, признаюсь: мне неоднократно приходила в голову мысль — а вдруг «король репортеров» сотрудничал с царской охранкой? Очень уж он был информирован, очень уж многое ему сходило с рук. Гиляровский вполне мог устроиться «на службу» в 1881—1882 годах, когда лишь начинал работать репортером и готов был на многое ради своей журналистской карьеры.

Но именно история с обрывками бумаги полностью реабилитировала для меня дядю Гиляя. Очень уж она напоминает случай со знаменитым Вольфом Мессингом. Тот, будучи еще подростком, ехал из Польши в Германию не имея билета. Спрятался под вагонной лавкой, думая, что его не заметит контролер. И разморился, уснул.

Но контролер оказался внимательным. Растормошил,

потребовал: «Молодой человек, ваш билет». Еще не отошедший толком ото сна Вольф Мессинг протянул кусок газеты, про себя моля, чтобы случилось чудо, чтобы контролер решил, что этот клочок и есть билет.

Каково же было изумление Мессинга, когда строгий железнодорожный служащий прокомпостировал газету и сказал: «Что же ты, дурачок, прячешься? Вставай, скоро Берлин».

Гиляровский, по всей видимости, обладал недюжинными экстрасенсорными способностями (сам не отдавая себе в том отчет, ведь ни соответствующей литературы, ни «кружков по интересам» в те времена не было). Этим объясняется и невероятная способность находить общий язык и с бандюганами, и с сильными мира сего, а также чутье: в такое-то время в таком-то месте что-то обязательно должно произойти. А репортерская работа лишь способствовала совершенствованию этого дара.

* * *

В 1886 году у нашего героя родилась дочка Надежда. Владимир Алексеевич остепенился окончательно — снял квартиру в Столешниковом переулке, на третьем этаже. Именно в Столешниках ему и доведется прожить всю оставшуюся жизнь, которой не прошло еще и половины. И его квартира вскоре сделается одним из символов Москвы.

Зять нашего героя В. Лобанов так писал о знаменитой, можно сказать, даже легендарной квартире Гиляровского: «Через переднюю, оклеенную незамысловатыми цветистыми обоями, проходили видные русские писатели и деятели культуры. Среди них Л.Н. Толстой и А.П. Чехов, А.М. Горький, Леонид Андреев, А.И. Куприн, Иван Бунин, Владимир Маяковский и Сергей Есенин, многие ныне здравствующие писатели, музыканты, представители театрального мира.

В передней стоял большой желтый деревянный диван, на котором любил сидеть Лев Николаевич Толстой. Обычно он заходил в Столешники по пути домой, в Хамовники, из Училища живописи на Мясницкой, где занималась его дочь Татьяна.

Неприметна была в передней Столешников стоящая около дивана чугунная подставка для тростей и зонтов. Этой подставкой часто пользовался А.П. Чехов.

Приходя в Столешники, писатель заботливо помещал в подставку свою палку.

— Не забудешь, уходя, где оставил свою палку или зонт, — говорил Чехов.

Эта подставка являлась предметом особого внимания жившей в семье Гиляровских Екатерины Яковлевны Сурковой, уроженки села Большая Городня близ Серпухова, выкормившей дочь В.А. Гиляровского — Надюшу. Е.Я. Суркова даже много лет спустя после смерти Чехова заботливо следила за подставкой».

Екатерина Яковлевна говорила жене Гиляровского:

— Надо, Марья Ивановна, чтобы чеховские вещи всегда у нас в порядке были.

На что сам Владимир Алексеевич обычно отвечал:

— Коли бес завел порядок, так уж будет беспорядок. Екатерина Яковлевна, кстати, была очень колоритной женщиной. Екатерина Киселева вспоминала: «В Столешниках с момента рождения дочери дяди Гиляя жила няня — Екатерина Яковлевна Суркова. Кто и когда назвал ее Кормилой, не знали, но имя за нею укрепилось и оставалось неизменным десятки лет. Она вела в доме хозяйство, знала, где что лежит, где в Москве можно купить мясо дешевле, на каком рынке оно лучше… Из каких бочек моченую антоновку брать, а из каких не следует. Тихим, неторопливым шагом двигалась она по комнатам, везде находя дело своим заботливым рукам. Екатерина Яковлевна всегда знала, кого чем надо накормить, чтоб „по вкусу и с пользой“. В этом видела свое главное назначение, может, потому и звали ее Кормилой. Переходя из комнаты в комнату, разбирая на кухне принесенные с базара покупки, она постоянно тихо что-то говорила. И хотя все знали эту ее особенность, невольно то и дело спрашивали:

— Кормила, ты с кем говоришь?

— С умным человеком, — следовал неизменный ответ, который значил: сама с собой говорю.

Если дядя Гиляй слишком долго засиживался за своими бумагами в столовой или бродил из комнаты в комнату, Кормила, сочувственно покачивая головой, спрашивала:

— С умным человеком беседуешь, Владимир Алексеич? Оставь на завтра что-нибудь. Все одно не переговоришь его».

Бегали по дому кошки и собаки (Гиляровский очень любил эту живность, как правило, подобранную на московских улицах), сидел в клетке попугай. Когда хозяин возвращался, он кричал ему: «Привет, Гиляй! Привет, Гиляй!»

Любовь Гиляровского к домашним животным доходила до крайности, часто бывало — зайдет в полицейский участок, купит ошейник с номером, якобы для собственного пса, и наденет на шею какого-нибудь безродного и бесхозного бобика — хотя бы сколько-нибудь времени пробегает бобик с ошейником, а значит, полицейские не станут его забирать на живодерню.

Больше всего Гиляровского любила Хмара — беспородная собачка, где-то им подобранная. Когда Владимир Алексеевич был дома, она ни на шаг от него не отходила. Ляжет, лапы вытянет, башку на лапы положит и любуется своим кумиром.

В передней же была повешена на гвоздик кочерга, завязанная Гиляровским в узел, — в знак того, что здесь особенно не забалуешь. Впрочем, Владимир Алексеевич был человек добрейший, как, впрочем, и его жена, и все домашние. Рядышком была еще одна реликвия — простая кочерга. Правда, она была простой только на вид — однажды Гиляровский, по обыкновению, завязал ту кочергу узлом, а когда услышал упрек — дескать, что ж ты вещи портишь? — сразу же ее развязал. Историю «обычной» кочерги знали только избранные.

Одно лишь омрачало атмосферу этого милого дома — память о сыне Алексее. Он скончался вскоре после рождения, по всей видимости, от какой-то заразной болезни, принесенной Гиляровским с Хитровки.

Но об этом в Столешниках говорить было не принято.

* * *

Да, наш герой в формальном отношении остепенился. Но по большому счету образ жизни его оставался тем же, каким был в начале репортерской работы. И в том же 1886 году в «Русских ведомостях» появилась новая сенсация, вышедшая из-под пера «дяди Гиляя», — «Катастрофа на фабрике Хлудова»: «Во всех слоях егорьевского общества только и разговору, что о катастрофе 9 января. Толпы горожан стремятся на фабрику, но туда не пускают, и редко кому удается прорваться сквозь цепь сторожей-церберов в эту окруженную стенами крепость, куда в обыкновенное время даже местная полиция неохотно допускается. Нам удалось осмотреть местность, разрушенное здание и последствия катастрофы и узнать все подробности ее на другой день частью от пострадавших лиц, частью от многочисленных очевидцев, которые говорили под свежим впечатлением виденного и испытанного, нисколько не стесняясь и не скрывая самых малейших обстоятельств.

В общем же рассказы всех были тождественны.

Из виденного и слышанного нами мы сообщаем следующее: на фабрике, между прочим, имеется высокий, старый четырехэтажный корпус, часть которого занята сортировочным отделением, где сортируется хлопок, лежавший во всех этажах в день катастрофы в количестве около 6 тыс. пудов. Масса хлопка в

кипах от 15 до 20 пудов каждая хранилась на четвертом этаже. В семь часов утра, во время разборки хлопка и спуска его сверху по особым деревянным трубам, послышались крики „пожар“, и густой едкий дым от горевшего хлопка наполнил весь корпус и повалил из окон. Упавший по трубе воспламенившийся хлопок зажег на одной из женщин платье, опалил ее и еще двух ее товарок. У всех троих ожоги были настолько сильны, что их отправили в больницу при фабрике. Сила огня была вскоре прекращена прекрасной паровой фабричной пожарной трубой. Хотя, благодаря близости воды, в горящее здание было налито ее огромное количество, но тем не менее огонь все-таки временами прорывало и снова приходилось его гасить. Этим бы по-настоящему и кончилось все, но администрация фабрики распорядилась иначе. Дело в следующем: спустя часов пять после окончания пожара администрация фабрики командировала 50—60 человек рабочих под надзором почтенного человека, общего любимца всей фабрики, приказчика сортировочного отделения Михаила Титова, человека пожилого, прослужившего 33 года на этой фабрике, для скидывания с четвертого этажа вниз тяжелых кип с хлопком. Титов отправился в верхний этаж через чесальное отделение, и рабочие, долго боявшиеся вступить на качающийся пол четвертого этажа и побуждаемые администраторами с угрозой „отказать от места“ и т.п., наконец решились, скинули шесть кип, стоявших наверху, вниз и сбросили на пол седьмую. В этот-то самый момент раздался страшный грохот от падающих масс, от которого, по словам очевидцев, «земля дрогнула», и все четыре потолка этажей с массой хлопка, намокшего во время тушения огня, и работавшими людьми рухнул вниз. Затем все на момент смолкло, и потом раздались стоны раненых и изувеченных людей. Окна нижнего этажа, заложенные кирпичами, начали разламывать, затем приставили лестницу ко второму этажу (лестниц железных у этого корпуса нет), и рабочие поместились на окнах. А внизу, под ними, откуда слышались стоны, среди массы обломков и груд хлопка, еще местами курившегося, торчали — там голова, там нога, там человек, засыпанный по пояс и взывающий о помощи. Некоторые были стиснуты обломками бревен и не могли пошевелиться.

Молодой парень из деревни Холмов, прядильщик Семен Петров, зацепившись фартуком за какой-то обломок у чугунной колонны, висел в ужасном положении между этажами на высоте нескольких сажен и молил о помощи. А помощь было подать опасно: потолок и висевшие груды обломков могли уничтожить, задавить своей массой смельчака. Тем не менее такие нашлись между рабочими: какой-то молодой парень привязал себя

веревкой за пояс, перекрестился и спрыгнул вниз. За ним другой, третий… Принялись кое-как с неимоверными усилиями освобождать несчастных, из которых некоторые лишились чувств, некоторые невыносимо стонали. Освобожденных или клали в корзины и в них вытаскивали наружу, или прямо привязывали подмышки веревками и вынимали. Долгое время старались рабочие вынимать несчастных и отправляли их в больницу при фабрике. Искали Титова, но ни между живыми, ни между ранеными его не оказалось. Нашли труп какого-то рабочего… Наконец из-под грязи и песку блеснуло что-то. Это оказался золотой перстень, надетый на руке, с которым Титов не расставался, и вскоре был вынут его труп, снаружи не изуродованный, но раздавленный между массами кип хлопка. Еще два трупа нашли в этот день, а на другой — еще два. Все шесть трупов положили в квартиру фельдшера на пол, в здании больницы, рядом с палатой больных. 11-го числа, то есть через два дня, мы видели эти трупы на том же месте, грязные, необмытые, изуродованные и уже издающие легкий трупный запах. Пять трупов лежали в этой комнате, а труп Титова — в другой. Странным кажется, по чьему „разумному“ распоряжению трупы несколько дней лежат в больнице, рядом с палатами, переполненными больными и изувеченными, а не в часовне при больнице.

Всего в больнице находилось 11 января 19 человек, в том числе 3 пострадавших от пожара женщин и 16 раненых и изувеченных при катастрофе. Найденные более здоровыми не были положены в больницу. Так, например, на улицах города нам пришлось встретить хромавшего и согнутого от невыносимой боли спины и шеи Семена Петрова, того самого, который, как выше сказано, висел на колонне. На месте происшествия 11 января, утром, в присутствии местного исправника, начали растаскивать кипы хлопка и обломки внутри здания и разыскивать трупы, но к 12 часам дня эта работа была прекращена ввиду могущего случиться несчастья. Обрушившаяся внутренность здания представляет нечто ужасное, но вместе с тем эффектное: это громадные, высокие четыре стены, освещенные светом, падающим из закоптелых выбитых окон, усыпанных ледяными сосульками, горящими разными огнями при дневном свете. Наверху этого здания навис обитый изнутри листовым железом, каким-то чудом держащийся на чугунных колоннах потолок, ежеминутно грозящий рухнуть. Половина здания до самого верха загромождена стоящими, лежащими и висящими переломанными балками, деревянными решетками, кусками железа, сплошь, как толстым слоем чистого стекла, покрытыми

блестящей ледяной корой, переходящей на краях каждого предмета в каемку из ледяных сосулек, между которыми сверкают обледенелые серебристые волокна белого хлопка…

А внизу, под этими ледяными сталактитами, образовавшимися от обильного поливания водой, груды хлопка, грязи, песку, смешанного с водой, и, по общему мнению, есть еще трупы, так как некоторых из рабочих недосчитываются.

В больнице лежат трупы. Михаила Титова, 45 лет, оставившего после себя жену, мать и восемь человек детей. По словам знающих эту семью, „у них нет денег на фунт восковых свечей для панихиды“. Затем трупы крестьян деревни Голубевой: Михаила Петрова, 20 лет, Егора Петрова, 20 лет, оставившего жену и двоих детей, Василия Алексеева, 23 лет, мещанина города Егорьевска Василия Яковлева, лет 35, и Василия Степанова из деревни Ширяевой, оставившего в крайней бедности троих детей. По случаю катастрофы в Егорьевск приехал из Зарайска товарищ прокурора и приезжал 11 января чиновник из Рязани от губернатора, но уехал в тот же день…»

И, как обычно, за сенсацией стоял гигантский труд — поездка на место происшествия, маскировка, шпионство и прочие вещи, которые, собственно говоря, и привлекали Гиляровского в его профессии.

* * *

Впрочем, наш герой писал не только о пожарах, криминальных происшествиях и прочих малорадостных событиях. Его интересовало всё — литература, спорт, театр, даже музыка. Он писал репортажи и с концертов. Причем весьма увлекательные. В частности, в 1886 году он написал о концерте Рубинштейна: «22 сентября, в Большом императорском театре, в бенефис декоратора и машиниста театра К.Ф. Вальца, шел „Демон“. Театр был совершенно полон, и сбор по возвышенным ценам достиг около семи с половиной тысяч рублей. Бенефицианту поднесено несколько адресов, масса подарков и венков. М.Н. Климентовой, исполнявшей роль Тамары, поднесен роскошный букет из живых цветов. Бенефициант, дирижировавший оркестром А.Г. Рубинштейн и участвующие были вызваны много раз…

А.Г. Рубинштейн уехал вчера, 23-го, в Одессу, откуда он отправится за границу… А.Г. Рубинштейн остался очень доволен исполнением „Демона“ в спектакле 22 сентября. Действительно, все исполнители сделали все для них возможное, хоры были

превосходны, оркестр также. Постановка оперы страдает капитальным недостатком — нестерпимо длинными антрактами; так, напр., антракт между первой и второй картинами длился более получаса, а между двумя последними — почти полчаса, между тем как в интересах музыки желательно было бы сократить их до возможного minimuma. С этой стороны мы предпочли бы менее сложную постановку, лишь бы нашлась возможность сократить антракты».

К счастью, к самой музыке у Гиляровского претензий не было.

* * *

Владимир Алексеевич не был равнодушен даже к судьбам бродячих собак. Он в подробностях описывал, с какой жестокостью ведут охоту на этих невинных, в общем-то, существ, многие из которых являются домашними, но потерявшимися: «Ловля, содержание и откуп собак производятся следующим образом: около 11 часов ночи из деревни Котлы в Москву выезжают две запряженные клячами грязнейшие фуры, с зловонными клетками в них, сопровождаемые оборванцами самого зловещего вида. Это — помощники Грибанова по ловле собак. Хотя по приказу г. московского оберполицмейстера и полагается ловить собак, не употребляя жестокостей, в том только участке, о коем заявлено Грибановым накануне, но это не исполняется, и ловчие продолжают ловить собак на пути „ходом“: для этого они, заметив собак, расставляют, перегораживая улицу в двух местах, сети и гонят в них собак, стараясь, чтобы последние не ушли на какой-нибудь двор.

Когда собака попадет в сеть, они особого рода железным ухватом прижимают собаку самым безжалостным манером к земле и усаживают в клетку. При этом ловчие стараются поймать всегда хорошую, породистую собаку, а не действительно бродячую, которую они обязаны ловить и которую никто не выкупит. Чтобы уловить породистую собаку, ловчие не брезгуют никакими средствами; они выманивают собак со дворов различными способами, то прикармливая их, то прямо выгоняя, для чего ловчим приходится забегать во двор. При этом не обходится иногда и без неприятностей: если дворники заметят, то непрошеных гостей бьют, как это было, например, в прошлом году на Арбате, в доме Львовой, но ловчие „за тычком не гонятся“. Ловчие измыслили еще более ловкий способ выманивая собак — „подлаиванием“. С этой целью в деревне Котлах они

ежедневно практикуются в лаянии, и некоторые из них действительно лают не хуже звукоподражателя Егорова, лающего, как говорят, „лучше собак“. Ловчие употребляют, впрочем, и более бесцеремонные способы для добывания ценных и породистых собак: таков был случай, как сообщалось уже газетами в прошлом году, на Никитском бульваре, где ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедшей в мясную лавку к Арбатским воротам, несмотря на протесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли в фуре, в Котлы, в свое заведение, удачно названное „собачьей морильней“. Прославленные Котлы находятся за Даниловской слободой, верстах в двух от нее. Здесь, невдалеке от зловоннейших боен, стоит и живодерня Грибанова: обширный грязный двор, где под навесом на шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на живодерне или павших животных. Тут же и квартира Грибанова, в которую приходится обращаться владельцу пропавшей собаки, совершившему десятиверстное путешествие, а то и далее, из Москвы в Котлы.

Но здесь собаки нет, и ищущего ведут на гору, к развалине какого-то завода, где на широком, поросшем бурьяном дворе есть длинный узкий дощатый сарай, при одном приближении к которому со свежим человеком может сделаться дурно от зловония. Около двери сарая трава и стена покрыты бурыми, жирными пятнами крови, и тут же стоит толстая окровавленная дубина: это место, где бьют собак, и орудие, чем их бьют. Непородистых, никому не нужных собак выводят из фур, надевают им петлю на шею и душат, а если собака очень сильна и живуча, то бьют ее палкой по переносью и с полуживой еще тут же сдирают шкуру, которую сушат и продают от 6 до 12 коп. за штуку. Как видно, доход от бродячих собак невелик, а хлопот с ними много: поймать, убить, шкуру содрать и продать. Зато породистые собаки выручают. Они содержатся в этом зловонном сарае, в вонючих, грязных, с постоянно мокрым полом клетках. В сарае только два выхода, узенькие двери и ни одного окна. Тут же, на голой земле, валяются рогожи и полушубок — это постель, одеяло и подушка неотлучно находящегося при собаках сторожа, молодого парня, занимающегося кормлением, убиением и продажей собак и спокойно живущего в зловоннейшем сарае. Впрочем, здесь не всегда содержатся хорошие, породистые собаки. Прежде, при начале деятельности Грибанова, сарайчик этот был переполнен догами, пойнтерами, сеттерами и т.п., а теперь большинство собак, содержащихся в сарайчике, принадлежат к неаристократической породе „дворняг“.

При моем посещении заведения Грибанова я заявил, что у

меня пропала собака, и меня привели в этот сарай, где я мог выбрать любую из собак, даже чужую, и, заплатив за нее, сколько потребует доверенный Грибанова, получить ее. При подобном способе получения действительные владельцы собак ничем не гарантированы. Книги о том, где и когда и какая именно собака поймана, не ведется. В три дня — срок выкупа собаки, назначенный полицией, — владелец пропавшей собаки едва ли, если он человек занятой, успеет совершить путешествие в „Котлы“; а между тем по прошествии трех дней, согласно условию с полицией, собака делается собственностью Грибанова. Кроме того, в соседнем „с морильней“ трактире всякий, отыскивающий собаку, может, если тихо поведет разговор, узнать, что хорошие собаки, которых невыгодно отдать за 75 коп. владельцу, то есть за содержание трех дней по 25 коп. в день, и не попадают вовсе в „морильню“, а каким-то манером попадают к собачьим барышникам, занимающимся покупкой „случайных“ собак. Тут же в трактире можно узнать, что хорошую собаку у Грибанова, пожалуй, не всегда достанешь и надо идти к барышнику, и при этом указывают на стоящую под горой отдельную хижину, невдалеке от трактира. Хижинка эта окружена забором, за которым на привязи и так ходит с лаем и визгом масса дорогих, породистых собак всех возможных пород, от болонки до громадного дога включительно. Барышник предлагает купить собаку и продает их разно: и дешево, и дорого, кто как сумеет купить. Откуда эта масса собак у грибановского соседа — с достоверностью неизвестно, хотя есть слухи, что ловчие лучших собак продают подобным барышникам за бесценок и что последние, не решаясь выводить их на рынок, держат в глухих местах, вроде Котлов, и особенно охотно сбывают приезжим из других городов покупателям».

Увы, собачий бизнес был для городских властей чересчур мелкой темой. Репортаж В. Гиляровского серьезных изменений не повлек.

* * *

А в 1887 году Владимир Алексеевич поехал в Клин следить за тем, как знаменитый химик Менделеев на воздушном шаре полетит смотреть затмение солнца. Тоже вроде бы не криминал и не пожар, однако же занятно — Менделеев, шар, корзинка, темнота.

В результате в «Русских ведомостях» появился репортаж.

«Я вошел в вокзал. Кругом стоял гомон невообразимый: стук

шагов, двигание мебели, бряцание посуды, разговоры — все это слилось в один общий гул. Около столов места брались с бою: если кто-нибудь вставал с места и отходил, оставляя на стуле свою вещь, — вещь эта сбрасывалась, и место бесцеремонно занималось. Измученные, сбитые с ног лакеи не успевали исполнять требований и половины пассажиров. Последние сами с тарелками в руках шли на кухню, заказывали себе кушанье и собственноручно приносили его в зал.

В самый разгар этого ужина-завтрака кто-то громко крикнул, что „шар готов“, и толпа начала понемногу сбывать. Вслед за другими я отправился к шару. Было около трех с половиной часов, еще довольно темно. Впрочем, на востоке небо было чисто и виднелись розовые золотистые отблески зари на узких грядах легких облаков. Перейдя полотно железной дороги, вправо от линии есть пустырь, между линией дороги, станцией и Ямской слободой гор. Клина. Этот пустырь, посредине которого имеется прудик, называется Ямским полем. Подле прудика в виде огромной круглой массы, слегка движущейся, покачивался чуть заметно во тьме воздушный шар, напоминавший собой издали голову в „Руслане и Людмиле“. Чем ближе мы подходили к шару, тем выше и выше он вырастал перед нами.

Публика была, видимо, не весела, молчалива. Кое-где слышались отрывочные слова. Особенно удрученное состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Как говорили, многие из них накануне исповедались в грехах, надели чистое белье и приготовились к смерти, ожидая светопреставления или землетрясения. Все молчало. Оживлял сцену лишь бегавший с прибаутками торговец трубками для наблюдения затмения, появляющийся всюду и кричавший: „Покупайте, господа, торопитесь, затмение будет через минуту!“ Его появление вызывало улыбку, и он торговал прекрасно. Да еще солдаты местной команды развеселили или скорее удивили на момент публику: во время тишины, в исходе пятого часа, вдруг послышалась солдатская песня. Это шла местная команда и отхватывала лихую песню…

Наконец половина шестого. Солнце давно уже взошло, но его все не видно за туманом, который все становится гуще и гуще. Подул с востока ветерок, туман слегка начал исчезать, показались яснее избы Ямской слободы, и публика как будто повеселела. Но признаков солнца не было… Стали даже сомневаться, полетят ли Менделеев и Кованько в шаре.

Чувствуя, что погода не прояснится, надежды всех обратились на шар.

Наконец явился г. Кованько. Это молодой, высокого роста

красивый поручик, в форме лейб-гвардии саперного батальона. Он подошел к шару и приказал крепить корзину. Было 6 часов утра.

— Сдавай! — раздалась звучная команда, и человек десять солдат взялись за балластные мешки, державшие шар на земле.

— Шаг вперед!

Солдаты сделали шаг вперед, шар качнулся в воздухе и рванулся кверху.

— Два шага вперед! — и еще выше рванулся шар. Балласт и солдаты уже очутились под шаром, поднявшимся сажени на две. Еще десять солдат ухватились за боковые веревки наружной сети, за „оттяжки“. Начали прикреплять корзину. В нее положили инструменты: барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь, сигнальную трубу и другие вещи, необходимые для наблюдений. На шаре предполагалось зарисовать корону Солнца, наблюсти движения тени и произвести спектральный анализ.

К 6 часам 20 минутам шар совершенно готов, хотя видно, что он намок, тяжел, несмотря на двойное количество (1200 куб. метров) против требуемого потраченного газа.

Становится темнее. Пошел мелкий, чуть заметный дождь; начался ветер, красиво покачивавший шар.

Ждали профессора Менделеева. В 6 часов 25 минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой человек, с симпатичным, располагающим лицом. Это и был профессор. Он одет в широкополой шляпе, длинном, подпоясанном драповом коричневом пальто, в охотничьих сапогах. Он поздоровался с Кованько и Гарутом и начал готовить инструменты…

Шар так и рвался под ветром. Гг. Менделеев и Кованько сели в корзинку, попробовали, — шар не поднимается, он слишком намок.

Тогда профессор Менделеев предложил подняться один, видя, что двоих шар не поднимет. Публика была поражена предложением почтенного профессора, отваживающегося совершить свое первое воздушное плавание без управителя шаром.

Г. Кованько был принужден согласиться на предложение профессора, вышел из корзины и передал г. Менделееву тоненькую бечевочку от клапана шара.

Последний раза три попробовал бечевку, выслушал объяснение Кованько, как управлять шаром, и начал прощаться. Первым подошел к нему профессор Краевич. Они поцеловались.

Затем подошли дети профессора. Потом стали подходить знакомые, все жали руки. Профессор улыбался и был, по-видимому, спокоен. Он попросил… крикнул: „Дайте мне нож!“ Ему Кованько подал складной ножик.

— До свиданья, друзья! — попрощался профессор, громко скомандовал „прочь“, и шар, отпущенный солдатами, плавно поднялся вверх и полетел на север, при громком „ура“ и аплодисментах присутствующих.

В это время стало более и более темнеть. Шар поднимался серой массой, как в густом тумане.

Видно было затем, как воздухоплаватель начал высыпать быстро один за другим мешки балласта, и шар, освобожденный от груза, ринулся вверх и исчез в темноте, в тени затмения. Это было в 7 часов 46 минут.

Не более минуты шар был виден; полное затмение наступило вдруг.

И неожиданный полет г. Менделеева одного, без управителя шаром, и трогательная сцена прощания с ним, и исчезновение шара в темноте, и мрак, моментально охвативший землю, удручающе подействовали на всех.

Как-то жутко стало.

С несколькими дамами сделалось дурно. Толпа крестьян, за минуту перед тем мне в лицо говоривших с усмешкой, что „уж господа больно хитры, раньше знают про затмение, и что никакого затмения не будет“, ринулась почему-то бежать от места, где был шар, к деревне.

Смолкло все. Лошади стояли смирно и продолжали по-прежнему жевать траву. На собак тоже мрак не произвел никакого действия. Они были спокойны.

Я оглянулся по направлению станции. Там горели огни платформы и паровозов ярко, как в темную ночь. Потом огни начали краснеть, исчезать, забелелся дневной свет, и так же быстро день сменил ночь, как ночь сменила день.

Все молчали. Прошло не менее 10 минут, как начали расходиться. День продолжался серый, туманный».

Ясное дело, нашему герою самому хотелось сесть в корзинку, как в далеком 1882 году. Еще бы — на его глазах немолодой и неспортивный господин совершал подвиг, а Владимир Алексеевич стоял и молча наблюдал. Но маститый журалист, каким он стал к этому времени, не мог позволить себе подростковой шалости. Да и места не было в корзинке.

Газета ждала репортаж. И она репортаж получила. А на следующий день в газете вышло продолжение: «Клин, 8 августа. Сегодня, в 7 часов вечера, возвратился профессор Менделеев. Во

время затмения он поднимался в продолжение 15 минут на высоту 3500 метров. Ему удалось видеть блистательную корону, которая скоро была закрыта облаком; он видел бегущую по облакам тень, делал наблюдения термометром, барометром. В течение целого часа профессор Менделеев земли не видел. Головокружения он не чувствовал и сохранял полное самообладание. Вскоре шар обсох. Во избежание дальнейшего подъема Менделеев открыл клапан и стал спускаться на обширную поляну близ Калягина. Местные крестьяне скоро заметили спускающийся шар и приняли благодушно почтенного воздухоплавателя. Сброшенными с шара повестками он дал знать о необходимости ловить гайдроп. Якорем он не пользовался. Гайдроп поймал крестьянин Егор Григорьев. Гайдроп потом привязали к дереву. Благодаря помощи крестьян спуск был вполне благополучный. Шар опустился окончательно в 9 часов 20 минут утра… Проф. Менделеев вернулся в Клин через Сергиевский посад в Москву. Он вполне здоров, хотя несколько утомлен сильными эмоциями и переездом по железной дороге… Проф. Менделеев намерен сообщить подробности своих наблюдений в заседании физико-химического общества».

Только после этого тему затмения, Менделеева и шара можно было со спокойной совестью закрыть.

* * *

Писатель Н.Д. Телешов упоминал о первой встрече с Гиляровским, состоявшейся в 1887 году: «Подошел Гиляровский — познакомились. Он был во фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке держал открытую серебряную табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову рассеянно что-то рифмованное и веселое и глядел на меня в то же время, но меня, кажется, не замечал, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня, как молодого человека, утащили танцевать».

Гиляровский тогда тоже был человеком не старым. Но танцевать не пошел — искал, с кем бы сразиться в «стуколку» — незамысловатую карточную игру.

В середине же 1880-х наш герой всерьез начал писать рассказы. Подтолкнул его писатель Глеб Успенский, которому Владимир Алексеевич прочитал свой очерк «Обреченные» (о ярославском белильном заводе). Глеб Иванович сказал:

— Ведь это золото! Чего ты свои репортерские заметки

лупишь. Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал, пиши, пиши очерки жизни! Пиши, что видел…

И Гиляровский принялся писательствовать. Тем более что факты шли ему, как говорится, прямо в руки. Вот, например, как возник рассказ «Человек и собака»: «Как-то проходил поздно осенью по Александровскому саду. Тихо. Молодой снежок забелил землю. На лавочке сидел нищий, жевал хлеб и кормил собачку, точь-в-точь лисичка. Разговорились. Оказался отставной солдат. Делал турецкую кампанию. Потом под суд попал… за промотание казенных вещей…

— Уж и вещи: шинелишка трепана, руль цена, да сапоги старые, в коих Балканы переваливал… Просидел четыре года, выпустили с волчьим билетом: ни тебе работы, ни тебе ночлега. Жил в подвале под стеной… Спасибо, собака Лиска грела.

А через несколько дней одна из московских газет коротко сообщила, что на льду Москвы-реки «…усмотрен занесенный снегом, неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому, солдатского звания, в лохмотьях». Вспомнился солдат из Александровского сада, не он ли? Написал рассказ „Человек и собака“».

В 1887 году вышел первый сборник рассказов Гиляровского «Трущобные люди». И тираж этой книги сразу же был арестован. Никаких проблем для автора это не создавало. Но сработало на пользу имиджу — либерал, автор запрещенной книжки.

Знакомые — Антон Павлович Чехов, Глеб Успенский и Яков Полонский — принялись ходатайствовать перед начальством. Но оно было неумолимо. Главный цензор вынес свой вердикт: «Книга производит удручающее впечатление, заставляет слишком задуматься, обвиняет общество в том, что оно создает трущобы».

Было решение сжечь книгу, весь тираж. Кстати, он был невелик — всего 1800 экземпляров.

* * *

Жгли книгу во дворе Сущевской части. Самой, пожалуй, знаменитой и колоритной из учреждений этой специализации. В наши дни осталось только два таких сооружения. Одна, Сокольническая, находится рядом с метро «Сокольники», другая же, Сущевская — на Селезневской улице, 11. Почему-то именно о последней складывались легенды.

Подобные здания с каланчами были рассредоточены по всей Москве. Они одновременно выполняли правоохранительную и противопожарную функции. Собственно здание служило в

основном задачам полицейским, а каланча — пожарным.

Каланча была овеяна романтикой. Андрей Белый писал о ней в стихотворении:

Людей оповещает,
Что где-то — там — пожар, —
Медлительно взвивает
В туманы красный шар.

Под каланчами могли бы встречаться влюбленные, если бы не нижние полицейские службы. Точнее говоря, вовсе не романтичные арестантские покои. В частности, здесь, в Сущевской части в разное время содержались такие знаменитости, как игуменья Митрофания (она обвинялась в мошенничестве) и Владимир Владимирович Маяковский. Впрочем, поэт по этому поводу не слишком печалился. Он сообщал своей сестре на волю: «Дорогая Люда… Сижу опять в Сущевке, в камере нас три человека, кормят или, вернее, кормимся очень хорошо».

Для полного счастья юному поэту не хватало только книг и рисовальных принадлежностей. Их-то он и просил передать.

Правда, далеко не все узники этих камер относились к заключению столь философски. Многие пытались выбраться отсюда любыми способами. Раз, например, в газетах появилось вот такое сообщение: «24 февраля в Сущевском полицейском доме трое арестантов, крестьяне Алексей Румянцев, Константин Монахов и Василий Светцов, взломав пол в чулане, спустились через проделанное ими отверстие в выгребную яму, откуда выбрались во двор и скрылись».

Но главное, что именно сотрудники Сущевской части создали прецеденты, ставшие впоследствии серьезнейшими институтами. В частности, в 1911 году купец Николай Алексеев оставил свой автомобиль марки «Бенц» на дороге, перекрыв выход из храма. По окончании службы богомольцы испытывали неудобства при выходе, за что околоточный надзиратель Сущевской полицейской части Дмитрий Быков наложил на нарушителя немалый штраф — видимо, первый в Москве штраф за незаконную парковку.

Здесь же было принято одно из исторических решений — «городового вице-унтер-офицера Егорова за пьянство и буйство во время несения постовой службы посадить на хлеб и воду на две недели, пожарного служителя Коноплева за небрежное и жестокое обращение с лошадью и оскорбление унтер-офицера — наказать

140 ударами розог».

Сейчас подобными вещами ведает целое подразделение — служба собственной безопасности ГУВД.

Здесь же в 1898 году, по приказу обер-полицмейстера за номером 117 была организована первая в городе Станция скорой помощи. В распоряжении врачей была всего одна карета (притом в буквальном смысле, на гужевой тяге), на которой выезжала бригада из трех специалистов — врача, фельдшера и санитара. Правда, вызов принимался только у должностных лиц — у дворника, к примеру, или у ночного сторожа, и только по поводу несчастных случаев на улицах.

Так случилось, что именно этой части было суждено войти в историю сожжением неблагонадежных книг, в том числе и книг нашего героя. Последнее в истории Москвы книжное аутодафе произошло в 1888 году, и это был труд Гиляровского «Трущобные люди». Автор вспоминал: «С заднего двора поднимался дым. Там, около садика, толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. В печи догорала последняя куча бумаги: ее шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи».

После случая с «Трущобными людьми» такие акции сменились банальной переработкой нехороших книг в бумажную бесформенную массу. А наш герой вошел в историю как автор последней из сожженных русских книг.

Правда, он смирился со своей печальной участью не сразу. Поначалу попытался ходатайствовать, интриговать. Поехал в Петербург, в цензурный комитет, наводил справки, подавал прошение. В результате нашего героя принял сам помощник начальника главного управления рассматривания — была в те времена такая должность. Правда, Владимир Алексеевич хотел пойти к самому первому лицу, к начальнику. Но не сложилось.

А с помощником произошел такой диалог:

— Там описание трущоб в самых мрачных тонах, там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде… Бродяги какие-то… Мрак непроглядный…

Н-да-с, молодой человек, так писать нельзя-с… Из ваших хлопот ничего не выйдет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка.

— Там все правда, — сказал Гиляровский.

— Вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя. Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеили… Марки денег стоят-с… Уезжайте в свою Москву.

Кстати, Антон Павлович Чехов, несмотря на дружеское отношение к нашему герою, отзывался о «Трущобных людях»

более чем сдержанно: «Радуюсь за Гиляровского. Это человечина хороший и не без таланта, но литературно необразованный. Ужасно падок до общих мест, жалких слов и трескучих описаний, веруя, что без этих орнаментов не обойдется дело. Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа — это простота и искренность, но быть искренним и простым в своих рассказах он не может: не хватает мужества. Подобен он тем верующим, которые не решаются молиться Богу на русском языке, а не на славянском, хотя и сознают, что русский ближе и к правде, и к сердцу».

Правда, сам Гиляровский отрицал свое стремление к такой «литературщине». Он уверял:

— Мне тогда преступлением казалось что-нибудь приукрасить, заставить человека говорить такие слова, каких я от него не слыхал, мне хотелось передать правду, голую, неприкрашенную правду.

Кто прав? Видимо, оба. Просто начинающий автор подражает неосознанно. И Гиляровский не был исключением.

Но Владимир Алексеевич не очень из-за этого переживал. Ему было не до того — наш герой обдумывал, как бы получше отомстить полиции. И отомстил. Николай Телешов об этом вспоминал: «Он рассердился, что писателю не дают заниматься своим прямым делом, и в ответ открыл контору объявлений и разразился необычайной по тем временам рекламой. Он напечатал величиной в серебряный рубль круглые яркие радужные значки с клеем на обороте и лепил их повсюду, где можно и где нельзя — на стекла знакомых магазинов, на стенные календари в конторах и банках, на пролетке извозчиков, и даже в Кремле, на Царь-пушке и на Царь-колоколе, сверкали эти огненные „объявления“ о конторе объявлений Гиляровского».

А то! Не на того напали.

Впрочем, Телешов не говорит о том, что развеселая «контора объявлений» была обязана своим существованием факту довольно прозаическому и печальному. Книгу-то сожгли, а долг братьям Вернер, издателям, никуда не делся. Разумеется, они не собирались нести материальную ответственность за «маленькую неприятность» Гиляровского. Требовали вернуть расходы на издание — 280 рублей. Пункта же о форс-мажорных обстоятельствах в их договоре не было.

* * *

Между тем потребность попроказничать была и впрямь

потребностью — непреодолимой и неуправляемой. Что с ним ни делай — наш герой любил показывать свою недюжинную силушку в самых неожиданных и необычных ситуациях. Однажды, например, он, будучи в веселом настроении, с большой компанией вышел из ресторана. У дверей стоял извозчик. Гиляровский одной рукой схватился за его пролетку, другой — за фонарный столб и закричал извозчику:

— Погоняй! Погоняй!

Тот принялся погонять, но так и не смог съехать с места — Гиляровский был сильнее лошади.

* * *

В 1890 году Москва отмечала семидесятилетие Николая Ильича Огарева, легендарного московского полицмейстера. Все печатные изданий Первопрестольной опубликовали поздравления с портретом юбиляра. Тогда же Гиляровский начал издавать «Журнал спорта» (поначалу — «Листок спорта»).

Николай Ильич при случае сказал ему:

— Вы, Владимир Алексеевич, в своем журнале даже моего портрета не напечатали.

— Помилуйте, Николай Ильич, да ведь вы не жеребец! — ответил Гиляровский.

* * *

Разумеется, не только Москва интересовала нашего героя. Отождествление Гиляровского с Первопрестольной — заблуждение, следствие сверхпопулярности книги «Москва и москвичи». Тяга к перемене мест всегда была ему присуща, и никакая сила не была способна приковать его к одному городу. Журналистские командировки он любил. Владимир Алексеевич уже был знаменитым и востребованным репортером, мог выбирать себе поездки покомфортнее и по-роскошнее — освещать, к примеру, путешествие царских особ.

Но это сразу же перечеркнуло бы тот имидж, который создавался им на протяжении десятилетий. Все поездки Гиляровского так или иначе были связаны с экстримом.

К примеру, в 1892 году Владимир Алексеевич был командирован «Русскими ведомостями» в Донскую область, «на холеру». Болезнь свирепствовала там со страшной силой, и читатель ждал подробностей, желательно захватывающих.

Гиляровский, знакомый с эпидемией холеры еще по бурлачеству, рассчитывал на милосердие судьбы и в этот раз.

Поначалу так и складывалось. То есть складывалось даже лучше, чем планировалось. В Ростове-на-Дону, в буфете при вокзале, Гиляровский встретил своего приятеля, сотрудничавшего с журналом «Спорт» (для краткости и сам редактор и его знакомые так называли «Листок спорта», он же «Журнал спорта»). Поделился планами: дескать, хочу перемещаться от станицы до станицы, каждый раз арендовав лошадей и возницу с экипажем. Приятель напомнил:

— В тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят… Долго ли до греха…

Завлек к себе в гости на хутор, накормил, напоил и предоставил в полное распоряжение коляску, лошадь и собственного денщика-калмыка. Супруга же приятеля нагоношила в путь гостинцев: «А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным, — а главное, что больше всего пригодилось, — походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо! Была ветчина малосольная, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку».

Но к концу пути Владимир Алексеевич все же почувствовал себя плохо: тошнота, жар, головокружение. Наутро стало еще хуже. Он пожаловался денщику-калмыку. Тот же сохранял полнейшее спокойствие:

— Это ничего — пропотеть, и все пройдет… Напьемся чайку напополам с вином… А потом наденем на себя бурку, да наметом, наметом, пока скрозь не промокнем, — и всякая боль пройдет! К Черкасску здоровы будем!

Удивительно, но через полчаса подобных процедур Владимир Алексеевич действительно почувствовал себя здоровым.

Вряд ли подействовала эксклюзивная методика калмыка. Если бы все было так просто, никакая эпидемия была бы не страшна — знай только скачи себе в бурке. Видимо, решающую роль сыграло богатырское здоровье Гиляровского. Но он верил в то, что излечил его загадочный калмык. Всем подряд рассказывал эту волшебную историю и все-таки добился своего. «Петербургский листок» решил поместить небольшую заметку: «Редактор журнала „Спорт“ В. А. Гиляровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством: на лошади сделал десять верст галопа по скаковому кругу — и болезнь как рукой сняло».

И Гиляровскому — реклама, и журналу «Спорт». Поди плохо.

Правда, в последний момент власти запретили помещать репортаж о холере. Но заметки репортера не пропали даром —

впоследствии он опубликовал их в сборнике «Москва газетная». Восторженные читатели (особенно читательницы), затаив дыхание, впитывали каждое слово: «Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса — и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось — случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто…

В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому, проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили.

Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи, среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих».

Можно сказать, что командировка была полностью «отбита».

* * *

Тогда же, путешествуя по Дону, Владимир Гиляровский встретился с одним учителем, который интересовался Степаном Разиным. Надо сказать, что наш герой тоже испытывал к повстанцу уважение и даже посвятил ему поэму:

Мечтал приехать атаман
Низовой вольницы! Со славой,
С победой думал он войти,
Не к плахе грозной и кровавой
Мечтал он голову нести!
Не зная неудач и страха,
Не охладивши сердца жар,
Мечтал он сам вести на плаху
Дьяков московских и бояр.
Мечтал, а сделалось другое,
Как вора, Разина везут,
И перед ним встает былое,
Картины прошлого бегут…

Если верить Гиляровскому, учитель растрогался и произнес:

— Превосходно! Это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о Разине.

И указал на неточность: Владимир Алексеевич писал в поэме, что Разина на Красной площади казнили, а на самом деле — на Болотной. Гиляровский следовал официальной версии, а она, на самом деле, не верна. Во всяком случае, донские устные предания указывают на Болото (ныне там парк и памятник художнику И. Репину).

Возвратясь в Москву, Гиляровский сверился с архивами, которые подтвердили версию станичного учителя. После чего Владимир Алексеевич стал всем рассказывать о том, что он сделал открытие — установил место, где был четвертован Степан Разин.

Впрочем, осуждать его не стоит. С учителя за это не убудет, а слава краеведа-первооткрывателя придется нашему герою очень даже кстати.

* * *

В 1894 году у Гиляровского вышла книга стихов «Забытая тетрадь» — первая в жизни, если не считать сожженную в Сущевской части. Книга выдержала два издания — в 1896 и 1901 годах.

Выпустить первый сборник для поэта — эпохальное событие. Гиляровский с этим делом явно запоздал — ему уже было под сорок. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. 1894 год прошел для него под знаком «Забытой тетради».

Глава 7.
Король репортеров

К середине 1890-х годов Гиляровский был уже маститым писателем, респектабельным господином. Обзавелся не только квартирой, но и прислугой, а также держал секретаря-курьера. Как работодатель он был щедр и либерален. Когда к секретарю Ване Угаркину явился в гости его друг Коля Морозов, между ними (а ведь это были всего-навсего четырнадцатилетние мальчишки, отданные из деревни «в город», «в люди») состоялся такой диалог:

— Живем хорошо, чувствуем себя как дома… — хвастался Ваня. — Как есть дома. Работу начинаем в десять, кончаем в шесть. В праздник не работаем вовсе.

— А я, брат, трублю восемнадцать часов в сутки — с шести до двенадцати ночи, а в праздники у нас самая шибкая торговля, — сетовал Коля.

Тут появился сам хозяин. Коля так описывал его явление: «Вдруг в коридоре раздается грохот, хлопанье дверей, слышатся быстрые шаги, удары каблуков о половицы, и вот дверь комнаты, где мы сидели, отбрасывается, будто сорванная с петель, и на пороге появляется человек, которому, казалось, в коридоре узко, в дверях тесно, в комнате мало простора.

Я понял, что это и есть Гиляровский. Оробел от неожиданности. При его появлении я встал, как меня учили. Мне бросились в глаза лихая повадка писателя и удаль в быстрых движениях. Приковывали внимание его казацкие усы, необыкновенный взгляд — быстрый, сильный и немного строгий, сердитый. Он мне представился атаманом, Тарасом Бульбой, о котором я еще в школе читал в книге Гоголя.

Ворот рубахи у него был расстегнут, могучая, высокая грудь полуоголена. Видно, он зашел к моему товарищу по какому-то делу».

— Какой у тебя хозяин-то… — протянул Коля Морозов, когда Гиляровский ушел. — Должно быть, строгий, свирепый. Уж очень у него вид-то… А?

— Не-е-е… — сказал Ваня Угаркин. — Он бознать какой хороший. Не взыскательный, страсть добрый.

Тут Гиляровский появился вновь и обратился к Морозову:

— Шапка у тебя, я вижу, износилась, на-ка вот надень. И протянул гостю новехонькую шапку. А в следующем, 1897 году Угаркина отправили в деревню, и на его место заступил Морозов.

Чем-то приглянулся Гиляровскому этот мальчуган. Мало того, что Владимир Алексеевич взял Колю на выгодное место, — он еще старался образовывать мальчишку. Давал, к примеру, читать книги, а потом расспрашивал:

— «Власть тьмы» прочитал? Что скажешь?

Преподносил «азы» и репортерства, и вообще житейской мудрости. К примеру:

— Звонил библиофил Аркадьев. Он вчера был у меня и забыл книгу, просит прислать ему сейчас в «Славянский базар». Прошу тебя поехать, кстати, познакомишься с ним, тебе это надо.

— Я готов, но не знаю его, — отвечал секретарь.

И спохватывался — ведь Владимир Алексеевич накрепко запретил ему употреблять слово «не знаю». Приговаривал:

— Толстого всякий найдет, его знает весь мир, ты отыщи такого человека, который в адресном столе не прописан.

Морозов быстро исправлялся:

— Скажите приметы Аркадьева.

— Правильно ставишь вопрос, — хвалил секретаря Гиляровский. — Вот какие его приметы: если посмотришь на него в профиль — он Наполеон, а со спины — похож на сивого мерина. Валяй, теперь найдешь.

И Коля приступал к заданию: «Начинаю всматриваться в сидящих за столами. В массе посетителей нелегко найти библиофила, хотя он и не обижен характерными приметами. Стою и думаю, раз Аркадьев не москвич, — значит, он не может сидеть за столом в компании, скорей всего он один. Это уже облегчает поиски. Разглядываю одиночек, но и их оказалось немало. Походив некоторое время, осмотревшись тщательно, остановил, наконец, взгляд на одном из посетителей, уткнувшемся лицом в тарелку. В профиль он обнадеживал, а когда поднял голову, я обратил внимание на его чистенький, изящно выточенный нос, чуть-чуть гнущийся к верхней губе; брови, посадка глаз будто наполеоновские, но ведь, блеснуло шутливое, я не был знаком с Бонапартом, а портреты не все одинаковые. У этого обозреваемого объекта не хватало главной наполеоновской приметы — пряди волос, клином сползающей на широкий лоб. Захожу со стороны спины. Не всякий скажет, что этот человек похож на сивого мерина. Смело иду к столу.

— Извините, вы будете библиофил Аркадьев?

Я передал ему книгу. Поблагодарив, он пригласил к столу на глоток вина. Присаживаюсь. Говорим о Москве, о новых книгах. Скоро он рассчитался с официантом, и мы вышли из ресторана».

Гиляровский не ошибся в своем протеже. В. Лобанов писал: «Светловолосый шатен с умными глазами, Морозов быстро

освоился в Столешниках, которые стали для него родным домом, начал жадно поглощать книги. Он фанатически, неотступно следовал за Гиляровским, был крепко к нему привязан, выполнял его поручения и очень скоро стал числиться его „личным секретарем“.

Николай Иванович Морозов быстро сдружился с членами семьи Гиляровского, особенно с дочерью писателя Надюшей, тогда гимназисткой первой женской гимназии на Страстной площади. Он стал в семье нужнейшим, необходимейшим человеком. Стремительный, собранный, он выполнял самые различные поручения Владимира Алексеевича, Николай Иванович всегда был готов сделать то, что нужно было в данный момент Гиляровскому, — ехал по делам в редакции, отправлялся на окраину Москвы для расследования какого-нибудь запутанного события, помогал в беседе с неожиданно вторгшимся посетителем.

Коля Морозов всегда был готов сопровождать его. Он никогда не спрашивал: „Куда?“, а только говорил: „Я готов!“ — и отправлялся с Владимиром Алексеевичем в любую поездку: в подмосковные места для изучения легендарных похождений разбойника Чуркина или для обследования мест, где пронесся страшный ураган 1904 года, на „мокрое“ дело на Хитровом рынке, на репетицию в Художественный театр, на беседу с Вл.И. Немировичем-Данченко или с К.С. Станиславским».

Мемуарист несколько заблуждался — Чуркиным Владимир Алексеевич был занят задолго до знакомства со своим секретарем. Однако же, по сути, он был абсолютно прав.

Коля, впоследствии Николай Иванович, долго служил Гиляровскому верой и правдой, затем стал ему истинным другом, пробыл вместе с ним до самой смерти своего работодателя, а затем написал книгу воспоминаний «Сорок лет с Гиляровским».

* * *

Владимир Алексеевич, как только обосновался в собственной квартире, сразу провел телефон. Для человека, профессией которого является работа с информацией, это изобретение человечества было как нельзя кстати. Тем более что к тому времени телефонизация Москвы шла полным ходом, и аппарат с ручкой и трубкой перестал восприниматься как экзотика.

Правда, качество связи оставляло желать лучшего. И Владимир Алексеевич, ясное дело, разразился на сей счет фельетоном:

«— Что? Кто говорит?

— Примите холерного больного.

— Да вы куда звоните?

— В больницу звоню… Сейчас привозим…

Кладу трубку. Через 5 минут новый звонок:

— Пришлите четыре ведра пильзенского пива.

— Куда вы звоните?

— В хамовнический склад… Так четыре ведра пильзенского, в портерную, к Кулуцким.

— Ладно!

Кладу трубку. Через 10 минут:

— Швейцар Федор? Ты?

Молчу.

— Федька!

Мычу:

— Мм-м…

— Федька! Вызови из седьмого номера Маргаритку, скажи, чтобы оделась почище и ехала к нам… Гости приехали…

— Ладно!

И… едва положил трубку, как снова трескучий звонок:

— Сейчас взвод присылайте к Тверской заставе…

— Что?

— Кто? Жандармский дивизион? На рысях, к заставе, сию минуту!

— Ладно!

Что же больше остается делать московскому телефонному абоненту, когда то и дело его тревожат понапрасну по телефону? За последнее время эти ошибки соединений участились до крайности. Чем это объяснить? Нервозностью ли века, неумением ли ясно называть цифры номера или телефонными порядками плюс летняя рассеянность телефонных барышень — но это существует и учащается!

И, кроме всего этого, какая-то медлительность: звонишь — не дозвонишься. Вообще на телефонах что-то все не то!

— Чу! Опять звонок.

Подхожу, обозленный уже.

— Что угодно?

— Когда отец Восторгов вернутся?

— Завтра, в 11 часов ночи, с экстренным поездом курской дороги! Завтра!.. — отвечаю, бросая трубку.

Посмотрим, будет ли встреча!»

Что ж, такие шуточки и впрямь были в характере известного московского чудилы.

* * *

Ходить по Москве с Гиляровским был тот еще аттракцион. Николай Морозов писал об одном таком случае: «Выходим на улицу. Он раскланивается со знакомыми. По той стороне переулка идет седой, но еще бодрый высокий генерал. Поравнявшись с нами и увидев писателя, генерал изящно отдал ему честь, Гиляровский в ответ поднял шляпу.

— Знаешь, кто это?

— Нет, — отвечаю.

— Сын Пушкина — Александр Александрович.

Я удивлен: Пушкин родился при Павле, давно это было, какие же сыновья? Должны быть только праправнуки. Но, сообразив, понял свою ошибку: в таком возрасте может быть и сын.

— Какую он занимает должность?

— Бронницкий предводитель дворянства.

Со вниманием оглядываю удаляющегося генерала, его немного сутулую фигуру, белый китель, красные лампасы.

Садимся на извозчика. На углу Столешникова городовой отдает честь. Поворачиваем на Петровку, здесь сутолока, масса экипажей. Заглядевшись на что-то, слышу громкий бас:

— Гиляй!..

Оглянулся, вижу, со стороны Большого театра мчится на рысаке Ф.И. Шаляпин. Он в черном берете, в черной безрукавной накидке, сверкает на солнце его белоснежная сорочка. Снимать берет для поклона неудобно, он салютует Гиляю поднятием руки. Тот, срывая шляпу, зычно кричит по-украински:

— Хай живе!..»

Ощущение такое, будто он и вправду состоял в приятелях со всей Москвой.

* * *

Владимир Алексеевич очень гордился, если не сказать, кичился собственной известностью. А иногда использовал ее в своих расследованиях. Вот, например, один из его текстов: «Дежурные околоточные бросили все дела и заняты только составлением протоколов на пассажиров трамваев.

Городовых на постах почти нет, потому что они занимаются только тем, что водят в участок пассажиров трамваев по требованию кондукторов.

Вчера такой случай. В 5 часов вечера самым тихим ходом, ожидая вереницу переезжающих экипажей, движется вагон

трамвая по Страстной площади. На площадке стоит, облокотясь на перила, молодой кондуктор №553, мечтательно смотрит вверх и, запустив палец в ноздрю, по-видимому, наслаждается, забыв обо всем в мире. Погруженный в мечты, он видит, что на незапертую платформу еле двигающегося вагона входит пассажир.

— Нельзя на ходу, куда лезешь! — орет кондуктор, и его рука, вынутая из носа, очутилась на лице входившего пассажира.

— Будьте осторожнее, — говорит пассажир и проходит в вагон, наполовину пустой.

Кондуктор дает звонок и, ничего не говоря, бежит за городовым, которого приводит с поста, и, указывая на вошедшего пассажира, говорит:

— Отправить его в участок: на ходу вошедши.

И вручает вырванный из книжки препроводительный листок, а потом кричит городовому:

— Эй, ты, стой, какой у тебя нумер? Я записать должон.

Кругом вагона собирается толпа, среди которых у задержанного пассажира находится много знакомых. Общий смех. Его ведут в участок, но встретившийся по дороге пристав освобождает меня (этот пассажир был я!) от путешествия „для удостоверения занятия“ как известное лицо.

В противоположном случае путешествие в участок было бы неизбежно, а если бы почему-либо у дежурного околоточного явилось сомнение в личности представленного пассажира, то ему пришлось бы посидеть за решеткою в каталажке и прогуляться с городовым через всю Москву, чтобы удостовериться».

И не понятно, чего же здесь больше — возмущения несправедливым отношением к согражданам, что «на ходу вошедши», или гордости от сознания собственной значимости. Дескать, меня-то в каталажку запросто не загребешь, я человек известный.

И трогательный восклицательный знак после слов «этот пассажир был я».

* * *

В 1896 году Владимир Алексеевич все-таки выпустил книгу, посвященную обратной стороне жизни Первопрестольной. Она называется просто — «Московские нищие» и представляет собой, по сути говоря, шестнадцатистраничную брошюру. Но и это — успех.

И в том же году Гиляровский пишет, пожалуй, самый свой

сенсационный репортаж. 18 мая произошло одно из самых печальных массовых празднеств Москвы — так называемая Ходынская катастрофа.

Поводом для торжества послужила коронация императора Николая Второго. На ней обещали раздавать сувениры. Народ стал собираться еще за сутки. Семьями располагались на траве, пили вино, лакомились конфетами, играли на балалайках. Словом, веселились.

А на следующий день двинулись к специальным павильонам за подарками. Федор Сологуб писал об этом в своей повести «В толпе»: «Было тесно и душно, хотелось выбраться из толпы, на простор, вздохнуть всей грудью. Но не могли выбраться. Запутались в толпе, темной и безликой. Уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по воле туда или сюда. Приходилось двигаться вместе с толпой — и тяжки, и медленны были движения толпы».

Народ все прибывал, и началась страшная давка. В буквальном смысле слова, смертельная.

В Ходынской катастрофе принято обвинять императора. Но он был по-своему честен. Содержание бесплатного сувенира объявили заранее. В него входили эмалированная кружка, булка, кусочек колбасы, горсть леденцов и пять орехов.

По официальным данным, в борьбе за этот более чем скромный сувенир погибло 1389 человек. В газетах назывались несколько иные цифры — от 4 до 5 тысяч. Всего же на Ходынке собралось полмиллиона — людей далеко не нищих и, во всяком случае, способных позволить себе и вино, и булку, и конфеты. Они пришли сюда ради подарка, ради праздника.

Разве мог император предвидеть, сколько будет любителей дармовых кружек?

Но наш герой подобного исхода даже не предвидел. Он заранее приехал на Ходынку и вместе со всеми восхищался широкомасштабностью приготовлений: «Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешанными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд бараков с бочками для пива и меда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого М.В. Лентовского и актера Форкатия и, наконец, главный соблазн — сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружек» (содержимое подарков излагается в разных источниках по-разному — вероятно, строгого стандарта не существовало. — *А.М.*).

На поле уже занимали очередь желающие получить подарок — потому что погода хорошая, потому что дома делать нечего, потому что хочется скорее на праздник. Грелись у костров. Поглядывали на нарядненькие будочки, в которых были приготовлены подарки. Настроение у всех было приподнятое.

«Поле было все полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая. Ходили мороженщики, разносчики со сластями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошадью — это подгородные гости. Шум, говор, песни. Веселье вовсю».

У Гиляровского — тоже настроение распрекрасное. Расхаживает гоголем, здоровается с разным людом — еще б, вся Москва в знакомцах. Обдумывает репортаж. И обнаруживает вдруг пропажу табакерки-талисмана, подаренной еще в юности отцом. Выбрался из рва (а местность здесь была пересеченная, вся в рытвинах и ямах) и пошел к ипподрому — искать свою драгоценную пропажу.

Вот тут-то все и началось. И ужас был настолько сильным, что даже наш герой оставил свою браваду: «Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то… Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги его на весу, не чуют земли… Вот она, смерть неминучая! И какая!

Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на есть, — все-таки жизнь. Может быть,

предсмертная борьба, а здесь — тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец повернулся. За мной возвышалось полотно той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих…

Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.

Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидал только крыши будок, и вдруг одна куда-то исчезла, с другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали: „Дают!.. давай!.. дают!..“ — и опять повторяется: „Ой, убили, ой, смерть пришла!..“»

Выбравшись из толпы, Владимир Алексеевич рухнул на землю, долго лежал без движения, ел траву — утолял жажду. А потом нащупал табакерку — она, оказывается, все это время была в заднем кармане брюк, он ее просто не нашел.

Была ли, нет ли — не узнаем никогда. Наш герой запросто мог ее придумать — просто так, ради придания своему рассказу драматичности. И, как всегда, Владимир Алексеевич добился своей цели. А на следующий день «Русские ведомости» опубликовали его подробный репортаж, даже со схемой места происшествия.

Естественно, тираж арестовали, до читателей дошла микроскопическая его часть. А наш герой вновь оправдал свой имидж отважного, удачливого и протестного «короля репортеров».

Что же касается табакерки, Владимир Алексеевич вообще создал из нее своего рода культ. Он посвятил ей рассказ под названием «Моя табакерка» и начал его с таких слов: «Если бы моя табакерка могла рассказать все, чему она была свидетелем, — это была бы история эпох.

Кто из нее не нюхал! Все классы и нации. В разных краях России и за границей. И в мирное, и в военное время. И во время холерных бунтов, и на гуляньях в роскошных парках, на баррикадах и в окопах. Нюхали боевые генералы на позициях, нюхали дружинники на пресненских баррикадах. Перед табакеркой были все равны. Ни чинов, ни рангов, ни классов, ни

пола, ни возраста».

Эту табакерку отец подарил Гиляровскому с напутствием: «Береги ее, она счастливая». И, по утверждению Владимира Алексеевича, она неоднократно спасала ему жизнь. Один раз — на Ходынском поле.

* * *

Заметка «Катастрофа на Ходынском поле» («Русские ведомости», 20 мая 1896 года) — главная сенсация «дяди Гиляя». Можно сказать, пик его репортерской карьеры. А потому стоит ее привести в этой книге.

«Причину катастрофы выяснит следствие, которое уже начато и ведется. Пока же я ограничусь описанием всего виденного мной и теми достоверными сведениями, которые мне удалось получить от очевидцев. Начинаю с описания местности, где произошла катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений, безусловно, увеличило количество жертв. Они построены так: шагах в ста от шоссе, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов соединены одной крышей, имея между собой полтораршинный суживающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать народ на гулянье со стороны Москвы именно через эти проходы, вручив каждому из гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам, со стороны Москвы, то есть откуда ожидался народ, тянется сначала от шоссе глубокая, с обрывистыми краями и аршинным валом, канава, переходящая против первых буфетов в широкий, сажен до 30, ров — бывший карьер, где брали песок и глину. Ров, глубиной местами около двух сажен, имеет крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля. Однако вышло не так: народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться еще накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами,

начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. На более гладких местах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все прибывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва и высокий вал. К трем часам все стояли на занятых ими местах, все более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, — полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей — подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты пронесли в большой № 1-й театр, где находился г. Форкатти и доктора Анриков и Рамм.

Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около трех часов доставили мальчика, который, благодаря попечению докторов, только к полудню второго дня пришел в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это толпа

требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули «раздают», и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух… Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны… Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входивших снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более десяти мучительнейших минут… Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили еще работы.

Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам, и от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом гулянье не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы разыскать погибших родных. Явились власти. Груды тел начали разбирать, отделяя мертвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приемные покои; трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платье разорванном и промокшем насквозь, они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскавших своих, не поддавались описанию… По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на погребение… А тем временем все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили десятками трупы в город. Приемные покои и больницы переполнились ранеными. Часовни при полицейских домах и больницах и сараи — трупами. Весь день шла уборка. Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних буфетов. Колодец этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в колодец один спасен был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно далеко от места катастрофы. Это раненые, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу, в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, по шоссе, везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа».

Все деловито, лаконично, образно. И ни слова о том, кто

виновен в трагедии. Ни полуслова в упрек генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу, которого молва обвиняла в ходынском убийстве и который получил за это кличку «князь Ходынский». Тем паче царю Николаю Второму, который повел себя более чем неприлично. Вечером, когда последствия Ходынки уже были известны, Николай танцевал на балу во французском посольстве. К этому событию курьерским поездом было доставлено 100 тысяч провансальских роз. Траур не объявляли.

Но Гиляровский об этом молчал. Рисковать карьерой, более того, свободой в его планы не входило.

* * *

Удивительно, что при своей общественной позиции Владимир Алексеевич сам издавал и редактировал не большевистское подпольное издание, а совершенно безобидный журнал «Спорт» — о лошадях. Редакция располагалась на квартире Гиляровского. Кроме самого издателя (он же редактор) там находился всего один штатный сотрудник — некто В.В. Генерозов, ответственный секретарь. Он-то и принимал посетителей, и работал с корреспонденцией, и формировал номера, и делал все остальное.

Впоследствии же появился С.С. Ворошилов — главный и единственный художник. Его появлению предшествовало разрешение — сделать издание иллюстрированным. Долго добивался этого Владимир Алексеевич. В конце концов добился, и в Столешники пришло долгожданное письмо: «Согласно ходатайству г. Министр внутренних дел разрешает названному изданию в дни бегов и скачек помещать в газете рисунки, относящиеся к спорту, как то: лошадей, собак и проч.».

Кстати, именно в этом журнале состоялось два дебюта двух российских знаменитостей. Яков Брюсов, будучи еще гимназистом, опубликовал здесь небольшой отчет о скачках, а Николай Телешов — свой первый рассказ «Тройка».

Так что Владимир Алексеевич — можно сказать, крестный отец двух этих талантливых русских литераторов.

Гиляровский и из этого, казалось бы, сугубо специфического и далекого от политических страстей журнала умудрялся выжать максимум для собственного имиджа. Однажды, например, направил гранки новенького номера в цензурный комитет, а сам, не дожидаясь результата, отослал номер в типографию и сразу же уехал из Москвы. Владимир Алексеевич не сомневался: все будет

в порядке. Действительно, какая может быть крамола в лошадях?

Однако же он заблуждался. Цензура номер завернула, вымарав всего одно словечко. Но какое! Во фразе «Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все-таки не подавалась вперед». Именно слово «казенная» требовалось упразднить.

По приезде Гиляровского сразу же вызвали в цензурный комитет. Председатель комитета, некто В.В. Назаревский, предпочел держаться отстраненно: дескать, как цензор решит, так и будет. И, между делом, обмолвился:

— А знаете, в чьем доме мы теперь с вами беседуем?

— Не знаю, — признался опальный редактор.

— Это дом Герцена, — похвастался Назаревский. — Этот сад, который виден из окон, — его сад, и мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи.

— Бывает! — сказал Гиляровский. Взял со стола карандаш, лист бумаги и написал:

Как изменился белый свет!
Где Герцен сам в минуты гнева
Порой писал царям ответ, —
Теперь цензурный комитет
Крестит направо и налево!..

Назаревский все это прочел и заявил:

— Это прекрасно, но… вы написали на казенной бумаге.

— Уж извините, — сказал Гиляровский. — Значит — последовательность. Слово «казенная» не дает мне покоя. Из-за «казенной» лошади я попал сюда и испортил «казенную» бумагу…

— Вы так хорошо испортили «казенную» бумагу, что и «казенную» лошадь можно за это простить, — ответил Назаревский. — Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем. Я поговорю с цензором, а эти строчки я оставлю себе на память.

Так, благодаря авантюризму и умению складно складывать экспромты, Гиляровский сэкономил уйму денег, которые потребовались бы для переиздания номера журнала.

Кстати, как журналистский менеджер Владимир Алексеевич был предприимчив и смышлен. Еще в начале «конного» проекта, когда журнал «Спорт» был всего-навсего газетой «Листок спорта», наш герой придумал замечательную тактику поиска авторов. Николай Телешов писал: «У него не было просто „знакомых“, у него были только „приятели“. Всегда и со всеми он был на „ты“. В

течение нескольких лет издавал он газету „Листок спорта“, где, между прочим, удачно предсказывал накануне бегов и скачек, какие лошади должны завтра взять призы на состязаниях, за что и носил одно время прозвище „Лошадиный Брюс“. В этом „Листке спорта“ мало-помалу переучаствовали почти все его приятели-беллетристы; даже и я, не причастный ни в какой мере к спорту, напечатал у него в газете рассказ о петушиных боях, на которые нарочно для этого ходил смотреть в один из грязных замоскворецких трактиров».

Чего-чего, а уговаривать Владимир Алексеевич умел.

Впрочем, не всегда Владимир Алексеевич мог отстоять очередной номер журнала. Тем более что скачки, по его же собственным словам, превратились из экзамена для лошади, как будущего производителя жеребят, в сугубо коммерческое предприятие, в котором сама лошадь была только инструментом. А там, где большие деньги, — разумеется, большие взятки. «Конный спорт перестал быть честным, а коннозаводство разумным», — считал Гиляровский.

По его мнению, деньги влияли и на решения цензуры. Он писал своему цензору С.В. Залетову: «Уважаемый Сергей Васильевич! Если можно было сделать что-нибудь мне самое гадкое, то это сделали мне Вы! Я… обвиняю Российскую бюрократию. Из-за подлого тайного циркуляра — защитника тотализаторских мошенников — мне опять испортили номер, статья Соколова Вами отложена… Вечная защита всех воров, вечная защита разных административных проходимцев, знакомства, петербургские связи, укрывательство всего бесчестного, стеснение печати — вот что губит. И Главное управление печати, то есть чиновники его, главные виновники укрывательства. Молчать не могу… дела трудные, а тут еще эта неприятность с номером!.. Я виню подлый, существующий тайно циркулярный порядок. Будь он проклят! Как русский человек это говорю… и плачу!»

В результате журнал закрылся. По мнению издателя, в нем больше не было никакого смысла.

* * *

Владимир Алексеевич подчас ходил, что называется, по лезвию ножа. Чего стоит один лишь экспромт, посвященный пьесе Льва Толстого «Власть тьмы»:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

Ясное дело, что той самой «тьме», которая была у власти, это не могло понравиться.

В другой раз, когда в процессе преобразования полиции квартальных надзирателей переименовали в участковые приставы, и те, прочувствовав важность момента, ощутимо увеличили свои и без того бессовестные взятки, Гиляровский написал для «Будильника» четверостишие:

Квартальный был — стал участковый,
А в общем та же благодать:
Несли квартальному целковый,
А участковому дай — пять.

Наивные сотрудники редакции поставили четверостишие в номер и направили его в цензурный комитет. В результате получили нагоняй: «Это уж не либерально, а мерзко».

Однажды карикатурист М. Чемоданов опубликовал в журнале «Свет и тени» свой рисунок с подписью: «Наше оружие для разрешения современных вопросов». Он изобразил пару чернильниц с перьями, в которых, при более тщательном разглядывании, ясно угадывалась виселица. Журнал, естественно, закрыли, цензора, пропустившего крамольное произведение, уволили, издатель был разорен и вскоре умер в нищете.

Гиляровскому же — хоть бы хны. Несет в «Будильник» новое стихотворение под названием «Ребенок», посвященное уволенному цензору:

…Привыкай к пеленанью, мой милый,
Привыкай, не шутя говорю,
Подрастешь да исполнишься силой,
Так и мысль спеленают твою.

Прямого посвящения, конечно, не было, однако цензор,

получив гранки «Будильника», вернул их со словами: «Вы хотите, чтобы и меня уволили со службы?»

Гиляровский писал и более язвительные стихи. Например, вот такое:

Царь наш, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть министр преподнесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

Конечно, это восьмистишие ходило только в списках — публиковать его никто и не пытался.

Кстати, Владимир Алексеевич ни разу не пострадал всерьез за свои «шуточки». Видимо, чувствовал грань, через которую нельзя переходить. Ценное качество для либерального журналиста, не желающего уходить в диссидентство. К тому же он водил дружбу со «всей Москвой», в том числе с цензорами. Опять-таки полезные знакомства.

* * *

В 1896 году в жизни дяди Гиляя произошло знаменательное и яркое событие. Его десятилетняя дочка Надя написала перевод лондонской хроники спортивной жизни. Владимир Алексеевич опубликовал ее в своем журнале и подарил его дочери с дарственной надписью: «Моей милой сотруднице „Листка спорта“ Надюше на память о ее первой журнальной работе 8 октября 1896 года».

Наш герой не мог даже и мысли допустить о том, что его дочь займется чем-нибудь, кроме журналистики и литературы.

И Надежда оправдала надежды отца, со временем она стала уважаемым человеком — журналистом и переводчиком Надеждой Владимировной Лобановой-Гиляровской. Свободно говорила на трех иностранных языках — русском, немецком и французском. Хорошо декламировала стихи. И сама их писала. По окончании Московского университета ей предложили остаться там для дальнейшей работы — получить степень магистра и преподавать

старофранцузский язык. Но Надежда Владимировна не польстилась на научную карьеру — она хотела, как и горячо любимый и безмерно уважаемый отец, стать журналистом.

Что ж, ее мечта сбылась — Надежда Владимировна сделалась весьма компетентным театральным критиком. Но ей, как и нашему герою, было тесно в одном жанре. Она писала о литературе, живописи и других искусствах. Часто бывала за границей — в Германии, во Франции, откуда отправляла интересные корреспонденции. Писала очерки о знаменитостях — Тарасе Шевченко, Владимире Одоевском, Всеволоде Гаршине, Анне Ахматовой.

И постоянно, нравилось ей это или нет, над дочерью висел ореол отца. Она была не просто Надеждой Владимировной — она была «той самой Надеждой Владимировной, которая…».

Художник Филонов писал в дневнике: «Капитанова по телефону сказала, что член комиссии по приему картин для Реввоенсовета Лобанов хочет меня видеть. Он хочет иметь мою биографию, чтобы издать ее. Обработаю ее я или его жена, дочь поэта Гиляровского. Я согласился и условился с ней, что она приедет завтра».

И он был такой не один.

Скончалась Надежда Владимировна в 1966 году, прожив долгую, интересную и, пожалуй, счастливую жизнь.

* * *

Кстати, Владимир Алексеевич был не только усердным писателем, но и читателем. Список изданий, на которые он был подписан, поражает. «Русские ведомости», «Московские ведомости», «Московский листок», «Новости дня», «Русский листок», «Московский вестник», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Петербургская газета», «Свет», «Биржевые ведомости», «Финансовый вестник», «Одесские новости», «Одесский листок», «Киевлянин», «Казанский телеграф», «Прибалтийский край», «Волгарь», «Туркестанские ведомости», «Северный Кавказ», «Варшавский дневник», «Виленский дневник», «Амурская газета». И это еще далеко не полный список.

Впрочем, нам не впервой удивляться работоспособности и энергичности «короля репортеров».

Для отдохновения же перечитывал классиков — Гоголя, Лермонтова и Пушкина. На первом месте у него стоял именно Гоголь. Гиляровский говаривал: «Когда мне нечего читать, я

опять, опять и опять читаю Гоголя, и снова читаю, и читать буду».

* * *

В 1898 году Владимир Алексеевич отправился на Украину. Никакой сенсации там не было — ни убийств, ни катастроф, ни ураганов. Да и поднадоели они нашему герою. Душа требовала вечного, прекрасного. И цель поездки заключалась в том, чтобы посетить гоголевские места и, если повезет, побеседовать с его состарившимися знакомыми.

Собственно краеведением назвать это нельзя — исследовательская часть сведена к минимуму, а именно к опросу старожилов. Никаких хранилищ, никаких музеев, никаких библиотек. Разве что местные архивы, да и то в них рылся не Владимир Алексеевич, а многочисленные консультанты и сопровождающие. Скучновато это было нашему герою. У него — эстетика иная: «Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчала меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где целиком, с натуры были списаны действующие лица „Ревизора“».

Между прочим, удалось найти некую Ольгу Королеву, лично знавшую писателя. Та пригласила гостя к столу, уставленному наливками, и приговаривала:

— Разве теперь у нас в Малороссии живут? Да разве так было прежде? А вы удивляетесь на наливки? Чего-чего, бывало, на стол-то не наставят! Да и водки-то какие были, все перегонные: и на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от семидесяти болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пили-то разве так? Пили и никаких катаров не знали!

— А вы, Ольга Захаровна, помните Гоголя? — пытался вывести в нужное русло разговор Владимир Алексеевич.

— Эге ж! — ответствовала бабка Королева. — Часто и я у них в Яновщине бывала, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его! Бывало, принарядится — так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую! А кто тогда думал! Смирный, тихий был. Сядет за стол, бывало, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет да и взглянет. А если кому что скажет — как ножом обрежет! Вот с парубками да дивчатами — другой совсем, веселый, песни поет».

Владимир Алексеевич старательно записывал рассказ

старушки. Задавал вопросы:

— Не помните, не говорили вам, какого числа он родился? Любили здесь Гоголя после того, как его произведения появились в печати? А вы помните тех лиц, с кого он писал?

Старушка отвечала: не помню; да, любили, но не все; городничий списан с городничего, а почтмейстер — с почтмейстера.

И никаких сенсаций. Однако эта неспешная исследовательская деятельность вдруг увлекла нашего героя. Может быть, он к тому времени пресытился московской суетой, потребовалось взять тайм-аут. Так или иначе, домой не стремился, слал открытки в Столешники: «По Гоголю работаю! Интересного немало! Сегодня в Кибицы, где живал Гоголь. Исписал две книжки начерно. Работы интересной много предстоит. Дома буду тогда, когда мне минет сорок шесть, то есть двадцать шестого ноября утром или в шесть часов вечера».

Слал приглашения друзьям, к примеру, Федору Шаляпину: «Федя, милый! Двадцать шестого приходи есть сало, украинские колбаски и пить сливяночку с хутора близ Диканьки. Жду двадцать шестого с семи вечера до часу ночи. Мне будет 26-го — 46! Справим молодость!»

А приехав в Москву на пару-тройку дней, когда без этого совсем было не обойтись, вновь отправлялся на Украину. Явно затянуло.

Очерк Гиляровского о Гоголе был издан лишь в 1934 году. По материалам той поездки наш герой всего лишь выступил с докладом в Обществе любителей российской словесности, которое издало его в виде скромной брошюры, да и то лишь в 1902 году.

Но главное — не это. Гиляровский отдохнул, стряхнул с себя московские заботы, напрочь позабыл о них. И мог с новыми силами приступать к репортерской работе.

Наш герой все больше интересовался прошлым. Не удивительно — шли годы, он взрослел, мужал, начал стареть. Бродить по злачным кабакам было уже скучновато, а общение с деятелями культуры сослужило свою службу — Гиляровский стал действительно интеллигентом. Да и интерес к истории ощутимо возрос.

В 1899 году он провел свое очередное журналистское расследование исторического плана. Россия праздновала столетие со дня рождения Пушкина. Гиляровский, пользуясь своими связями в разных кругах и опросив множество информаторов, узнал, что до сих пор, оказывается, жива одна из близких знакомых великого поэта, В. Нащокина, вдова его друга.

Он разыскал старушку, взял у нее интервью, которое и начал в своем духе: «Я сейчас имел счастье целовать ту руку, которую целовал Александр Сергеевич Пушкин».

Вот с кем он поставил себя в один ряд.

* * *

Тогда же, в 1899 году Владимир Алексеевич отправился в заграничную командировку. В Петербурге появилась новая газета под названием «Россия», и ее сотрудники нижайше попросили Гиляровского о сенсации. Тот, ясное дело, предложил московскую тему, однако ж не тут-то было. Столичная газета оказалась равнодушной к обитателям Хитровки. И тогда наш герой вспомнил о своем приятеле, московском журналисте М.М. Бойовиче, сербе по национальности. Вспомнил его рассказы о традициях дикой Албании. И посулил «России» эксклюзивный репортаж об этой земле.

Дальше — дело техники. На счет нашего героя были переведены приличные командировочные (поскольку требовались и жилье, и пища, и проводники, и лошадь, и оружие), он выправил заграничный паспорт, сел на поезд и отправился в Белград. Но, пока ехал, там произошло немаловажное событие — покушение на короля Милана. И Гиляровский оказался в городе, заполненном полицией, в городе, где были закрыты почти все рестораны и кафе, а публика тех, что работали, наполовину состояла из агентов-провокаторов.

— Куда путуете? — спросил один из них у Гиляровского.

— В Тамбов, — ответил тот и вышел из кафе.

А на вопрос, где именно находятся сотрудники местной газеты, обещавшие поддержку нашему герою, он получил краткий ответ: «Ухапшили». Что означает — «посадили».

Деньги со счета Гиляровский снимал в окружении полицейских офицеров. Один из них задал вопрос — дескать, а как так вышло, что российский журналист приехал сразу после покушения, а за четыре дня до этого на его счет была отправлена большая сумма денег. Владимир Алексеевич послал его куда подальше и отправился бродить по городу.

Впрочем, нашлись добрые люди, разъяснили ситуацию. Покушение было инсценировано с тем, чтобы начать репрессии антироссийского характера. И русский журналист, приехавший в Белград в «нужный» момент, пришелся очень кстати. Власти намерены его убить, паспорт и чемодан подбросить на какой-нибудь вокзал, к примеру венский, и раздуть громадную историю

о «русском следе».

Пришлось нашему герою давать деру. Его тайно поместили на венгерский пароход, где он скрывался до пересечения границы. А в первом же венгерском городе, Оршаве, послал в Россию телеграмму: «В Белграде полное осадное положение. Установлен военно-полевой суд. Судьи назначаются Миланом Обреновичем. Лучшие, выдающиеся люди Сербии закованы в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты „Одъек“, находившаяся в оппозиции с Миланом, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газеты, частью из страха, частью из низкого расчета, поют Милану хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, начнутся казни. В. Гиляровский».

Телеграмма, разумеется, была опубликована, и наш герой не удержался от того, чтобы разъяснить, какую роль сыграл он в тех событиях: «Моя телеграмма в газету через петербургскую цензуру попала в Министерство иностранных дел, которое совместно с представителями других держав послало своих представителей на организованный Миланом суд. Этот суд должен был приговорить шестьдесят шесть обвиняемых вождей радикалов с Пашичем, Протичем и Николичем во главе к смертной казни.

Благодаря вмешательству держав был казнен только один, стрелявший Княжевич, сторож при купальне, у которого с Миланом были свои счеты и которого Милан принес в жертву.

Остальные шестьдесят пять были сосланы в Пожаревацкую каторгу, где и были до убийства короля Александра и Драги.

Мои телеграммы с дороги печатались в „России“, перепечатывались не только русскими, но и зарубежными газетами, вызывая полное презрение к Милану, которого вскоре изгнали из Сербии».

О том, вернул ли Гиляровский деньги, выданные на коня, оружие и прочее, история, увы, умалчивает.

* * *

Приятельствовал Гиляровский и с Максимом Горьким. Именно к нему, на Волгу, в Нижний Новгород он отправился после балканского «освобождения». Владимир Алексеевич вспоминал: «С Алексеем Максимовичем вдвоем мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность. Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова. Лазали вдвоем по развалинам кремля и снимали кодаком друг друга,

стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью. Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Сидя на откосе и над впадением Оки в Волгу, мы любовались красотами».

Этой встрече есть подтверждение документальное — протокол допроса Горького, проведенного в 1901 году: «Еще в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гиляровский и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворение „Сейте“. По просьбе Горького, Гиляровский будто бы воспроизвел эти стихи на лоскуте бумаги, не ручаясь за точность.

Под стихами значится неразборчивая подпись: „И. Гиля…“ Стихи написаны карандашом, но довольно разборчиво и без всяких помарок, очевидно, Гиляровский прекрасно помнил содержание этих стихов».

Впрочем, сам Владимир Алексеевич узнал о том допросе лишь в 1926 году, когда его материалы опубликовали в «Новом мире».

Кстати, нельзя сказать, что стихотворение было на самом деле революционным. Да, похвалы правительству оно, естественно, не содержало. Но и призывов к изменению общественного строя — тоже. Вот оно, это скандальное стихотворение.

«Сейте разумное, доброе, вечное».

Сейте разумное, доброе, вечное.
Сейте студентов по стогнам земли,
Чтобы поведать все горе сердечное
Всюду бедняги могли.
Сейте, пусть чувство растет благородное,
Очи омочит слеза, —
Сквозь эти слезы пусть слово свободное
Руси откроет глаза,
Пусть все узнают, что нравами грубыми
Стали опять щеголять,
Снова наполнится край скалозубами,
Чтоб просвещение гнать.
Пусть все узнают: застенки по-старому,
И палачи введены,
Отданы гневу их дикому, ярому
Лучшие силы страны.

Вольные степи ветрами обвеяны,
Русь широка и грозна —
Вырастет новое — всюду посеяны
Светлых идей семена.
Те, что упорно и долго не верили
Правде свободных идей,
Ныне поймут — обсчитали, обмерили,
Выгнали их сыновей.
Всех разогнали, а всех ли вы выбили,
Сделавши подлость и срам?
Это свершили вы к вашей погибели.
Память позорная вам!

* * *

Но не мог наш герой просто, безмятежно предаваться отдыху — лазать по кремлевским стенам, любоваться панорамами. И вскоре — новая сенсация. Московская чайная фабрика «Высоцкий и Гоц» завербовала в Симбирске (сегодня — Ульяновске) татар на развеску и упаковку чая. Сих безответных людей разместили на тесных квартирах, платили копейки и не предоставили элементарнейших санитарных удобств. И как скорое и неизбежное следствие — эпидемия тифа.

Владимир Алексеевич написал статью в санкт-петербургскую «Россию». Чаеторговцы об этом прознали и предложили сделку: статья не выходит, а в качестве благодарности «Высоцкий и Гоц» размещают в «России» много дорогостоящей рекламы. По сути, речь шла о взятке. Один из ведущих сотрудников, Амфитеатров, позвонил Гиляровскому:

— Я верю, Гиляй, что твои сведения о татарах-рабочих верны, как всегда.

— Сам лично проверял.

— Материал буду печатать.

И спустя несколько дней в квартиру Гиляровского пришел мулла — благодарить. Он был одет в халат и тюбетейку и произвел не меньшее впечатление, чем гости из трущоб Хитровки. Впрочем, этот гость был не в пример приятнее.

* * *

В 1899 году Гиляровский обзавелся дачей. Он купил ее у журналиста М.Н. Ремезова и получил в соседи тоже журналистов — Вукола Лаврова и Виктора Гольцева. В наши дни их имена напрочь забыты, да и в конце XIX века они не были известны, так сказать, широкой публике. Однако же Владимир Алексеевич видел ситуацию иначе: «"Писательский уголок" — звали это место в Москве.

«Поднадзорный поселок» — окрестила его полиция, которой прибавилось дела — следить за новыми поселенцами, куда то и дело приезжали гости, очень интересные охранному отделению».

Не удивительно — наш мифотворец одинаково желал славы поэта и писателя и славы борца за свободу. Эта формула охватывает сразу две его мечты.

Впрочем, на этом самовосхваления не закончились: «В.М. Лавров назвал свой хутор „Малеевкой“, а я свою дачку „Гиляевкой“. Впоследствии, когда рядом на шоссе у моста через Москву-реку открылось почтовое отделение, его назвали „Гиляевка“».

Вот так-то! При жизни в топонимику вошел.

Дача, впрочем, была очень даже уютная. Завели фруктовые деревья. Обустроили дорожки. Мария Ивановна насадила пионов — их более всего любил Владимир Алексеевич.

Сам же хозяин обряжался в украинские портки, расшитую рубаху, повязывал широкий запорожский пояс и ходил по даче барином, время от времени устраивая какую-нибудь милую забаву.

А с переездом — главной головной болью всех дачников — проблем и вовсе не было. Наш герой высылал обращение к начальнику Московско-Брестской железной дороги:

Желая увезти в Шелковку
Вещей домашних сто пудов
(А может, меньше, врать неловко),
Прошу, чтоб был вагон готов.
А то дела хоть просто плачь,
На завтра поезд ты назначь,
Твои деяния прославлю
И вещи вечером отправлю.

Как ни странно, вагон выделили. Вещи укладывали в специальные плетеные корзины и везли на дачу, расположенную рядом со станцией Шелковка, ныне Дорохово.

Словом, и здесь Гиляровскому попался счастливый билет.

Компания в Малеевке-Гиляевке сложилась замечательная. Время проводили весело, по выходным же выбирались в Сандуновские бани. Владимир Алексеевич, Михаил Вуколович (сын Вукола Лаврова) и его дети — Вукол и Михаил. Гиляровский обязательно после помывки шел в бассейн, брал под мышки юных Вукола и Михаила, нырял и вместе с детьми проплывал под водой до противоположной стенки бассейна. Это сделалось традицией и называлось «пронырнуть».

* * *

К началу XX века Владимир Алексеевич был настоящей знаменитостью. Валерий Брюсов посвящал ему стихи:

Все мы жалки и тощи
В этой дряхлой вселенной,
В мире бледных кикимор.
Слава радостной мощи
Все ж в тебе неизменной,
Гиляровский Владимир.

Сам же Владимир Алексеевич отождествлял себя уже со всей страной, со всей Россией. Примечательно стихотворение «короля репортеров» «Поэт»:

Я — эоловой арфы струна,
Я — событий предвестник и эхо,
Плачу я, когда плачет страна,
Повторяю я отзвуки смеха.
Слышу шепот нейдущей толпы,
Взрыв вулкана грядущего чую…
По стремнинам вершин без тропы
С облаками в туманах кочую…

Можно, конечно, поиронизировать над этими стихами. Да только Гиляровский был в них абсолютно искренен. Он и вправду сопереживал всему, что видел вокруг себя. И это был один из

главных стимулов в его неустанной работе.

В 1900 году вышла книга Гиляровского «Негативы». Она, как и «Московские нищие», как и «Трущобные люди», посвящалась «обратной стороне» российской жизни. Правда, в отличие от «Московских нищих», состояла не из 16, а из 182 страниц, а в отличие от «Трущобных людей» дошла до прилавков. Можно сказать, что в этот момент Гиляровский состоялся как писатель. Можно сколь угодно долго и успешно публиковаться в периодике, но выпуск полноценной книги — безусловно, веха.

* * *

Владимир Алексеевич не гнушался при случае поддеть кого-нибудь из своих многочисленных приятелей. В 1901 году среди прочих он был приглашен в гости к Шаляпину. Сам же Федор Иванович к назначенному часу домой не пришел. Не явился и через час, и позже. Впрочем, гости замечательно провели время без хозяина, а Гиляровский написал впоследствии стишок:

Тебя с пельменями мы ждали
И говорили милый вздор…
И дальше, я скажу, не труся:
Не удивляйся ничему,
Решил, как подали нам гуся,
Что не товарищ ты ему.

Шаляпин, естественно, знал поговорочку «Гусь свинье не товарищ». Но не обиделся на Гиляровского. На добродушного и обаятельного силача вообще мало кто обижался.

Правда, в другой раз Шаляпин «отомстил» «дяде Гиляю». В.М. Лобанов вспоминал: «Запомнился один эпизод в Столешниках, вызвавший много искреннего веселья. О нем еще долго рассказывали как о новой роли Шаляпина. Произошло это в день рождения Надежды Владимировны (дочери Гиляровского. — *А.М.*), к которой Шаляпин относился с большой внимательностью за ее „многочитаемость“ и „всезнайство“ и которой даже иногда присылал первые фиалки из Ниццы, когда бывал там на гастролях.

Народу в Столешниках собралось довольно много. Преобладала университетская молодежь — товарищи Надежды Владимировны по филологическому факультету.

Ужин что-то запаздывал. В большой комнате молодежь шумно веселилась: играли в фанты, шарады; беспорядочно передвигались стулья, раздавались шутливые замечания и отдельные возгласы. В смежной со столовой комнате сидело несколько солидных гостей, в том числе и Шаляпин; остальные были в рабочей комнате хозяина.

Внезапно в квартире раздался собачий вой. Только те, кто подолгу жил зимой в глухих, заброшенных деревнях, могли слышать такой протяжный вой. В московской же квартире, где любили и нежили собак всяческих пород — от огромных сенбернаров до мудрейших пуделей и малюсеньких китайских, жалостный, голодный, за душу хватающий вой казался неожиданным.

На мгновение в квартире все стихло, и все бросились в комнату, откуда раздавался вой. А там около небольшого круглого стола в кресле сидел Шаляпин и, подперши рукой щеку… протяжно выл. Выл по-настоящему, по-собачьи, как воют в бесконечно длинную морозную лунную ночь. Вся фигура Шаляпина, особенно лицо и глаза, выражали грусть, тоску и одиночество.

Затаив дыхание, все следили за исполнением этой, никем еще не виданной, новой роли великого артиста.

— Есть очень хочется, — сказал Шаляпин подоспевшей Марье Ивановне. — Чего-нибудь пора пропустить, — добавил он, приобретая свое обыкновенное обличье.

— Федя, кончай! — провозгласил появившийся в комнате Гиляровский. — Подогретое красное вино на столе, а горячий окорок сейчас подадут».

Так развлекала себя московская богема.

* * *

С годами Владимир Алексеевич стал для интеллигенции Москвы своего рода Сталкером. Он время от времени устраивал экскурсии на Хитров рынок. Индивидуальные и групповые. Денег, разумеется, не брал — делалось это по-приятельски (и ради имиджа, конечно).

Понятно, в бандитские притоны Гиляровский не водил своих гостей. Для демонстрации ужасов городского «дна» использовались переписчики театральных ролей — тоже своего рода интеллигенция, но только спившаяся, нищая и опустившаяся. Переписчикам же льстило то, что к ним приходят настоящие писатели, актеры, режиссеры. Они с гордостью

заявляли — дескать, мы тоже «люди театра».

Случались трогательные истории. Привел Гиляровский как-то раз писательницу Т. Л. Щепкину-Куперник и знакомит с переписчиками — вот, дескать, знаменитый автор, Щепкина-Куперник.

— Твердо-люди! Твердо-люди! — отвечали хитрованцы. — Недавно переписывали.

«Твердо-люди» — разумеется, Татьяна Львовна, инициалы Щепкиной-Куперник. Ведь полностью имени-отчества не ставили на переписанных ролях.

Экскурсанты большей частью приходили в ужас. Однажды, например, Владимир Алексеевич повел на «городское дно» Глеба Успенского. И вот слышит Успенский вокруг себя такие характерные диалоги:

— Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу!

— Горла, говоришь? А нос у тебя где?

— Нос? На кой мне ляд нос? Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

— Ну, давай всего на семитку!

Глеб Иванович причитает:

— Вот беда! Вот беда!

Затем пошли в трактир. Владимир Алексеевич махнул пару стаканов водки, закусил яйцом. А Глеб Иванович сидит совсем зеленый:

— Уйдем отсюда… Ужас!

Но настоящих ужасов экскурсанты, к счастью, не видели.

Впрочем, как-то раз, в 1902 году произошла история нешуточная. В Художественном ставили пьесу Горького «На дне», и Немирович-Данченко попросил Гиляровского организовать экскурсию для всех участников спектакля — актеров и художника. Дело ответственное, и Владимир Алексеевич решил, на всякий случай, подготовить почву. Зашел заранее, проверил, все ли там в порядке, обо всем договорился.

Эта предусмотрительность его и подвела. Произошла утечка информации, про ожидаемый визит прознали беглые рецидивисты и решили «накрыть темную» — дождаться, пока гости «выпьют да закусят» (это было обязательным условием похода), прокрасться в помещение к переписчикам, погасить лампу и в темноте избить и обобрать гостей.

Утечка информации произошла и в противоположном направлении. Владимир Алексеевич узнал о намечающемся покушении. Но было поздно — уже вовсю шло общение между

хитрованцами и мхатовцами. К счастью, ему были известны приметы организаторов той «темной» — у одного шапка на голове закрывала удаленное ухо, а у другого — накладная борода.

Гиляровскому удалось предотвратить кровопролитие.

«А под шум рука Дылды уже у лампы. Я отдернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он — ни звука.

— Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Ни звука, а то…

Все это было делом одного момента. Мелькнула в памяти моя бродяжная жизнь, рыбинский кабак, словесные рифмованные «импровизации» бурлака Петли, замечательный эффект их, — и я мгновенно решил воспользоваться его методом.

Я бросился с поднятым кулаком, встал рядом с Болдохой и строго шепнул ему:

— Бороду сорву. — И, обратясь к центру свалки… заорал диким голосом: — Стой, дьяволы!.. — и пошел, и пошел…

Все стихло. Губы у многих шевелились, но слова рвались и не выходили.

— Не бойсь, не лягну, — шепнул я Болдохе… и закатился финальной тирадой, на которую неистовым голосом завизжала на меня нищенка, босая, в одной рубахе, среди сгрудившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова.

— Окстись! Ведь завтра праздник, а ты… — и тоже меня рванула очень сочно.

Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело крикнул:

— С праздничком, кума!

— Бгаво… бгаво… — зааплодировал первым барин, а за ним переписчики, мои актеры, нищие и вся шатия, вплоть до утюгов, заразилась их примером и хлопала в первый раз в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобрения».

Насчет мощной матерной тирады Гиляровский не соврал, даже не приукрасил. Факт этого гипноза сквернословием подтверждает очевидец, сам режиссер Константин Станиславский. И добавляет подробностей к этой истории: «Под предводительством писателя Гиляровского, изучавшего жизнь босяков, был устроен обход Хитрова рынка… В описываемую ночь, после совершения большой кражи, Хитров рынок был объявлен тамошними тайными властями, так сказать, на военном положении. Поэтому было трудно посторонним лицам достать пропуск в некоторые ночлежные дома. В разных местах стояли наряды вооруженных людей. Надо было проходить мимо них. Они

нас неоднократно окликали, спрашивали пропуска. В одном месте пришлось даже идти крадучись, чтобы „кто-то, сохрани Бог, не услышал!“. Когда прошли линию заграждений, стало легче. Там уже мы свободно осматривали большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало много усталых людей — женщин и мужчин, похожих на трупы. В самом центре большой ночлежки находился тамошний университет с босяцкой интеллигенцией. Это был мозг Хитрова рынка, состоявший из грамотных людей, занимавшихся перепиской ролей для актеров и для театра. Они ютились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми. Особенно один из них пленил нас своей красотой, образованием, воспитанностью, даже светскостью, изящными руками и тонким профилем. Он прекрасно говорил почти на всех языках, так как прежде был конногвардейцем…

Все эти милые ночлежники приняли нас, как старых друзей, так как хорошо знали нас по театру и ролям, которые переписывали для нас. Мы выставили на стол закуску, то есть водку с колбасой, и начался пир. Когда мы объяснили им цель нашего прихода, заключающуюся в изучении жизни бывших людей для пьесы Горького, босяки растрогались до слез…

Особенно один из ночлежников вспоминал былое. От прежней жизни или в память о ней у него сохранился плохонький рисунок, вырезанный из какого-то иллюстрированного журнала: на нем был нарисован старик отец, в театральной позе, показывающий сыну вексель. Рядом стоит и плачет мать, а сконфуженный сын, прекрасный молодой человек, замер в неподвижной позе, опустив глаза от стыда и горя. По-видимому, трагедия заключалась в подделке векселя. Художник Симов не одобрил рисунка. Боже! Что тогда поднялось! Словно взболтнули эти живые сосуды, переполненные алкоголем, и он бросился им в голову… Они побагровели, перестали владеть собой и озверели. Посыпались ругательства, схватили — кто бутылку, кто табурет, замахнулись, ринулись на Симова… Одна секунда и он не уцелел бы. Но тут бывший с нами Гиляровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, ошеломив сложностью ее конструкции не только нас, но и самих ночлежников. Они остолбенели от неожиданности, восторга и эстетического удовлетворения. Настроение сразу изменилось. Начался бешеный смех, аплодисменты, овации, поздравления и благодарности за гениальное ругательство, которое спасло нас от смерти или увечья».

К счастью, Станиславский так и не узнал о том, что экскурсантам удалось избежать более страшной напасти, чем

недовольство «интеллектуалов» — переписчиков.

Кстати, история с эффектным выступлением Гиляровского получила неожиданное продолжение. В 1927 году он получил письмо от одного студента. Тот вместе с приятелями вычитал эту историю у Станиславского. Юноши заинтересовались и решили обратиться к самому первоисточнику: «Мне и моим друзьям, отдыхающим студентам, просто ночи не дает спать это гениальное ругательство. Мы делали различные комбинации из ранее известного „лексикона улицы“, но ничего подобного не получается. Ведь если эта импровизация смогла раз спасти от убийства или увечья, то, конечно, она спасет и другой, и третий раз. Спасите меня и моих друзей от бесплодных исканий. Напишите эту импровизацию, чтобы она не умерла навсегда для нашего поколения…»

Гиляровский не ответил на письмо. А зря.

* * *

Впрочем, Владимир Алексеевич водил москвичей не только в трущобы. Он любил «угостить» знаменитостью. Об этом знали, к нему за тем и обращались. А Владимир Алексеевич куражился, бравировал тем, что для вас, дескать, это недосягаемые небожители, а для меня — так, запросто, приятели насчет понюхать табачку.

«Украинский ученый, исследователь Запорожья Д.И. Эварницкий тогда читал в Московском университете „историю Малороссии“ и часто просил меня:

— Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его.

И вот однажды, после такой просьбы, я предложил Эварницкому поехать сейчас же (было около семи часов вечера), но он отказался:

— Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу…

Но я уговорил Эварницкого, и через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки.

Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно не интересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку, хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос — в одну и тотчас же в другую ноздрю, — склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже справился и, закрыв табакерку, проговорил:

— Ну и крепок!»

Будто бы Лев Николаевич был интересен Гиляровскому как нюхальщик, а не писатель и философ.

* * *

А Толстой, сам того не подозревая, стал для Гиляровского рекламным инструментом. То есть инструментом была табакерка, а личность Толстого только повышала ее статус. Николай Морозов вспоминал: «При встрече с кем-нибудь на улице у него в руках сейчас же появлялась традиционная серебряная табакерка, а иногда и золотая — подарок друзей. Писали уже, что без табакерки его представить было невозможно. Табакерка служила ему „палочкой-выручалочкой“: она помогала заводить новые знакомства, что было очень важно в работе журналиста. Он, бывало, открывает табакерку и прежде всего подносит ее тому, с кем надо познакомиться. Тот улыбается и непривычный к подобному угощению говорит: „Спасибо“, отказываясь тем от понюшки. Гиляровский настойчив.

— Из этой табакерки нюхал Толстой, — скажет он, и тут уж трудно отказаться. Незнакомец тянет щепотку из табакерки. За понюшкой следует обычное «апчхи». В ответ на чиханье раздается «будьте здоровы», смех, и вот люди познакомились. Затем завязывается шутливый разговор, а отсюда недалеко и до серьезного. И часто бывали случаи, когда новые знакомые давали ему кончик нити, помогающей размотать целый клубок какого-нибудь крупного дела.

Табаком он угощал всех: вельмож, миллионеров, писателей, актеров, почтальонов, дворников, швейцаров, городовых, рабочих и говорил: «У меня все равны»».

Все, не все, а почему-то Гиляровский, угощая табаком своих знакомцев, не говорил: «Из этой табакерки почтальоны нюхали».

Кстати, Лев Николаевич однажды пострадал от тяги Гиляровского к оригинальничанью. Однажды Толстой в разговоре с Гиляровским изъявил желание посетить репетицию чеховских одноактных пьес. Они проходили в одном из колоритнейших московских мест — Охотничьем клубе.

Владимир Алексеевич сказал:

— Позвольте мне завтра заехать за вами к семи часам вечера.

Толстой, ясное дело, позволил. И Гиляровский заехал. А дело в том, что он, конечно, мог себе позволить выезд, но из соображений имиджа пользовался простым извозчиком. Однако же извозчик у него был свой, прикормленный.

Гиляровский вспоминал: «Ваня Дунаев ездил со мной помесячно. Извозчики звали его Ванька-Водовоз за необыкновенную силу, а я назвал его Берендей, потому что он был из Пятницы-Берендеево, извозчичьей подмосковной местности. Я ездил с ним на рискованные репортерские

приключения по разным трущобам совершенно спокойно: малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было споить… Он бывал со мною на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить».

С ним Гиляровский с утра до ночи раскатывал по городу, и Берендей покорно ждал «хозяина», покуда тот торчал в редакциях или же на Хитровке. Одна беда — щеголю Гиляровскому не нравилась полость. Его унижало, что зимой седок укутан словно запеленатый младенец. Правда, сам Владимир Алексеевич писал, что дело было в другом: он часто дорожил секундами, уходившими на закрепление и рассупонивание той полости. Что ж, в иных ситуациях счет, вероятно, действительно шел на секунды. Но, представляется, что основной причиной было все-таки желание быть не как все даже в таких мелочах. Сам Гиляровский не без гордости писал: «Мой Берендей был единственным извозчиком во всей Москве без полости, даже при обер-полицмейстере Власовском, который ввел одинаковую „форму“ для извозчиков и их экипажей и, между прочим, требовал, чтобы у всех саней имелась полость. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Власовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полости. Штраф Власовский приказал снять, но ездить без полости так и не разрешил, найдя, впрочем, чисто полицейский хитроумный выход:

— Нарушить свой приказ не могу: полость обязательно должна быть на санях. Но вы можете не употреблять ее, пусть ваш извозчик сидит на ней…

И Ванька очень гордился, что он ездит без полости, а другие извозчики ему завидовали».

Так вот, как раз на этом экипаже Владимир Алексеевич заехал за Толстым. Стоял мороз, Лев Николаевич был далеко не молод. Его нарядили в валенки, тулуп с поднятым воротником, теплую шапку, башлык. Но вряд ли это сильно помогло великому писателю.

* * *

Охотничий клуб был одним из любимейших клубов Владимира Алексеевича. А потому о нем — рассказ отдельный.

В 1892 году гласные Думы переехали из нынешнего дома №6 по улице Воздвиженка в новое здание рядышком с Красной площадью. А на освободившемся месте открыт был Охотничий

клуб. Константин Станиславский ликовал: «Был снят и отделан для Охотничьего клуба великолепный дом на Воздвиженке… С открытием клуба мы возобновили наши очередные еженедельные спектакли для его членов; это давало нам средства, а для души… мы решили ставить показные спектакли, которые демонстрировали бы наши художественные достижения».

Владимир Гиляровский дополнил рассказ прославленного режиссера: «Полного расцвета клуб достиг в доме графа Шереметева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа.

С переездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь дом занял Русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженные канцеляриями барские палаты.

Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обоего пола. С Русским охотничьим клубом в его новом помещении не мог спорить ни один другой клуб…»

Главным в Охотничьем кружке были конечно же спектакли. Здесь, кстати, в 1898 году впервые встретились на репетиции Антон Павлович Чехов и его будущая супруга Ольга Леонардовна. Она с трепетом вспоминала об этом: «Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича (Немировича-Данченко. — *А.М.*) о том, что завтра, 9 сентября, А.П. Чехов будет у нас на репетиции „Чайки“, ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду, ни того мгновения, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с А.П. Чеховым…

Он смотрел на нас, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая «античные» урны, которые изготовлялись для спектакля «Антигона».

Антон Павлович, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и общо, и не знали мы, как принять его замечания — серьезно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту, и сейчас же чувствовалось, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу и от едва уловимой характерной черточки начинает проясняться вся суть человека.

Один из актеров, например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в «Чайке», на что последовал ответ: «Да он же носит клетчатые брюки». Мы не скоро привыкли к этой манере общения с нами автора, и много было

впоследствии невыясненного, непонятого, в особенности когда мы начинали горячиться; но потом, успокоившись, доходили до корня сделанного замечания.

И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни».

Захаживал сюда сам Лев Толстой. Лев Николаевич обычно размещался не в партере, а на сцене, за кулисой, и смотрел на сцену сбоку. Организаторы, конечно, предлагали ему лучшие места, однако тот отнекивался:

— Люди ведь пришли сюда спектакль смотреть, а если я перейду в партер, то будут на меня смотреть, и никто из нас не получит удовольствия — ни публика, ни актеры, ни я.

Писатель явно не страдал заниженной самооценкой.

Впрочем, не исключено, что Лев Толстой терпел все эти неудобства по другой причине. Дело в том, что он обычно выбирал легкие, даже легкомысленные представления. Вроде того, о котором обмолвился в воспоминаниях Владислав Ходасевич: «Мне было лет восемь, я лежал в оспе и слушал в полубреду разговоры о том, что в Охотничьем клубе, куда однажды возили меня на елку, какой-то Станиславский играет пьесу „Потонувший колокол“ — и там есть русалка Раутенделейн и ее муж, Водяной, который все высовывается из озера, по-лягушачьи квакает „брекекекс“ и кричит: „Раутенделейн, пора домой!“ — и ныряет обратно, а по скалам скачет бес, который закуривает папиросу, чиркая спичкою о свое копыто».

Разве мог властитель дум, которым был в те времена Лев Николаевич, публично посещать столь несерьезные спектакли? А потом, в Ясной Поляне рассуждать перед очередными ходоками о непротивлении насилию, о вреде праздности и прочих замечательных вещах? Нет, «брекекекс» был бы нешуточным ударом по толстовской репутации.

Но, помимо театральных развлечений, в клубе процветала и азартная игра. Владимир Гиляровский вспоминал: «В одной из… комнат стояло четыре круглых стола, где за каждый садилось по двенадцати человек. Тут были столы „рублевые“ и „золотые“, а рядом, в такой же комнате, стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для баккара и два круглых „сторублевых“ стола для „железки“, где меньше ста рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше двух часов ночи, и бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в семь часов вечера, и, отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру».

А в XX веке тут начали состязаться шахматисты. В частности, в 1914 году здесь состоялась показательная партия между

Алехиным и Ласкером. Один из очевидцев вспоминал: «Барьеров вокруг игравших не было, но публика не подходила близко к столику и держалась дисциплинированно. Демонстрационных досок тогда тоже не было, и многие держали в руках карманные шахматы. Ходы передавались в публике шепотом, из уст в уста. Но когда Алехин пожертвовал слона, зал зашумел и замолк под взглядами Алехина.

Сравнивая партнеров, можно было сказать: лед и пламень. Пожилой Ласкер с вечной сигарой, хладнокровный и выдержанный, был полной противоположностью своему юному противнику, беспрерывно вертевшему клок волос и нередко вскакивавшему после сделанного хода. Нам не нужен был комментатор: на его выразительном лице отражались все душевные переживания. Он был в хорошем настроении, и зрители были уверены в том, что его позиция хороша. После окончания партии быстро замелькали над доской тонкие руки Алехина, показывавшего бесчисленные варианты».

То есть шахматные страсти были посильнее карточных. Но и те, и эти в равной мере интересовали нашего героя.

* * *

В марте 1902 года Гиляровский получил весьма приятное послание: «Общество Любителей Российской Словесности сим извещает Вас о состоявшемся избрании Вашем в действительные члены Общества».

Можно было сказать, что сбылась мечта юности — Владимир Алексеевич стал признанным писателем. А вскоре после этого, как мы уже говорили, он читал в Обществе доклад о своих гоголевских изысканиях — уже как «настоящий» литератор.

Диплом же о приеме в члены Общества Владимир Алексеевич повесил под стекло на стену. Он был так же дорог нашему герою, как солдатский Георгиевский крест и значок почетного пожарного.

* * *

Между тем Гиляровский все больше интересовался Москвой. Прошло более двух десятилетий с тех пор, как он стал москвичом. Владимир Алексеевич любил город как существо живое, одухотворенное. Его интересовало всё, что с ним связано, — история, предания, экономика, политика, общепит,

здравоохранение и даже топонимия.

В 1902 году Владимир Алексеевич опубликовал занятный фельетон на эту тему: «И возит извозчик седока, и оба ругают московские переулки.

Седок проезжий, и извозчик, старик, тоже недавно в Москве.

— Да тебе сказано в Кривой переулок!

— Да они все тут кривые! — оправдывается извозчик. И действительно, сколько кривых переулков в Москве!

Кривые переулки есть в частях: серпуховской, городской и хамовнической. Потом следуют Кривые с прибавлением: Криво-Ярославский, Кривоколенный, Криво-Никольский, Криво-Арбатский, Криво-Введенский, Криво-Рыбников!

Пересматривая указатель Москвы, я поражаюсь!..

Вот Астра-Дамский переулок! Вот Арнаутовский!

Какой грамотей придумал такие названия!

Вот семь Банных переулков, и все в разных частях города.

Поди ищи!

Живу, мол, в Москве, в Банном переулке в своем доме!

Кажется, адрес точный: московский домовладелец — найти не трудно.

А Банных переулков семь! Безымянных — девятнадцать! Благовещенских — 4, Болвановских — три.

Только три.

Мало по нашим грехам! Ей-богу, мало! И Брехов переулок только один. Бутырских, Вознесенских, Дербеневских, Золоторожских и Монетчиковых — по пяти. А вот Грязных — два. Врут, больше! Все грязные и кривые! Денежных — 2, Дурных — не хочется верить — тоже 2. Дровяных — 3. Задних — 2. Полевых, Грузинских, Ивановских, Краснопрудных, Красносельских — по 6. Лесных и Огородных — по 7. Кузнечных и Спасских — 8. Ильинских и Космодемианских — по 9. Знаменских — 12. Покровских — 10. И Никольских — 13. Далее, Коровьих — 4, Кладбищенских — 5. А сколько тупиков? Что может быть глупее тупика?

Идешь, видишь улица, идешь дальше и, в конце концов, упираешься в забор!

И это не старая Москва, нет! Масса переулков создалась за последние два десятка лет, а названия одно глупее другого.

И в общем выходит такая путаница, что разобраться нельзя.

Это повторение одних и тех же названий путает и почту, и публику.

До сих пор в Москве нет ни Пушкинской, ни Гоголевской улицы!

Хоть бы в память пушкинских и гоголевских празднеств

назвали!

Да наконец, мало ли знаменитых людей дала Москва, имена которых можно бы повторить хоть в названиях улиц.

Это — почтит память деятелей.

Во-вторых, название улиц именами знаменитых людей имеет и громадное воспитательное значение.

Господа городские деятели, пекущиеся о благоустройстве Москвы, обратите на это внимание, пора бы!

Да постарайтесь, чтоб названия не повторились, чтоб прекратить путаницу.

Принимайтесь же за это дело, не стыдясь, — дело доброе!

На память оставьте по одному, только по одному старому названию.

Оставьте один Кривой, один Болвановский, один Коровий и один Брехов…

Для будущих историков оставьте. Пусть думают: отчего и почему!..»

Мелкотемье? Ан нет! Для «короля репортеров» мелкотемья не существовало.

* * *

Непосредственность и склонность к озорству никак не оставляли нашего героя. Доходило подчас до кощунства.

В 1902 году тяжело заболела Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, «твердо-люди». Дошло и до угрозы летального исхода. Собрали консилиум. В то время, когда знаменитую писательницу осматривали доктора, близкие с нетерпением ждали вердикта. Атмосфера в доме накалилась до предела. Гиляровский, режиссер К. Станиславский и один актер вышли на улицу — перекурить, подышать свежим воздухом, дух перевести, да и просто расслабиться.

Расслабиться не получалось. Тогда Владимир Алексеевич перебежал улицу, купил в пивной бутылку пива, сделал несколько глотков, после чего устремился к карете с Иверской иконой, по совпадению стоявшей рядом.

А ведь образ Иверской Божией Матери почитался москвичами как самый чудесный, всемогущий и целительный. Он хранился в своей часовне, рядом с Историческим музеем. Но тяжелобольные не могли добраться до часовни и приложиться к чудотворной Иверской. Поэтому икону регулярно (чаще ночью, а случалось, что и днем) возили по Москве, на ее же место ставили так называемую «заместительницу».

Икону возили по городу помпезно — в закрытой карете, украшенной херувимами высокопробного золота, и с факельщиком-вестовым. А шестеркой лошадей управляли кучера без шапок. Только в самый жестокий мороз они обматывали уши плотными платками.

Прохожие, увидев эту важную процессию, крестились и тревожно перешептывались: «Иверскую везут».

«Поднятие иконы» (так официально назывался этот ритуал) вошло в московский, непонятный жителям иного города, фольклор. «Не миновать — Иверскую поднимать». Так говорили в случае, когда какое-нибудь дело принимало скверный оборот. Подобным замечанием, но только ироничным, — «Иверскую поднимают», — сопровождался и визит какой-нибудь высокой, редко одаряющей своим присутствием особы.

По заведенному регламенту Иверскую встречали во дворе. Первым из кареты выбирался отец-дьякон с фонарем на ножке. Он протягивал этот фонарь кому-нибудь из домочадцев, после чего другие домочадцы брали чудотворную икону и торжественно вносили в дом. Долго служили молебен, затем все прикладывались к иконе, а после ее проносили по всем помещениям (не забывая при этом сараи, конюшни и псарни). После чего наступала самая странная часть этого ритуала. Икону наклоняли, и все обитатели должны были под ней пролезть. Кто полз на животе, кто на карачках, кто на четвереньках. Это называлось «осениться благодатью».

По окончании церемонии монахам полагалось угощение, и икону увозили. А радостные москвичи друг друга поздравляли — «с дорогой Гостьей».

Так вот, именно к этой Иверской карете подбежал Владимир Алексеевич, дал кучеру три рубля, что-то шепнул ему на ухо, после чего залез в карету и поехал.

Прохожие с удивлением наблюдали, как в окошко кареты вместо отца-дьякона высовывался улыбающийся тип с пушистыми усами. Тип корчил рожи, делал ручкой и время от времени прикладывался к пиву. Прохожие, конечно, были в шоке. А напряжение у Станиславского и у актера, вышедших перекурить, несколько спало.

К.С. Станиславский вспоминал еще одну занятную историю, разыгранную Гиляровским: «Однажды, в смутное время, когда часто бросали бомбы и вся полиция была настороже, по Тверской ехали Антон Павлович и Г-ский. Г-ский держал в руках завернутую в бумагу тыкву с огурцами. Проезжая мимо городового, Г-ский останавливает извозчика, подзывает городового и с серьезным, деловым лицом передает ему в руки

завернутую тыкву. Городовой принял в руки тыкву. Когда извозчик тронул дальше, Г-ский как бы в виде предупреждения крикнул городовому:

— Бомба!

И шутники унеслись на лихаче дальше по Тверской. А опешивший городовой, боясь двинуться с места, стоял посередине улицы, бережно держа в руках завернутую тыкву.

— Я же все оглядывался, — говорил Антон Павлович, — мне хотелось увидеть, что он будет делать дальше, да так и не увидел».

Правда, сам Владимир Алексеевич в своих воспоминаниях уверяет, что «бомба» закричал не он, а Чехов. Но, поскольку это абсолютно в стиле нашего героя и совсем не свойственно Антону Павловичу, примем все же версию Станиславского.

Вообще, разыгрывать городовых было одним из излюбленнейших развлечений Гиляровского. Однажды он слушал в Большом театре Федора Шаляпина. И так его проняло пение, что Гиляровский выскочил на улицу и начал со всей силой дуть в свисток. К нему подбежал полицейский. Гиляровский дал деру. Обежал несколько раз вокруг театра (в свистки притом свистели и городовой, и Гиляровский), вскочил на пожарную лестницу Большого театра, быстро добрался до крыши и, пока запыхавшийся городовой собирался с духом, зная, что теперь злоумышленник никуда не сбежит, втащил лестницу за собой. Полицейский стал опять свистеть. А Гиляровский ему с крыши отвечал.

Набежали другие полицейские. Дело приняло серьезный оборот. Но наш герой решил не дожидаться расправы. Спустился с крыши на чердак и улизнул через черный ход.

Впрочем, случалось, что Владимир Алексеевич вел себя неприлично и в самом театре. Он, к примеру, мог там запросто уснуть от усталости. А после признаться Шаляпину:

— Ты пел, а я храпел.

Но Федор Иванович, естественно, не обижался на своего приятеля.

* * *

И все же, несмотря на озорство и удаль, Владимир Алексеевич был педантом и консерватором. Более того, всему, что ему казалось непонятным, он отказывал в праве на существование. В частности, в 1903 году Гиляровский разразился обличительной статьей по поводу новых поэтов, подражавших,

как ему казалось, Брюсову. И даже дошел до оскорблений — в фельетоне «Люди четвертого измерения»: «Реферат о „символистах“ прочитан. Объявлены, после перерыва, прения. Сцена наполнилась. Налево сели гг. К.Д. Бальмонт и В.Я. Брюсов — солидные, серьезные. Напротив, в глубине, на семи стульях поместились семь „новых поэтов“, семь „подбрюсков“.

Г. Брюсов начал опровергать референта, указавшего на пристрастие „новых поэтов“ к самообожанию, любви к грехам и эротомании. Он доказывал, что новая поэзия — это свобода творчества и отвращение к пошлости. Он говорил, что новые поэты не любят скуки, пошлости и серединности и протестовать против новой поэзии — протестовать против свободы творчества.

Против обвинения в самообожании, эротомании и любви к грезам г. Брюсов не возражал. После речи ему аплодировали. Вышел волосатый „новый“ поэт г. Волошин, заявивший, что за последние годы он не читал ни одной книги русской и что символическая поэзия родилась в 1857 году в Париже, в кабачке Черной Кошки.

Третий „подбрюсок“, г. Шубин, вынул из кармана книжку и прочитал довольно безумное предисловие г. Пшебышевского, выругав всех нас за „буржуазный мозг, за плебейскую боязнь быть обманутыми“. Четвертый вышел „подбрюсок“ лет 17, типичнейший, изломавшийся и… простите… развязный. Перевирая русские слова и уродуя их легким акцентом, подпирая бока руками, „подбрюсок“ г. Шик начал упрекать референта в незнании заграничных и „новых поэтов“, неведомых миру, и говорил это таким тоном, что публика и возмущалась, и хохотала неудержимо.

— Ваш смех нисколько не оскорбляет меня! — злобно бросил публике г. Шик.

Публика хохотала.

— Будем терпеть до конца! — крикнул г. Шик, но не пришлось ему терпеть; публика кричала: „Вон его! вон с эстрады!“

И с шиком и свистом ушел г. Шик.

Место его сменил „подбрюсок“ печального образа г. Рославцев.

Длинный, с волосами-проволоками, напоминающий своей фигурой герба-огнепоклонника или обруселого факира…

Печально отметив факт изгнания г. Шика, эта печальная фигура говорила печальные слова…

За ним г. Соколов доказывал, что новую поэзию могут понимать только те, у кого в душе есть соответственные струны…

— А всем нас не понять, — закончил он… Сидевший в первом

ряду д-р Савей-Могилевич крутил свой ус и напоминал мне того самого француза в „Русских женщинах“, про которого сказал Некрасов:

И лишь крутил свой длинный ус,
Пытливо щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер…

Психиатра этим не удивишь!

Он принадлежит к числу понимающих…

А вот еще г. Хессин, сильно акцентируя, непрошено стал защищать гг. Бальмонта и Брюсова и закончил словами: „мы изломанные люди“.

Сознание — половина вины, и ему за правду «похлопали».

— Очередь г. Бугаева! — заявляет председатель. Что-то худенькое, истощенное поднимается со стульев и уныло, как голос из оврага, умоляюще вещает:

— Я отказываюсь!

Из первого ряда вылетает на эстраду г. Курсинский и заявляет:

— Два слова — не более!

Публика радостно вздохнула: чем короче, тем лучше!

И жестоко ошиблась!

Этого „оратора“ за его неприличные выходки по адресу шестидесятых годов останавливает даже председатель…

— Чехов, — вещает он, — поэт пошлости и пессимизма, разрушитель идеалов шестидесятых годов!

И этот новый „разрушитель“, выругав по пути, по примеру предшественников, Макса Нордау, ушел с шиком…

После ораторов гг. Баснина и Быховского, вызвавших бурю аплодисментов, на эстраду полезло что-то жалкое, истомленное и стало просить слова.

Оно появилось на Эстраде.

Уши врозь, дугою ноги,
И как будто стоя спит!

Оно говорило, говорило — и все, что осталось в памяти у

публики, — это новое слово: „зловещность“!..

Я видел этих „подбрюсков“ в зале, за ужином.

Стол 13 „“скорпионов“ стоял в углу, где потемнее.

Пили и ели, как все люди едят, и так же, как все, ругали лакеев, долго не подававших кушанье.

— Ишь ты! — сказал бы Лука Горького, видя, как жадно едят капусту эти певцы лепестков невиданных растений…

Я видел „подбрюсков“ после ужина, внизу, в карточной комнате…

О, если бы я не видел их в карточной комнате — я не написал бы ни слова об этом вечере!

Ни слова бы, уважая мнение всякого человека, уважая всякие порывы творчества, даже всякое заблуждение человека, если оно от сердца!..

В карточных комнатах четвертое измерение исчезло, а ярко выступили из „подбрюсков“ их буржуазные мозги с плебейской боязнью быть обманутым…

Они раскрыли свои карты!..

— Ишь ты!.. — сказал бы Лука…

Я бы никогда не сказал слова „подбрюсок“.

И теперь я не говорю ни слова ни о К.Д. Бальмонте, ни о В.Я. Брюсове.

Но мне их жаль в их последователях, в этих именуемых людьми, которые пыжатся, чтобы показаться заметными, чтоб чем-нибудь выделиться».

Будучи силачом, Гиляровский мог себе позволить такой стиль. Однако же, на всякий случай, предварил свой фельетон несколько извинительным эпиграфом: „За правду не сердятся. Русская поговорка“.

А причина тех нападок на новых поэтов (среди которых оказались и Андрей Белый, и Максимилиан Волошин), вероятно, объяснялась возрастом. Гиляровский приближался к пятидесятилетию и если физически он сохранял былую мощь, то некая закостенелость в мнениях, увы, давала себя знать.

* * *

В 1903 году Владимир Алексеевич получил в дар от Власа Дорошевича его новую книгу «Сахалин». С дарственной надписью: «Старому товарищу, лучшему из приятелей и чуть ли не единственному другу Володе Гиляровскому на добрую память. 12 января 1903 года».

Что-что, а дружить наш герой умел. Он был, можно сказать,

прирожденным другом.

* * *

Разумеется, Владимир Алексеевич не оставлял свою излюбленную тему — происшествия. Но изменился способ сбора информации и поменялась интонация. Информацию он теперь собирал не столько на Хитровке, сколько из газет, а также все чаще обращался к своим воспоминаниям. А в его текстах появились ярко выраженные менторские нотки. В своих заметках он критиковал не только поэтов, но и собратьев-журналистов. В этом отношении показательна заметка под названием «По собственной неосторожности»: «Был в древние времена в Москве квартальный Ловяга, который о всяком пьяном, забранном в участок, писал донесение так: „Взят под стражу за пьянство, буйство и разбитие стекол“.

И когда какой-то смельчак заявил его благородию, что он был пьян, буянил, а стекол не бил, то Ловяга посмотрел на него с изумлением и закричал:

— Форма… Форма такая пишется: за пьянство, буйство и разбитие стекол.

— Да я стекол не бил!

— А я из-за тебя из формы слово выкидывать буду!

Так Ловяга до самой смерти и писал, — строго соблюдая форму.

И, конечно, не он один соблюдал ее…

Теперь тоже всюду соблюдается форма при всех железнодорожных, фабричных и заводских калечениях, всюду пишут: „по собственной неосторожности“.

Газетные неопытные репортеры пользуются только протокольными сведениями и пишут тоже: „по собственной неосторожности“.

Читая массу подобных сведений в газетах, только и удивляешься, сколько неосторожных людей.

А когда эти дела разбираются в суде, — всегда находятся и другие причины, при которых никакая собственная осторожность не поможет!

На днях читаю в газетах: “При отправлении поезда №65 от платформы 'Томилино' Московско-Казанской дороги обер-кондуктор Иван Байбаков хотел вскочить на ходу на поезд, но, по собственной неосторожности, оборвался и упал, причем колесами поезда ему отрезало ноги”.

Байбакова я знаю много лет. Он служит 25 лет на этой дороге

и был на прекрасном счету. 25 лет человек прыгает на ходу на все поезда — и вдруг оборвался! С обер-кондукторами таких вещей не бывало.

Спрашиваю вчера на вокзале и узнаю возмутительную историю. Три человека говорили мне об этом происшествии, и все трое — лица, заслуживающие полного доверия.

Первый. — Я ехал в этом поезде, в первом классе. Когда поезд, очень легкий, дачный, быстро двинулся, раздался на платформе шум. Я выглянул — было темно, двенадцатый час — и увидал борьбу обер-кондуктора и какого-то господина в белой фуражке… Это был один момент… Потом послышался крик: „Человека задавили!“ Поезд был остановлен сигнальной веревкой. Господин в белой фуражке убегал в лес.

Кондуктора отвезли в Москву, а со станции 'Люберцы' прислали жандарма.

Второй. — Во время происшествия я был в 'Томилине', на другой платформе. Когда это случилось, после говорили, что Байбаков делал контроль, подъезжая к Томилину. Не найдя у господина в белой фуражке, ехавшего с двумя дамами, билета, он предложил ему уплатить в Томилине с дополнительным сбором, на что в ответ получил дерзость. Остановившись в Томилине, он предложил начальнику станции получить плату с безбилетного пассажира, и тут произошла "история": пассажир в белой фуражке сцепился с Байбаковым и ударил его чем-то по рукам в то время, когда Байбаков на ходу садился на поезд. Потом падение. Бесчувственного Байбакова, издававшего слабые стоны, подняли на платформу, а белая фуражка мчалась к лесу.

Третьим — была жена Байбакова. Я ее вчера встретил в Басманной больнице, где она посетила после ампутации своего мужа.

Она мне сказала только это:

— Без ног теперь… столкнули под поезд… Дети дома… Один кормилец.

Господа репортеры, будьте осторожнее „по собственной неосторожности“».

Что сказать? Мэтр — он и есть мэтр.

* * *

Возросшее материальное благосостояние теперь позволяло Владимиру Алексеевичу путешествовать по стране не только по поручению газет и журналов, но и по собственному усмотрению. И, конечно, писал о том, что видел, что было ему интересно. К

примеру, о проблемах украинских рудокопов: «Хозяйничают на Юге иностранцы со своими громадными капиталами. Лучшие рудники железорудные у них в руках оказались по всему Приднепровью. Отправился в Кривой Рог. Удивился Нижнеднепровью. Еще недавно — пустырь, а тут — громадная станция, окруженная на несколько верст всевозможными заводами. И все до одного заводы, весь громадный город принадлежат иностранцам, и все создано только ими. И плывут русские денежки отсюда за границу неудержимо. А кто виноват? Поль, местный помещик, первый открыл в Дубовой балке и Кривом Роге богатые залежи руды. Сунулся он в правительственные сферы… но там отбили у него возможность говорить. Обратился Поль к русским капиталистам, те лукаво смеются:

— Не объегоришь, брат, сами травленые, сами, ежели что, объегорить норовим, на том стоим!

Все деньги, все небольшое состояние ухлопал Поль в это дело. Да разве один поднимешь? Оказался с миллионом долга… Чисто русский человек, степной помещик, со слезами на глазах поехал во Францию, показал образцы руд. Посмотрели иностранцы и сняли у крестьян Кривого Рога в аренду на 99 лет все неудобные земли… И долго смеялись криворожские мужики, как они иностранцев объегорили, сдав им за триста рублей неудобную и ни на что не годную землю… Потом весело смеялись иностранцы, отправляя за границу громадные мешки с русским золотом… богатея и добывая богатства из недр бывшего Запорожья».

* * *

Быт у Гиляровского налажен был неплохо. Вот, например, как он принимал художника А. К. Саврасова — в то время уже опустившегося пьяницу, практически бомжа:

«Я отпер дверь и через пустую прихожую мимо кухни провел его к себе, усадил на диван, а сам пошел в чулан, достал валенки-боты. По пути забежал к жене и, коротко сказав о госте, попросил приготовить поесть.

Принес, дал ему теплые носки и заставил переобуться.

Он долго противился, а когда надел, сказал:

— Вот хорошо, а то ноги заколели!

Встал, закозырился, лицо посвежело, глаза улыбались.

— Ишь ты, теперь хоть куда. Штаны-то еще новые… — и снова сел.

В это время вошла жена — он страшно сконфузился, но только на минуту.

— Алексей Кондратьевич, пойдемте закусить, — пригласила она.

С трудом, дрожащей рукой он поднял стаканчик и как-то медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтике хлеба кусок тертой с сыром селедки в уксусе и с зеленым луком. И прямо в рот сунул:

— Закусывай — трезвиловка!

Он съел и повеселел:

— Вот так закуска!..

А жена тем временем другой такой же бутерброд приготовила.

— Не разберу, что такое, а вкусно, — похвалил он.

После второго стаканчика старик помолодел, оживился и даже два биточка съел — аппетит явился после «трезвиловки»…

Просидел у меня Алексей Кондратьевич часа два. От чая он отказался и просил было пива, но угостили его все-таки чаем с домашней наливкой, от которой он в восторг пришел.

Я предложил Алексею Кондратьевичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бобрика. И хотя трудно его было уговорить, он все-таки надел, и когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке и при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра.

Жена, провожая его, просила заходить не стесняясь, когда угодно».

Просто не жизнь, а мечта. Муж приводит домой оборванца, одевает его и опохмеляет, а жена не то чтоб не ворчит, напротив, потчует этого оборванца и приглашает заходить еще, в любое время. Тут и наливочки, и биточки, и особая закуска — видимо, изобретение Гиляровского. Словом, пресловутые «тылы» у нашего героя были обеспечены. А иначе — кто же знает? — он, возможно, и не справился бы со своей нелегкой ролью вездесущего неутомимого и неутомляемого репортера.

Разумеется, Мария Ивановна Гиляровская прекрасно понимала, что Саврасов не обычный пьяница, в первую очередь он живописец, причем бескрайне талантливый.

«Как-то весной, — вспоминал Константин Паустовский, — Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете? — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. — Табачный дым? Навоз? Серую кашу?»

Автор «Грачей» звал учеников на свежий воздух, к ярким краскам. Но, увы, сам опускался все ниже и ниже. Уходил в тяжелые запои — лежал дома неделями, пил водку, а закусывал клюквой. Ничего другого во время запоев Саврасов не ел вообще. Часто пропадал в трущобах печально знаменитого Хитрова рынка, где вместе с другими оборванцами делил паршивую тесную комнатенку. Однако иногда находил в себе силы — шел преподавать. Правда, выглядело это еще более печально, чем его пребывание на Хитровке. Константин Коровин писал:

«Он похудел и поседел, и нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно: на ногах его были видны серые шерстяные чулки и опорки, вроде каких-то грязных туфель; черная блуза повязана ремнем, на шее выглядывала синяя рубашка, на спине был плед, шея повязана красным бантом. Шляпа с большими полями, грязная и рваная».

Увы, Саврасову не удалось выбраться из дыры, в которую его столкнули обстоятельства (причиной алкоголизма послужило то, что у Саврасова умерли дети, а затем ушла жена) и слабость собственного характера. Хотя, кто знает — если бы не его слабость и инфантильность — не было бы в «Третьяковке» знаменитых «Грачей», сам же Саврасов служил бы всю жизнь в банке или в конторе купца.

Гиляровский это, конечно, понимал, и помогал Саврасову чем мог.

Впрочем, гораздо чаще Гиляровский принимал «чистых господ». Обеды нашего героя были очень даже соблазнительны. Николай Морозов вспоминал: «Кого, кого, бывало, не увидишь у Владимира Алексеевича в Столешниках! Кто не сиживал за столом у хозяйки дома Марии Ивановны, на редкость приветливой и гостеприимной, умевшей искусно поддерживать оживленный застольный разговор, тонко подсказывать тему, давать соответствующий тон и уровень беседе.

Двери квартиры были открыты для всех. Вот появляется есаул казачьего полка Н.М. Денисов, приглашенный на обед. Худое, выразительное лицо его украшают огромные усищи и пышные баки. Денисов, как старый друг семьи, идет прямо в столовую. А там уже слышится неповторимый и неподражаемый по силе и красоте бас: «Я есть хочу-у-у-у». Это Ф.И. Шаляпин, тоже приглашенный на обед, торопил хозяйку с приготовлениями к столу».

Слушали иной раз и другое пение. «Напротив дома, где жил В.А. Гиляровский, высятся корпуса дома №14, — рассказывал Николай Морозов. — Прежде на этой территории стоял маленький двухэтажный домишко, в котором помещался

третьеразрядный трактир и постоялый двор для извозчиков. А за ним был большой кусок земли, сплошь заросший травой и напоминавший луговину.

Эту землю приобрели купцы Карзинкины. Появилось множество рабочих-строителей. Сюда навезли массу всякого материала: досок, бревен, кирпича, камня. Закипела работа по строительству корпусов.

По вечерам, когда трудовой день оканчивался, строители, поужинав, высыпали на лужайку, рассаживались каждый где придется и до сна проводили время в пении русских народных песен.

Владимир Алексеевич часто выходил на балкон послушать их.

Взлеты теноров и баритонов, рев и раскаты басов, красивое рокотание бархатных октав сливались в могучую, стройную сотнеголосую симфонию, и нельзя было не заслушаться этим хором. Ни один голос, бывало, не сфальшивит, ни один не сорвется со своей ноты, словно пели не люди, а огромная, хорошо слаженная музыкальная машина. И другое тут было удивительно: хор строителей не знал ни регента, ни спевок, ни репетиций и никем не управлялся. При всем том эти импровизированные народные концерты отличались своим высоким песенным исполнением и были незабываемы. Слушая пение, Владимир Алексеевич говорил:

— На Волге, бывало, так певали».

Естественно, Гиляровский «угощал» таким пением своих гостей. А бывали совсем уж необычные концерты. Федор Иванович Шаляпин, стоя у окна, пел что-нибудь народное, а извозчики — снизу — подпевали известному басу.

Захаживал к Гиляровскому и художник Левитан. Долгое время в прихожей, рядышком с диваном пылилась одна из его работ — этюд, подаренный дочери Гиляровского, Надюше.

— Ты с ума сошел! — сказал ему однажды Владимир Алексеевич. — За него тебе Павел Михайлович Третьяков пятьдесят рублей заплатить может! Заверни и вези в Замоскворечье к Третьякову!

Увы, в тот день у Левитана не хватило денег на извозчика, чтобы доехать до Замоскворечья. А идти через пол-Москвы с рулоном не хотелось. Так этюд и получил свою прописку — в прихожей квартиры в Столешниковом переулке.

Гиляровские жили «открытым домом». То есть всегда были готовы принять добрых гостей.

«В одной из бесед о путях Малого и Художественного театров, очень волновавшую московскую театральную общественность, —

вспоминал В.М. Лобанов, — приняли участие не особенно часто бывавшие в Столешниках В.И. Качалов, И.М. Москвин, В.В. Лужский и А.Л. Вишневский.

— Марья Ивановна, — сказал, входя в столовую, галантнейший и добродушнейший Вишневский, еще с чеховских времен считавшийся здесь своим. — Решили мы пойти поужинать в кружок. Иван Михайлович предложил зайти выпить пива в „Альпийскую розу“, а потом уже в кружок. Но, идя через ваш переулок и увидев огни в ваших окнах, мы решили, что Гиляй дома, и вот мы все у ваших ног.

— Самовар на столе, свежие филипповские калачи и сливочное масло тоже, а стакан красного вина уж как-нибудь найдется! Рассаживайтесь, друзья!»

Вот так вот. Раз — и вместо пива в кабачке — вино у Гиляровского. Тепло, уютно и платить не нужно (хотя вряд ли господа актеры первого разбора испытывали финансовые проблемы).

А Гиляровскому — радость. Гости пришли. Притом довольно известные люди в Москве.

Случалось, что Владимир Алексеевич чуть ли не силой затаскивал к себе гостей. Например, придет на выставку художников после закрытия — кого-нибудь да обязательно застанет. Дверь на запоре — а ему нипочем. Грохочет что есть сил:

— Эй! Откройте, кому жизнь дорога!

Перепуганный художник подкрадется тихой сапой к двери:

— Кто это?

— Кто? Дед Пихто с котомкой! Будет в темноте сидеть, поехали в Столешники, чай в самоваре выкипит!

Тут становилось ясно — свой. И ехали в Столешники — то ли из уважения и интереса, то ли от отсутствия иных забав, а то ли просто с перепугу.

А еще у Гиляровского, как у юной барышни времен Пушкина, был альбом, в котором он просил оставить свой «след» почетных посетителей.

Виктор Михайлович Лобанов вспоминал: «На письменном столе хозяина среди изобилия всякого рода бумаг и книг лежал альбом. На одном из листов его Чехов в присутствии своего друга художника Левитана нарисовал карандашом вид Гурзуфа с дачей известного в те времена богача Губонина.

На книжных полках в квартире долгое время оставались нетронутыми книги, когда-то просмотренные Чеховым и как бы сохранившие теплоту чеховских рук».

Александр Куприн, к примеру, написал в альбоме: «Дорогой

дядя Гиляй, крестный мой отец по литературе и гимнастике, скорее я воображу Москву без царь-колокола и без царь-пушки, чем без тебя. Ты — пуп Москвы. Твой непокорный сын А. Куприн».

А Иван Бунин оставил такую запись: «Занятный ты человек, Владимир Алексеевич, тебя обязательно надо описать». (Кстати, надул, не описал.)

Демьян Бедный (уже после революции) был короток и лапидарен: «Добрейшему дяде Гиляю от злейшего Демьяна Бедного».

Расписывались в том альбоме Алексей Толстой, Валерий Брюсов — всех не перечесть. Владимир Алексеевич очень гордился этими автографами и при случае показывал альбом другим гостям.

И, разумеется, Владимир Алексеевич рад был оставить о себе память в чужих альбомах. Когда в 1916 году подобный альбом завел художник Репин, Гиляровский сделал в нем первую запись — стихи и оттиск с собственной печати (изображавшей нашего героя в каракулевой папахе).

Было у Гиляровского еще одно довольно трогательное увлечение. Он коллекционировал календари с рисунками.

Что поделаешь — большой ребенок.

* * *

Супруга Владимира Алексеевича, Мария Ивановна, была талантливой рассказчицей. Николай Морозов вспоминал:

«Когда Чеховы приходили в гости к Гиляровским, Антон Павлович всякий раз, сидя за столом, обращался к Марии Ивановне с одной и той же просьбой:

— Мария Ивановна, пожалуйста, расскажите что-нибудь… Расскажите самое простое… самое обыкновенное.

Мария Ивановна, умевшая, кстати сказать, мастерски рассказывать о своих повседневных встречах и наблюдениях, охотно исполняла его просьбу. Она особенно комично передавала в лицах разговоры простых людей — молочниц, разносчиков, прачек, прислуги, иллюстрируя речь и характерное в человеке всякими забавными их ужимками, жестами, мимикой, и старалась каждого из «персонажей» поставить на свой голос. Антон Павлович слушал ее с удовольствием, от души хохотал и делал какие-то отметки у себя в записной книжке.

В шутку В.А. Гиляровский говорил, что в Марии Ивановне пропадает большая комическая артистка. Чехов, видимо, разделял это мнение и потому всякий раз просил ее

рассказывать».

Надо полагать, Марья Ивановна обладала множеством иных талантов, да только вот Владимир Алексеевич ее все время затмевал. А впрочем, она вовсе не стремилась к первенству.

* * *

При случае Владимир Алексеевич сам закупал провизию. У него это получалось лучше, чем у любой кухарки или же домохозяйки. Не удивительно — он и в продуктах разбирался хорошо, да и многочисленные связи были на руку — в том числе и среди лавочников.

Поход за снедью обставлялся как таинство. Николай Морозов вспоминал: «Как-то зашел ко мне в комнату В.А. Гиляровский и спросил:

— Нет ли у тебя желания побывать в Охотном? Хочется купить судачка.

Завтра воскресенье. Обедать Владимир Алексеевич собирается дома и, как большой любитель рыбных блюд, хочет сам сделать покупку. Я любил бывать с ним где бы то ни было и поэтому сразу согласился.

Идем в прихожую одеваться. Он снимает с вешалки свою „знаменитую“ и неизменную шубу татарского покроя на кенгуровом меху, застегивает ее на один лишь нижний крючок, оставив грудь нараспашку, натягивает на голову черную мерлушковую папаху, и мы выходим на улицу.

В многолюдной толпе столицы, в ее живописной пестроте, в сутолоке каждый, казалось, сливается с массой, утопает в ней и становится незаметным. В.А. Гиляровский, наоборот, своим внешним видом — папахой, сдвинутой по-казачьи на затылок, запорожскими усами, оригинальной шубой и лихой повадкой — бросается в глаза и настойчиво запоминается…

Наконец мы в Охотном, в рыбном магазине Калганова. Покупателей множество. Но при виде В.А. Гиляровского из-за конторки выходит сам Калганов и приветствует его, подняв зимний картуз. Подлетают и продавцы. Руки у них в кожаных нарукавниках, от засаленных фартуков пахнет рыбой.

— Чем угощать, Владимир Алексеевич?

— Судачка нам, — отвечает он.

Подходим к мраморным настилам с рыбой.

— Судак у нас всех рек и морей, какого прикажете?

Окинув взглядом выложенных судаков, он отвечает:

— Люблю донского.

— Слушаю. — Продавец скрывается и быстро выносит рыбину.

— Донской, пылкого морозца.

Покупатель, надев пенсне, внимательно осматривает рыбу.

— Хорош.

Рыбу кладут на весы. Судак как судак, с первого взгляда не поймешь, чем же он отличается от всех остальных. Спрашиваю его об этом тихо. Он тихо отвечает:

— У донского судака головка меньше, чем у прочих, и мясо удивительно нежное. Если блюдо умеючи приготовить, то получится не судак, а симфония Бетховена.

Возвращаемся домой. Он сейчас же идет к Марии Ивановне сказать о покупке.

— Принесли на завтра замечательного судака.

— Спасибо, Гиляй! — А когда он уходит, слышится ее добродушное замечание: — Мы живем с ним двадцать лет. Я всегда говорю одно и то же: терпеть не могу рыбы, а он всякий раз угощает меня судаком…»

Да уж. Чем-чем, а куртуазностью Владимир Алексеевич не отличался.

Наш герой любил вкусно поесть. Е. Киселева писала: «Оставаясь равнодушным к тому, как выглядел интерьер квартиры, дядя Гиляй не был равнодушен к тому, как выглядел накрытый стол. Он не был гурманом — почти вся жизнь прошла на ходу. Но никогда не оставил бы дядя Гиляй без внимания, незамеченной картину хорошо сервированного стола к ужину, к обеду или к утреннему чаю. Не признавал сервизов, особенно не любил чайные, чтоб на столе было как можно больше разнообразных по форме и по краскам чашек. Разными были и сахарница, масленка, молочник и кольца для салфеток. Дяде Гиляю нравились кольца, сделанные из бересты и раскрашенные, — такие можно было найти только на родине дяди Гиляя, в вологодских местах. Посуду старался покупать сам, чтоб дома не было никаких повторений. Любил цветное стекло, не хрусталь, а именно стекло, но цветное.

Настоящая беда была с чайными ложками. Если дяде Гиляю приходилось засиживаться за столом, хоть одну, да скрутит винтом. Мария Ивановна сердилась, останавливала, каждый раз он соглашался: не дело портить ложки, хотя иногда утверждал — ложка штопором тоже неплохо, и опять через некоторое время сворачивал, даря гостям как памятки.

Несмотря на всю неприхотливость в еде, когда это было нужно, дядя Гиляй не прочь был и вкусно поесть. В доме всегда были пироги. Эту слабость в нем всячески поддерживала

Кормила.

— Нет пирога, и домом не пахнет, — говорила она и особенно старалась над пирожками, начиненными морковью и черникою, любимым его лакомством с детства. Еще приходилось Кормиле хлопотать над бараньим боком с начинкой из гречневой каши».

* * *

Владимир Алексеевич, будучи хлебосолом, очень смущался, когда гости ему делали подарки. Мамина-Сибиряка Гиляровский за это каждый раз ругал, однако же Дмитрий Наркисович не мог заявиться с пустыми руками. Однажды он преподнес Гиляровскому чашку и блюдце и, не дожидаясь гневной отповеди, произнес:

— Нечего тут сердиться, я не покупал, а выиграл в детской лотерее.

Владимир Алексеевич успокоился.

А чашка, кстати, отличалась необычными размерами — в нее входило семь простых стаканов. Гиляровский дал ей кличку: «Пей вторую». Блюдце же использовали в качестве салатника.

И даже в своем хлебосольстве наш герой умудрялся чудить. Однажды, например, позвал себе к обеду одного начинающего живописца. А перед обедом повез его в трактир.

— Зачем? — недоуменно спрашивал художник.

— А затем, чтобы сыт был, — ответил радушный хозяин. — А то приедешь, накинешься на еду, как волк зимой на овчарню, а вокруг люди интересные, разговор любопытный, и все пропустишь мимо ушей. А поевши, по-другому будешь реагировать на окружение.

* * *

В 1904 году состоялась одна из последних встреч двух друзей — Чехова и Гиляровского. О ней вспоминала Надежда Владимировна, дочь «короля репортеров»: «Последний раз я видела Чехова незадолго перед его отъездом в Баденвейлер. Из частых бесед отца с матерью я знала, что здоровье Антона Павловича внушает серьезную тревогу, что дни его буквально сочтены.

Накануне этого последнего свидания с Чеховым отец получил записку, в которой Антон Павлович сообщал, что хочет его

повидать и собирается зайти завтра.

Был теплый майский день. Часов около двенадцати раздался звонок. Я открыла дверь и увидела незнакомого человека. Он сказал, что внизу, на лестнице, какой-то господин в пенсне ожидает кого-нибудь из семьи Гиляровских.

— Пойдем со мной, Надюша, — сказал отец. — Это, наверное, Антоша… Но почему он не хочет войти в дом?

Мы спустились на площадку под нами. Там, на скамейке, тяжело дыша и кашляя, сидел Антон Павлович. Свет из окна слабо освещал его бледное, покрытое испариной лицо, и в полумраке он выглядел очень похудевшим, осунувшимся.

Он посмотрел на нас своими ясными глазами, несколько раз кашлянул и, комкая в руках платок, тихо, точно стесняясь, сказал отцу, что смог взойти только на половину лестницы — подняться на третий этаж у него не хватило сил.

Отец послал меня за водой. Я быстро принесла стакан и, держа его, молча стояла перед друзьями. Оба они сознавали, что видятся в последний раз, но не хотели и не могли сказать об этом друг другу. Чехов что-то шепнул отцу. И хотя я стояла почти рядом, но от волнения ничего не слышала.

Антон Павлович вскоре отдышался и, глядя на меня, улыбался.

— Не надо, Надюша, — в смущении говорил он, отстраняя протянутый мною стакан воды. — Ничего!.. Обойдется. Все будет хорошо… Все устроится.

— Мы сейчас придем, — сказал отец, и они ушли. Владимир Алексеевич вернулся через два часа.

— Плох Антоша, — сообщил он матери. — Едет за границу. Чует сердце: не вернется он оттуда. И зачем он едет?»

Чувствовал это и Чехов. Попрощаться зашел.

Впрочем, последняя встреча друзей состоялась не здесь, а у Чехова, в Леонтьевском переулке. Владимир Алексеевич писал о ней: «В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть и что доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на четвертый этаж дома Полякова, 22, по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама навстречу мне отворилась и вышел доктор Ю. Р. Таубе.

— Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали. Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется.

— Каков он?

— Слаб. Послезавтра за границу.

На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна (Книппер. —

А. М.) с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась:

— Я испугалась, думала, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам…

Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидал Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое… и руки тоже… Услышав шаги, он поднял голову… Один момент — и три выражения: суровое, усталое, удивленное — и веселые глаза.

Радостная Антошина улыбка, которой я давно не видел у него.

— Гиляй, милый, садись на диван! — И он отодвинул ноги вглубь.

— Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчасика вас покину, — обратилась ко мне Ольга Леонардовна.

— Да я его не отпущу! Гиляй, какой портвейн у меня! Три бутылки!

Я взял в свою руку его похудевшую руку — горячую, сухую.

— А ну-ка пожми! Помнишь, как тогда… А табакерка твоя где?

— Вот она.

Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке и поднес ее близко к носу.

— С донничком? Степью пахнет донник. Ты оттуда?

— Из Задонья, из табунов.

— И неуков объезжал?

— И неуков объезжал, и каймак ел, и цымлу пил, и выморозки…

— Хорошо там у нас… Наши платовские целинные степи!

Он задумался.

— А я вот за границу еду, да… за границу…

— Прекрасно, а как вернешься, в степи тебя повезу, в табуны.

— Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливец… Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи.

Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле, о каторжной работе табунщиков зимой в голодовку да в шурганы, когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать… а он слушал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль… задумчивые, радостные… Думаю, степь увидал.

— Допивай портвейн, там в шкафу еще две бутылки… Хороший портвейн… Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне да скажи, что приеду

обязательно ее наливки пить… Помнишь, тогда… Левитан, Николай, опенки в уксусе…

И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку.

— Я так, минутку… не уходи, пей…

И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками и думал:

«Нет, Антоша, не пивать тебе больше сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных…»»

Гиляровский прощался со своим лучшим другом…

Антон Павлович был самым почетным гостем у Гиляровских. А после его смерти в их квартире был образован своего рода чеховский музей. Виктор Михайлович Лобанов вспоминал: «В гостиной Столешников находился небольшой уютный диванчик, прозванный Чеховым „вагончиком“. На этом „вагончике“ Антон Павлович любил отдыхать после обеда.

В рабочей комнате Гиляровского стояло очень удобное, сделанное по специальному рисунку Чехова, низкое, с большой широкой спинкой кресло. Сидя в нем, Чехов «пробегал» многочисленные газеты, получаемые в Столешниках.

Около кресла стояла небольшая неказистая этажерка. На ее полки Чехов аккуратно складывал прочитанные газеты, в отличие от хозяина Столешников, который оставлял их на полу около кресла.

В буфете среди чайной и столовой посуды сохранилась чашка, из которой Чехов пил крепкий, специально для него завариваемый чай.

Хранились также старинной поделки небольшой хрустальный стаканчик, из которого Чехов охотно потягивал подогретое красное вино, и толстого стекла пивная кружка».

Еще не был открыт чеховский музей ни на Садово-Кудринской, ни в Ялте, а на квартире Гиляровского он уже действовал вовсю.

* * *

В августе 1904 года Гиляровский решил показать своей дочери Волгу. Их отъезд был неожиданным — Владимир Алексеевич просто приехал в «Гиляевку» и сказал: «Собирайся». Наденька с радостью собралась. Не удивительно — эта поездка

была подарком за окончание гимназии с золотой медалью.

В эту поездку Наденька вела дневник. И неизвестно, что больше ее привлекало — красота природы, города или же колоритный папаша. «В каждом городе, — вспоминала Н. В. Гиляровская, — отец в первую очередь шел на пристани к крючникам, на пароходе пропадал на нижней палубе, знакомясь и разговаривая с судовыми рабочими, и если на мою шляпу, платье смотрели иногда искоса, то его белый френч и сапоги ничуть не смущали тех, на ком были лапти и онучи, заплатанные и перезаплатанные рубахи и штаны. Открытая доброжелательность звучала в каждой нотке его голоса, исчезала порывистость и появлялась мягкость, с какой он говорил в минуты очень хорошего настроения. В общем, с первых же слов его, обращенных к кому-нибудь из крючников и других рабочих, колючие огоньки из их глаз исчезали и ответ всегда был задушевно искренним, дружески откровенным и теплым».

Это был Рыбинск. В Ярославле же — своя «культурная программа». «И хотя „Ломоносов“ стоял в Ярославле сравнительно мало, — вспоминала Н. В. Гиляровская, — мы все же успели съездить к сорокинскому заводу. Отец, как только сошли с парохода в Ярославле, сейчас же нанял извозчика, и мы „с ветерком“ помчались к сорокинским владениям. Мне очень хотелось посмотреть побольше и сам город, но у отца было одно желание — попасть на завод, и поэтому он все время торопил извозчика. Наконец приехали. Высокий забор, за которым не видно ни души, только по временам неслось протяжное подвывание собак. Мы прошли вдоль забора, заросшего пыльной лебедой и крапивой, к Волге. Отсюда можно было, повернувшись спиной к реке, увидеть какие-то строения, вернее, их крыши. Смеркалось.

Неожиданно что-то загремело, послышалась отчаянная ругань, затем все смолкло, и снова гнетущая тишина…

— А за забором в длинных казармах спят люди, — сказал мне отец, — и ночь не снимет с них усталости».

Странным получился тот подарок — ни Спасского монастыря, ни крепостной стены и башен, ни прекрасной набережной, ни театра Волкова — ничего того, что в этом городе осматривали и осматривают ныне многочисленные путешественники. Но Наденька не огорчалась — ведь отец ее возил по местам «своей боевой славы», и ей, любящей дочери, все это доставляло удовольствие.

* * *

В 1904 году началась Русско-японская война. Это, конечно, ознаменовалось усилением цензуры — во времена военных действий гражданские свободы ощутимо урезаются, всегда и всюду. Из столицы в Москву прибыл начальник Главного управления по делам печати Н. А. Зверев. И собрал редакторов, чтоб объяснить им что и как. В этой компании был и Владимир Алексеевич, в качестве редактора журнала «Спорт».

— Что это вам далась какая-то конституция! — кипятился Зверев. — Что это, господа? В такое время! Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема, например, сегодняшний факт — сопка с деревом!

Выйдя из кабинета, Гиляровский порадовал своих коллег свежим экспромтом:

Вот вам тема — сопка с деревом,
А вы все о конституции…
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…
Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые,
Есть вам тема — сопка с деревом:
Ни гу-гу про конституцию!
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…

Наш герой лишний раз подтвердил репутацию смелого балагура-интеллектуала.

Война же послужила материалом для очередного журналистского расследования. На сей раз оно касалось гнилых ниток, которые отпускали интенданты на пошив одежды для солдат. Один из журналистов, Н. Шебуев, так писал об этом: «Отнюдь не иваново-вознесенскими забастовками вызван ниточный кризис в здешнем интендантстве. Честь его открытия принадлежит неутомимому, вечно юному всемосквичу В. А. Гиляровскому. Сейчас я был у него и видел наделавшие такого переполоха в интендантстве „инкриминируемые“ нитки, видел письма, которые валятся к нему со всех сторон каждый день. Взял даже себе на память пучок ниток, рвущихся, как паутина, и несколько красноречивых писем. Этими нитками, гнилыми и никуда не годными, сшиты миллионы солдатских рубах, штанов,

халатов. Работы исполняются конторами, взявшими на себя подряды, а конторы от себя сдают работу несчастным женщинам, получающим пятак за шитье рубахи, пятак за пару штанов, двугривенный за халат. Нитки конторы заставляют покупать у себя. На пошивке вещей и на нитках, на этом грошовом предмете, наживаются чудовищно».

Вот это — тема! А то — «сопка с деревом».

Вообще-то Владимир Алексеевич был знатный балагур, экспромтщик и душа компании. Время научило его чувству такта. Понял, что веселиться и смешить других не обязательно за счет унижения и неприятностей других людей. Николай Морозов вспоминал: «Хорошо знавшие Гиляровского не представляли его себе без шуток и острот. Подобно чуткому сейсмографу, отмечающему малейшие колебания почвы, он отзывался экспромтами на всякие случаи жизни… Всегда бодрый и веселый, Гиляровский не терпел всяких хлюпиков и унывающих. Он говорил: „Мир существует миллионы лет. Сколько за это время было скуливших, потерявших присутствие духа, но никому от этого не было легче!“

У него был свой рецепт долголетия: «Никого и ничего в жизни не бойся и никогда не сердись — проживешь сто лет!»

В обществе он любил вызывать у всех подъем, вносил бодрое и веселое настроение. Экспромты и остроты срывались у него с языка то и дело, всегда меткие и остроумные. В хорошей компании, да еще за стаканом хорошего вина, он исписывал экспромтами скатерти. Сам он и посторонние часто экспромтов его не записывали, и потому, к сожалению, многие из них остались в нетях.

Часто писал он на темы, задаваемые ему. Каких только тем ему не предлагали, чтобы испытать его мастерство или поставить в тупик!

Вот тема: урядник и море — слышит он.

Немного подумав, он пишет и на эту тему:

Синее море, волнуясь, шумит,
У синего моря урядник стоит,
И злоба урядника гложет,
Что шума унять он не может.

Высокой поэзией это, конечно же, не назовешь. Но вполне способно поднять тонус заскучавшего застолья.

Кстати, стихотворчество настолько захватило Гиляровского,

что он ввел в своем доме такую игру. Домашние и гости усаживаются в круг, и кто-нибудь из них произносит четверостишие. Следующий игрок тоже должен произнести четверостишие, но так, чтобы оно начиналось со слова, которым заканчивалось предыдущее.

Способности к стихосложению от этого, естественно, не увеличивались, но память, безусловно, улучшалась».

В том же 1904 году Владимир Алексеевич вдруг проявил интерес к жизни выпускниц московских акушерских курсов. Выяснилось, что их будущее не такое уж и светлое, как представлял это официоз: «Два года жизни впроголодь. Два года беспрерывной работы при напряженных нервах, работы часто без сна, неделями не раздеваясь.

В маленькой дежурной комнатке с четырьмя кроватями и столом посредине их помещается день и ночь тринадцать, а иногда сорок.

Сидят разговаривают. Устало дремлют вокруг стола. Пьют чай иногда только с черным хлебом. Кто что принесет из дома. Днем им дают на дежурстве по тарелке супу и по котлетке, но не на всех, а на половину собравшихся. И они делят пополам все, что принесут им.

Ночь. Они дремлют вокруг стола или по четверо спят поперек кровати в своей дежурке. Кое-как, до первого крика больной. Вдруг звонок от швейцара. И дежурная, уже сутки не спавшая, вскакивает и бежит вниз».

Все интересовало нашего героя.

* * *

Например, полет на самолете. Как тут устоять!

«Знаменитый… мой старый друг и ученик по гимнастике авиатор Уточкин делал свои первые московские полеты на Ходынке на неуклюжем своем „фармане“, напоминавшем торговый балаган с Сухаревки. Впереди — отгороженное место авиатора, сзади — совсем не отгороженная деревянная скамья обыкновенная, без спинки и ручек, табуретка, прибитая гвоздями к двум деревянным продольным балкам-полозьям — основанию аэроплана. Чтобы сесть на эту табуретку, надо было пробраться между сети тонких проволок, что я и сделал с трудом, с моей широкой фигурой, и поместился на очень маленькой табуреточке, закрыв ее всю и поставив ноги на дощечку, для этой цели положенную поперек перекладин. Приветствия, пожелания провожающих в полет, который первый в Москве, в виде опыта,

предложил мне по-дружески Уточкин… Потом рев пропеллера, тряска и прыжки колес по неровной Ходынке. Вдруг — чувство, что сердце встало и дыхание захватило: я оторвался от земли! Затем аппарат плавно двинулся по воздуху вверх. Ощущение, когда земля проваливается под ногами, я уже испытал и прежде, при подъеме на аэростате, но эта ужасная табуретка! Но эти — еще ужаснее — проволоки, за которые при каждом крене поворота хочется схватиться, так и тянут руки к себе! Подо мной скачки… Я вижу толпы на трибунах. По зеленому кругу цветные камзолы жокеев, выезжающих на старт. А далее Москва, Москва с ее золотыми куполами, садами, кольцом Садовой. А все-таки жутко… Я уже омосковился, отвык от бродяжных рисков юности. То и дело руку тянет к погибельным проволокам».

Вот так-то! Омосковился, отвык, но формы не потерял.

* * *

Более всего Владимир Алексеевич гордился тем, что сотрудничал с сытинским «Русским словом». В начале XX века это издание было одним из самых прогрессивных в государстве. Как по своей идеологии, так и по организации труда. А здание «Русского слова», по сей день стоящее на Тверской улице (дом № 18), было тогда известно на всю Москву.

Бренд «Русские ведомости» существовал еще до Сытина — Иван Дмитриевич его просто-напросто перекупил. Причем идея была не его, а Антона Павловича Чехова. Антон Павлович считал, и совершенно справедливо, Сытина одним из самых предприимчивых издателей. Он говорил: «Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею. Сытин умный мужик».

Если отбросить пафос чеховского комплимента, то суть его сводится к похвале Ивана Дмитриевича именно как рыночника — тот, в отличие от большинства издателей страны, смекнул, что максимальную и при этом стабильную прибыль приносят вовсе не дорогие издания, рассчитанные на элитную публику, а дешевые и простенькие, рассчитанные на людей со средними и низкими доходами.

Сам Сытин вспоминал о том, как принималось непростое, в общем-то, решение — к своему налаженному и сверхприбыльному издательскому бизнесу присоединить газетный: «Занимаясь книгоиздательством, я посвятил этому делу все свои силы и никогда серьезно не думал, даже не помышлял об

издании газеты. Это было мне несродно и чуждо, я не знал газетного дела и очень боялся его чрезвычайной сложности и трудности. Но А. П. Чехов, которого я безгранично уважал и сердечно любил, почти при каждой встрече говорил мне: „Сытин должен издавать газету“. И не какую-нибудь, а дешевую, народную, общедоступную. Вначале я, как умел, отшучивался. Но Чехов был так настойчив и так соблазнительно рисовал передо мной широкие газетные перспективы, что в конце концов он не только убедил, но положительно зажег меня. Я почти решился».

Итак, Иван Дмитриевич после долгих раздумий купил у бывших владельцев газету «Русское слово». И приступил к строительству здания для редакции. Внешняя его часть была выполнена в модном в то время стиле «модерн», а внутренняя — в соответствии с зарубежными аналогами. Гиляровский вспоминал: «Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты: всюду коридорная система, у каждого из крупных сотрудников — свой кабинет, в вестибюле и приемной торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов; ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя…

Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет И. Д. Сытина, кабинет В. М. Дорошевича, кабинет редактора Ф. И. Благова, кабинет выпускающего М. А. Успенского, кабинет секретаря и две комнаты с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно звонящими телефонами заведовавшего московской хроникой К. М. Даниленка.

У кабинета В. М. Дорошевича стоял постоянно дежурный — и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам И. Д. Сытин».

Любопытной была также кадровая политика нового издания. Топ-менеджмент состоял из официального редактора Ф. Благова (близкого родственника хозяина) и реального руководителя, известного в те времена фельетониста Дорошевича. Это — еще одна из смелых менеджерских находок Сытина. Влас Дорошевич не получил даже среднего образования, зато имел богатый жизненный опыт (служил грузчиком, землекопом, актером), а затем и журналистский («Московский листок», «Одесский листок», «Новости», «Россия»).

Ставка на Дорошевича оказалась удачной. По воспоминаниям того же Гиляровского, «И. Д. Сытин не вмешивался в распорядки редакции. Редактором был утвержден его зять, Ф. И. Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший В. М. Дорошевичу делать все, что он хочет. В. М. Дорошевич, с титулом „короля фельетонистов“ и прекрасный редактор, развернулся вовсю.

Увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки, должно быть, по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу».

И вправду, Дорошевич отличался чрезмерной по московским меркам строгостью. По словам одного из сотрудников, в редакции не было «ни признака богемы, беспорядка, панибратства». Когда Влас Михайлович появлялся в редакции, все замолкали и углублялись в работу. Дорошевич лично проверял все тексты, предназначенные для публикации, и иной раз просиживал в редакции до поздней ночи, требуя того же от своих высокооплачиваемых сотрудников.

Впрочем, вне редакционных стен он был совершенно другим человеком — гурманом, сибаритом, балагуром и не чуждался прочих удовольствий. Похождения его иной раз приводили к неприятностям. Однажды, например, когда компания подвыпивших писателей и журналистов ехала зимой в санях по Петровскому парку, на одном из поворотов Влас Михайлович вдруг вывалился из саней. Тепленькая компания потери не заметила, а вот «король фельетонистов» до утра пытался выбраться из парка, но никак не мог найти дорогу. Ревматизм, заработанный в ту ночь, преследовал его потом на протяжении всей жизни.

Владимир Алексеевич очень гордился неформальными, приятельскими отношениями с Дорошевичем: «В. М. Дорошевич знал, что я работаю в „Русском слове“ только по его просьбе. Уезжая за границу, он всегда просил меня писать и работать больше, хотя и при нем я работал немало».

По мнению Гиляровского, именно ему «Русское слово» было в первую очередь обязано своим успехом. Конечно, он об этом скромненько умалчивал, но делал весьма прозрачные намеки: «Помню, в день, когда тираж „Русского слова“ перевалил за сто тысяч — в первый раз в Москве, даже и в России, кажется, — меня угощала редакция обедом за мой фельетон „Ураган“». Этот «фельетон» (хотя чего там фельетонного?) был посвящен страшному урагану, потрясшему Москву 19 июня 1904 года. «Всем приходилось видеть сосны, разбитые молнией, — писал Владимир Алексеевич. — Обыкновенно они расщеплены и переломлены. Всем приходилось видеть деревья, вырванные бурей с корнем. Здесь, в погибшей роще, — смешение того и другого, очень мало вырванных с корнем — почти все деревья расщеплены и пересыпаны изорванными намелко ветвями.

Я стоял посреди бывшей рощи. Среди поваленных деревьев,

блестевших ярко-белыми изломами на темной зелени ветвей. Их пересекали черные тени от высоких пней, окруженных сбитыми вершинами и оторванными сучьями. Мертвый блеск луны при мертвом безмолвии леденил это мертвое царство. Ни травка, ни веточка не шевелилась. Даже шум города не был слышен. Все будто не жило.

Вот передо мной громадные разрушенные здания кадетского корпуса и военно-фельдшерской школы с зияющими окнами, без рам и стекол и черными отверстиями между оголенных стропил. Правее, на фоне бледного неба, рисовался печальный силуэт пятиглавой церкви и конусообразной колокольни без крестов… Еще правее — мрачная, темная военная тюрьма, сквозь решетчатые окна которой краснели безотрадные огоньки.

Я шел к городу, пробираясь между беспорядочной массой торчащих во все стороны ветвей, шагая через обломки. Было холодно, жутко. И рядом с этим кладбищем великанов, бок о бок, вокруг мрачной громады тюрьмы уцелел молодой сад. Тонкие, гибкие деревца, окруженные кустарниками, касались вершинами земли — но жили. Грозная стихия в своей неудержимой злобе поборола и поломала могучих богатырей и не могла справиться с бессилием.

И кругом зданий корпуса и школы среди вырванных деревьев уцелели кустарники. Разбиты каменные столбы, согнуты и сброшены железные решетки, кругом целые горы свернутого и смятого, как бумага, кровельного железа и всевозможных обломков, среди которых валяется труп лошади.

Проезжаю мимо церкви Петра и Павла, с которой сорваны кресты, часть куполов и крыша. Около военного госпиталя груды обломков. Здания без стекол и крыш, сорвана и разбита будка — квартира городовых, сад фельдшерской школы в полном разрушении. Останавливаюсь у городового. Его фамилия Алексеев. В момент смерча он был на том же месте. Его и рабочего с городского бассейна вихрем подняло с земли и перебросило через забор в сад. Придя в себя, он вытащил из-под упавших обломков забора и бревен молившего о помощи человека. Дальше — госпитальный вековой парк без деревьев: одни обломки. Мост через Яузу сорван. Направо и налево, вплоть до Немецкого рынка. Картина разрушения здесь поразительна. Особенно ярка она с Коровьего Брода, если смотреть от здания Лефортовской части. Направо разрушенный верх Лефортовского дворца, впереди — целая площадь домов без крыш с белеющей сеткой подрешетников, налево — изуродованная громадная фабрика Кондрашова с рухнувшей трубой поперек улицы: проезда нет. Против части стоит без крыши дом Нефедова. Когда сорвало

с этого дома крышу, то листами железа поранило прохожих и побило лошадей.

По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско-Казанской ж. д. сорвало крышу с элеватора, перевернуло несколько вагонов, выбросило и поломало будки и столбы телефона, а высокий железный столб семафора свернуло и перегнуло пополам, уткнув верхний конец в землю.

Здесь много пострадало народа, особенно извозчиков и рабочих.

И дальше, к Сокольникам и в Сокольниках, та же картина разрушения. С десятками очевидцев в разных местах говорил я, и все говорят, в общем, одно и то же.

В 3 часа ночи я снова поехал взглянуть на картину разрушения при свете просыпающегося дня, начав с Сокольников.

Кладбище Анненгофского бора было ужасно.

Было уже совершенно светло, ветерок шевелил наваленные между трупами старых сосен зеленые ветви.

Окружив рощу и выбравшись на Владимирское шоссе, я остановился у точки столицы, первой принявшей на себя губительный порыв смерча. И пострадавшей больше всех.

Это ряд зданий Покровского товарищества ассенизации.

Бывших зданий.

Теперь от дома конторы, казарм и службы — груды обломков. Впереди сотня бочек, некоторые пробиты воткнутыми в них бурей бревнами, принесенными издалека.

Налево, за канавой, среди обломков Анненгофской рощи, вокруг костра греются рабочие, оставшиеся без крова. Пасется табун лошадей, уцелевших, и валяются убитые лошади.

Близ кучки служащих из-под чистых рогож видны сапоги.

Я попросил поднять рогожу. Передо мной измятый труп человека средних лет, в пиджаке и рабочей блузе.

Челюсти поломаны, под левым ухом в черепе огромная рана. Смерть была мгновенная. Это — слесарь Николай Вавилов, оставивший после себя голодную семью из четырех детей и беременную жену. Старшей девочке 9 лет.

Кроме него, сильно ранило четырех рабочих, которые отправлены в больницу.

Стоящие передо мной люди первые встретили смерч и спаслись случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди, откуда пришел смерч, широкое поле, за которым верстах в трех село Карачарово и деревня Хохловка.

Несмотря на пасмурное утро, даль видна хорошо, и можно различить разрушенные дома Карачарова и колокольню без креста: его сорвало с частью купола.

Картина катастрофы такова.

Сначала легкий дождь. Потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то черное повисло над Москвой… Потом это черное сменилось зловеще-желтым… Пахнуло теплом… Затем грянула буря, и стало холодно.

Так было во всей Москве.

Здесь очевидцы рассказывали так.

После грозы над Карачаровом опустилась низко черная туча. Это приняли за пожар: думали, разбиты молнией цистерны с нефтью. Один из служащих бросился в казармы и разбудил рабочих. Все выскочили и стали смотреть на невиданное зрелище. Туча снизу росла, сверху спускалась другая, и вдруг все закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся черной массы, захватившей небо, сверкают молнии, другим казался пронизывающий сверху вниз черную массу огненный стержень, третьим — вспыхивающие огни…

Эта страшная масса неслась на них, бросились — кто куда, не помня себя от ужаса. Покойный Вавилов, управляющий Хорошутин с пятилетней дочкой и старухой матерью спрятались в крытой лестнице, ведущей в контору. Все ближе и ближе несся страшный шум.

В это время бросились в коридор, спасая свою жизнь, три собаки. Вавилов, помня народную примету, что собаки во время грозы опасны, бросился гнать собак и выскочил за ними из коридора.

В этот момент смерч налетел. От зданий остались обломки. Коридор случайно уцелел. Хорошутин с семьей спасся. А тремя ступеньками ниже, на земле, под обломками в полусидячем положении виднелся труп Вавилова.

И теперь, через 12 часов, на этом месте лужа не засохшей еще крови…

Только спустя долгое время люди начали вылезать из-под обломков и освобождать раненых. Здесь ужасная картина разрушения…

В роще, как говорят, тоже найдутся трупы. Там были люди. Эта роща — неизменный притон темного люда, промышлявшего разбоями в этой неспокойной местности.

В 7 часов мы с моим спутником поехали в город и до самого дома не обменялись ни одним словом.

Впечатление ужасное».

Вот такие «фельетонные» события. Владимир Алексеевич описывал их, сидя за столом самого Власа Дорошевича, — честь, оказываемая только избранным.

Но больше всего льстило Гиляровскому, что Дорошевич иной

раз захаживал к нему запросто, пообедать: «Он иногда обедал у меня, всегда предупреждая:

— Попроси Марию Ивановну, чтоб она меня борщом с ватрушками угостила!

В назначенный день, одетый обязательно в смокинг, являлся к обеду и после первой тарелки жирного борща просил вторую, а то и третью тарелку, уничтожая при этом гору ватрушек.

Подают индейку. Жена спрашивает:

— Влас Михайлович, вам темного или белого мяса?

— И того, и другого, и по полной тарелке!..

Любил поесть!

А ночью, после обеда, в редакции просит меня:

— Позвони Марии Ивановне, не осталось ли там ватрушек? Я бы сам попросил, да стыдно!»

Такая вот нежная дружба.

* * *

А репортерский нюх у Гиляровского с годами выпестовался невероятно.

В 1905 году был убит генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович. Сразу после случившегося в доме в Столешниках раздался звонок. Трубку снял Николай Морозов, секретарь. И услышал взволнованный голос Ф. Благова, «номинального» (в отличие от Дорошевича) редактора «Русского слова».

— Гиляя нет?

— Нет, — ответил секретарь.

— Случилось важное происшествие: в Кремле убит великий князь Сергей Александрович. Не можете ли вы срочно связаться с Владимиром Алексеевичем?

— Могу, — ответил секретарь, более-менее представляя себе, где тот может находиться.

— Пожалуйста, попросите его побывать на месте происшествия и все подробно описать.

Секретарь отвечает согласием и вешает трубку. И сразу же телефон звонит снова. На проводе — сам Гиляровский:

— Новости о Сергее Александровиче знаешь?

— Знаем все.

— Откуда узнали?

— Звонили из «Русского слова», просили вас побывать в Кремле и все описать подробно.

— Я уже здесь, — заявил Гиляровский.

То, что Гиляровский быстрее всех приезжал на место происшествия, действительно, поражало. Влас Дорошевич как-то вспоминал: «В поисках сенсации для газеты я узнал, что в сарае при железнодорожной будке близ Петровско-Разумовского зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежды дать новинку, пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст десять по июльской жаре, застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, попросил разрешения зайти в будку, где судебный следователь проводил допрос. Я обратился к уряднику, караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, из нее быстро вышел кто-то — лица я не рассмотрел — в белой блузе, высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику и помчался, пыля по дороге. Меня принял судебный следователь Беренцевич, которому я отрекомендовался репортером.

— Опоздали, батенька, Гиляровский уже был и все знает. Только сейчас вышел, вон едет по дороге».

И этот случай — далеко не единичный. Вот что значит журналистское чутье.

Глава 8
Умеренный смутьян

Наступил 1905 год. В воздухе запахло революцией. Владимир Алексеевич не мог не чувствовать этого аромата. И это, разумеется, не могло не сказаться на работе Гиляровского. В частности, на репортаже, посвященном празднованию Первого мая в Сокольниках.

Мало кому сегодня в голову придет, что «первомай», праздник красных флагов, бодрых рапортов о достижениях и ликующих колонн принес в наш город царь. Монарх Петр Великий, реформатор.

До Петра его отмечали только иностранцы, в том числе и московские. Между собою. Они селились в северо-восточной части города и всякий год, Первого мая справляли праздник весны: закрывали мастерские, лавки, уезжали в рощи и там веселились — с песнями, плясками, барышнями и напитками.

Петру Великому традиция понравилась, и он велел всем москвичам тоже праздновать Первое мая. Для этого веселья особенное место отвели — Сокольники. Сам царь там своими руками первую аллею заложил.

Она до сих пор существует. Называется — Майский просек.

Поначалу «первомай» не приживался. Как и большинство нововведений реформатора. Но москвичи в конце концов не устояли против соблазна лишний раз попьянствовать и поплясать. Сначала присоединились к первомайским ветеранам — иностранцам, а затем и вовсе вытеснили их с гулянья.

Так возник очередной российский праздник.

«Не побывать первого мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником — да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни!» — писал знаток Москвы, исследователь Михаил Загоскин.

В этот день в Первопрестольной было пусто. Зато перед Сокольниками — не протолкнуться от обилия экипажей, конников и пеших посетителей гулянья. Москвичей влекла сюда одна лишь традиция — особенных затей в тот день в Сокольниках не замышлялось. К их услугам были всего-навсего торговцы клюквенным квасом, калеными орешками, пряниками, калачами и мороженым. И еще балаган с гимнастами, однако он почти не привлекал народ.

«Тут же множество столиков для невзыскательных любителей

чаепития на открытом воздухе», — словно извиняясь, сообщал путеводитель девятнадцатого столетия.

«Любители» и вправду были не взыскательны. Все тот же Михаил Загоскин писал: «Был бы только самовар, вода непокупная, чаю на троих довольно на двадцать копеек, на десять — леденцу; и вот наш мужичок примется пить не торопясь, с прохладою… Оно и дешево и безвредно».

Однако «мужичок наш» баловался отнюдь не только чаем, отдавал он должное и водочке. У Чехова, к примеру, есть целый рассказ о том, как некая дама приезжает с мужем на гулянья, а он довольно быстро напивается. Дама, разумеется, стыдится своего супруга и в конце концов «робко поднимает глаза на публику в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами. Ей становится легче».

Лишь в начале двадцатого столетия 1 мая стало днем пролетарским и, более того, революционным. Смутьяны облюбовали Сокольники для своих сборищ. Удобнее место найти было сложно. Парк заброшенный, тихий и от Москвы недалеко. Кроме того, сюда ходил трамвай.

Революционеры устраивали в парке сходки и даже стрельбище. Властям пришлось кусты повырубить, чтоб легче было наблюдать за заговорщиками. Однако ничего не помогало.

Особенно активными революционеры были именно 1 мая. Они разбрасывали крамольные листовки, пели «Варшавянку», «вживую» агитировали подгулявших обывателей. А после 1917 года этот день был узаконен как официальный праздник пролетариев.

Гиляровский же описывал то, что видел в парке в 1905 году: «О первом мая в Сокольниках говорили давно. Носились слухи о „бунте“, об избиениях, разгромах. Множество прокламаций в этом духе было разбросано всюду. Многие дачники, из боязни этого дня, не выезжали в Сокольники, и дачи пустуют.

Но это был измалеванный черт, которого, оказалось, бояться нечего.

Гулянье 1 мая в Сокольниках прошло благополучно. Народу было более 50 000…

Подстриженные, причесанные, одетые по средствам и обычаю, рабочие все были чисты, праздничны, и сновавшие между ними хулиганы и «ночные сокольничьи рыцари» ярко отличались от них.

И когда эта «рвань коричневая» подходила к группам рабочих, ее встречали не совсем дружелюбно…

…Если в толпе были только одни рабочие, — все обходилось

благополучно, послушают, поговорят и мирно расходятся. Иногда после речей кричали «ура», но было все смирно.

Не то, когда появлялись хулиганы и карманники!..

Городской праздник был окончен. Москвичи… убрались восвояси, кто на трамвае, кто на извозчике, кто пешком.

Рабочие остались в роще, заняли чайные столики, снова стали собираться в свои партии…

Часу в седьмом образовалась… одна партия, человек в триста, которая прошла по четвертому просеку до линии Московско-Ярославской ж. д. и на 5-й версте, на полотне, расположилась, и начались речи…

В самый разгар речей вихрем по 4-му просеку налетел взвод казаков, и толпа скрылась в чаще леса.

Это был последний эпизод в Сокольничьей роще 1 мая…

Все страхи и ужасы этого дня, навеянные некоторыми газетами и массой прокламаций, оказались вздорными.

Пусть же празднуют и рабочие!

Пусть 1 мая в Сокольниках будет их день. Как Татьянин день для студентов».

Вряд ли Владимир Алексеевич, при его-то осведомительской системе, ничего не знал про тиры, стрельбы и т.д. Однако предпочел смолчать, представить этот праздник всего-навсего как безобидные прогулки под весенним солнышком.

* * *

Тогда же, в 1905 году Владимир Алексеевич опубликовал свой очерк «На краю голодной смерти», пронзительный, образный и динамичный. Но, как и в случае с репортажем о ходынской катастрофе, он не содержал ни одного намека на обвинение власть предержащих: «Вчера в первый раз в моей продолжительной и богатой впечатлениями жизни я видел человека, умирающего от голода. Ребенка семи лет.

В самый последний момент его спасла горничная…

Вчера я получил следующую анонимную записку: «В меблированных комнатах 'Дон' (Арбат, Смоленский проезд), у жены д-ра медицины Полилова живет семейство без копейки денег. Вдова-иностранка продала все, что имела: последний жакет, одеяло, подушки, обручальное кольцо, но вырученными грошами не могла поддержать своего существования. Дети тяжело заболели… от голода… Посетите это бедствующее семейство. № 12».

— Кто живет в 12-м номере? — спрашиваю швейцара.

— Болгарка бедная… Прямо с детьми с голоду умирают…

Вхожу в номер. На матрасе, без простыни и одеяла, лежит мальчик: кожа да кости, взглянуть страшно. Хорошенькая девочка лет трех играет пробкой от графина. Меня встречает бедно одетая худенькая женщина, мать детей, болгарка А. Манолова.

Я извинился за визит и сразу, чтобы выйти из неловкого положения, заговорил о Болгарии, которую посещал и знаю. Нашлись общие знакомые. Разговор перешел и на настоящее положение.

Тут же пришла соседка по номеру, симпатичная старушка, г-жа Косырева, принявшая участие в положении детей. Выяснилось из общего разговора вот что.

Г-жа Манолова, учительница гимназии в Филиппополе, овдовев, переехала в Салоники с целью открыть начальное училище. Но дело не устроилось. Ей посоветовали уехать в Москву и наговорили, что московское славянское общество определит ее детей и даст ей работу. Россия велика! Москва богата! Русские любят болгар!

И на последние деньги она приехала в Москву. Извозчик с вокзала привез ее в номера «Дона». Денег еще было рублей пять. На другой же день г-жа Манолова отправилась в славянское общество и объяснила свое положение. На другой день ей назначили зайти, и она подала прошение о помощи и определении детей в приют.

Прошение взяли, в помощи отказали, говоря, что не ей одной, а всем отказывают, так как председатель г. Череп-Спиридович давным-давно отсутствует и дела стоят.

На четвертый день, уже продав на пищу последний скарб, она снова пришла в общество, и снова ей отказали.

Попробовала обратиться в сербское консульство, но ей, как болгарке, отказали.

И вот, уже голодная, она несколько раз ходила в славянское общество, и кто-то из служащих дал ей 2 руб. 20 коп. своих денег и рекомендацию к какой-то швее с просьбой дать работу г-же Маноловой, хорошо умеющей шить.

Швея отказала, своих мастериц много! Голод начинался. Все проедено, продать нечего, из номеров гонят, самовара давно не дают.

А кругом живут люди, и никто не знает, что рядом семья умирает с голоду.

Горничная Аннушка говорила мне:

— Только воду и пили… Дети то и дело просили графин переменить… И какие крепкие — молчат, что голодны! А мне и невдомек. Уже после догадалась — кусочек хлеба дала — да было

поздно. Мальчик уже чуть не умирает, стонет лежит.

Только тогда горничная сообщила об умирающем ребенке жильцам, и дело выяснилось. Послали за доктором. Тот нашел что-то близкое к голодному тифу и бесплатно устроил лекарство. Еще момент — и мальчик бы умер.

И теперь бедный Любомир не может еще ни пить, ни есть и с трудом принимает лекарство. А трехлетняя Райка поправилась.

Вчера был третий день с момента первого визита доктора.

Положение отчаянное. Пока кормят жильцы-соседи, но их мало и люди также без средств. С квартиры гонят. Ни на лечение, ни на пищу… и ехать некуда! и молчат…»

Кстати, и сам Владимир Алексеевич помог Маноловой деньгами. И, ясное дело, рассказал об этом в следующей публикации. Наш герой не был бы Гиляровским, если бы упустил возможность лишний раз порекламировать себя…

В мятежном 1905 году он не остался в стороне от политической жизни. В партию, правда, не вступал, на митингах не появлялся (разве что в качестве репортера), но, при случае, мог посодействовать рабочим в классовой борьбе. Однажды, например, вскоре после известного «кровавого воскресенья», к нему явился почтальон. Только не по служебной надобности, а, можно сказать, по личной. Сообщил секретарю:

— Вот, петицию ему принес. Не шибко мы грамотные, не так складно у нас выходит, а на митинге выкрикнули: «Гиляровского надо попросить отредактировать, он душевно к простому народу относится, не откажет! Кто ему почту носит, тот пусть и сходит». Вот я и пришел. Не откажет он в просьбе, а?

Владимир Алексеевич не отказал — взял карандаш, прошелся по «петиции». А в ней, естественно, насчет царя — какой он деспот, и т.д., т.д., т.д. Но наш герой не испугался ввязываться в эту, в общем-то, небезопасную историю.

Следом за почтальоном заявились депутации от железнодорожников, затем от акушерок. По Москве поползли слухи: Гиляровский редактирует петиции. Однако это совсем не тревожило «короля репортеров». Пусть, дескать, говорят.

И продолжал править «петиции» — безотказно и конечно же бесплатно. Больше того — в дни Декабрьского восстания пускал к себе огромные компании революционно настроенных студентов — переночевать, чтобы они не попадались на глаза полиции. Правда, кроватей не предоставлял — спать им приходилось на полу, на тюфяках, матрацах и коврах.

Зять Гиляровского В. М. Лобанов оставил любопытное воспоминание, написанное со слов художника С. В. Иванова. Время действия — 1905 год. Место действия — Московский

университет, где в оцеплении жандармов пребывают поддержавшие мятеж студенты.

«Гиляй ходил по аудиториям, по коридорам, разговаривал со студентами, потом дернул меня за рукав и говорит:

— Сергей Васильевич, давайте на минутку съездим по одному делу.

Вы ведь лучше меня знаете, что спросить Владимира Алексеевича: "Куда ехать? " — это не только вызвать у него бурное негодование, но и сорвать то, что он задумал. При таких словах, как «куда», Владимир Алексеевич часто решительно отказывался куда бы то ни было двигаться.

Я дипломатически спросил:

— Надолго ли?

— На минутку, — ответил он. — Совсем близехонько! А съездить нам надо.

— Поедем, — сказал я.

— На своих на двоих, — добавил Владимир Алексеевич. — Ведь извозчики объезжают теперь Моховую и Манеж, поскольку здесь казачьи отряды.

Выбрались мы двором, через калитку в Долгоруковский переулок. Идем… Вышли на Тверскую. Пошли вверх к Страстному. Доходим до филипповской булочной. Гиляй молчит, молчу и я. Входим в булочную, свернули куда-то за прилавок. Владимир Алексеевич спрашивает кого-то:

— Дмитрий Иванович у себя?

Слышу ответ:

— У себя, пожалуйте.

Входим. За столом сидит хозяин пекарного дела не только Москвы, но, пожалуй, и частицы России, поскольку филипповские баранки даже в Сибирь вагонами отправлялись. Поздоровались. Гиляй понюхал табачку, угостил из табакерки Дмитрия Ивановича и говорит:

— Знаешь, что студенты второй день в университете сидят и их казаки сторожат?

— Слыхал. Ребята говорили.

— А ты знаешь, что им есть надо?

— Конечно, Владимир Алексеевич, надо, как нам всем.

— А где взять? К тебе, что ли, сюда бегать или же по соседним булочным по мелочам собирать?

— По мелочам дело сложное. Много не соберешь. Да и хлопотное это дело, Владимир Алексеевич.

— То-то и оно-то, Дмитрий Иванович!

— Что же надо, Владимир Алексеевич?

— Надо немногое: чтобы ты распорядился послать в

университет несколько корзин с калачами. Корзин, конечно, не одноручных, а двуручных. Помочь надо молодежи. За нас ведь работает. Какая молодежь — горячая, готовая ко всему и на все! Вот Сергей Васильевич, — обратился он ко мне, — надеюсь, подтвердит, мы с ним только что оттуда, из университета.

Дмитрий Иванович немного помешкал и сказал сидящему невдалеке от нас служащему:

— Василий, слышал разговор? Распорядись сейчас же послать несколько корзин калачей.

— Только обязательно тепленьких, — добавил Владимир Алексеевич.

— Мы вчерашними не торгуем, Владимир Алексеевич, а тем более по личному приказу Дмитрия Ивановича, — сказал филипповский служащий.

Через час, обходя аудитории, я наблюдал, как молодежь с аппетитом уплетала филипповские румяные калачи, не зная, кому она этим обязана».

Многое здесь вызывает недоверие. Во-первых, эффект «испорченного телефона»: сначала рассказал Иванов, а потом — Лобанов. Во-вторых, книга воспоминаний В. Лобанова, изданная в 1972 году, сплошь изобилует так называемым революционным пафосом — словно автор боялся, в ином виде эту книгу вообще не издадут. Соответственно, мог и приврать. В-третьих, как-то очень уж хрестоматийно, ожидаемо появляется здесь господин Филиппов. Дело в том, что этот булочник (а если не он сам, то его служащие) в официальной революционной мифологии нередко фигурировал как этакий добрый ангел повстанцев 1905 года. Соответственно, Лобанов мог просто-напросто подредактировать какой-нибудь расхожий миф. И, в-четвертых (а на мой взгляд, в самых главных), это было не совсем в характере нашего героя.

Да, после революции он будет (и нам с этим предстоит еще столкнуться) всячески раскручивать себя как страстного, непримиримого борца с самодержавием (ничего страшного, не он один). Да, еще до революции Владимир Алексеевич нередко демонстрировал умеренный либерализм и недовольство царским строем. Но именно что умеренный. И демонстрировал — тоже умеренно, на уровне экспромтов, сказанных в узких кругах, помощи в редактировании «петиций» (отнюдь не афишируя таких поступков) и периодических столкновений с Цензурным комитетом (а такие столкновения имели все, имевшие в то время отношение к печати). Да, увести из-под удара цензора свой журнал «Спорт» — святое дело. Но снабжать продовольствием мятежников — как-то не очень в это верится.

Хотя, с другой-то стороны, Владимир Алексеевич был импульсивен и способен на спонтанные поступки. Насмотрелся на студентов, на жандармов — и вперед, к Филиппову. Так что полностью исключить этот эпизод из биографии «дяди Гиляя» мы не вправе. И, следовательно, не исключаем.

* * *

Владимир Алексеевич очень любил делать подарки. К примеру, когда его секретарь Николай Морозов занялся литературой и получил на свой рассказ хвалебный отзыв Горького, подарил ему запонки с довольно странной гравировкой — портрет Чехова на каждой штуке:

— Эти запонки незадолго до своей смерти подарил мне Антоша Чехов, а я дарю их тебе за твои литературные достижения. Желаю тебе успеха.

(Пожелание, увы, не оправдалось. Самая известная книга Морозова — воспоминания о Гиляровском, и известна она, разумеется, благодаря герою, а не автору.)

В другой же раз он преподнес секретарю чернильницу. Перед этим состоялся любопытный диалог:

— Что это за чудесное произведение? — спросил Морозов, увидав чернильницу.

— Пришлось мне когда-то сделать доброе дело рабочему Путиловского завода, и он, в благодарность за это, смастерил для меня эту чернильницу. Вчера проездом из Питера через Москву он заходил и занес, — объяснил Владимир Алексеевич.

— Много усердия и труда положил, — сказал секретарь.

— Нравится она тебе? — спросил его Владимир Алексеевич.

— Очень… исключительный прибор, — ответил тот.

— С удовольствием дарю тебе эту редкость, — сказал Гиляровский.

Морозов описал чернильницу в подробностях: «Эта железная памятка хранится у меня до сих пор. Доска чернильницы держится на четырех ножках и имеет размер 17х31 сантиметр; в правом переднем углу ее ввинчены тиски, в левом — наковальня, позади них две восьмигранные чернильницы, в левом заднем углу — щитки для коробки спичек, в центре — приспособление для хранения ручек и карандашей. Чернильница вся на винтах и может быть легко разобрана на составные части».

Не исключено, что Гиляровский мечтал избавиться от этого произведения кустарного искусства. А тут — удобный случай представился.

Единственно, что не любил Гиляровский, — когда гости брали, не спросивши, книги из его библиотеки, а потом не возвращали. Он долго думал, как с этим бороться, и в конце концов нашел гениальное решение. Заказал себе экслибрис с надписью: «Эта книга украдена из библиотеки В. А. Гиляровского».

Воровство книг сразу же прекратилось.

* * *

В 1908 году Владимир Алексеевич отметил свой первый значительный юбилей — двадцатипятилетие литературной деятельности. Что же произошло в далеком 1883 году? Сотрудничать с газетами он начал двумя годами раньше. Выпустил первую книгу значительно позже. Что взял он за точку отсчета, какое событие? Может быть, памятную волжскую поездку, которая, словно экватор, разделила его жизнь на две части? Нет, публикацию своего первого рассказа. Но с таким же успехом он мог исчислять свою деятельность и от публикации своего первого стихотворения, и от написания первого рассказа, и от первой публикации вообще — да мало ли найдется поводов?

Видимо, Гиляровскому вдруг захотелось праздника, и юбилей просто придумался. Наш жизнелюб запросто мог себе позволить эту маленькую шалость.

Шалость, однако, вышла колоссальная. Громадные хвалебные статьи. Влас Дорошевич в «Русском слове», там же Владимир Немирович-Данченко и в те времена влиятельный писатель Петр Сергеенко. «Русские ведомости», «Голос Москвы», «Раннее утро», «Рампа и жизнь», «Театр», «Новости сезона» — всех не перечесть.

В Столешники пришел сам С. А. Муромцев, опальный председатель Первой Государственной думы. Были депутации и от пожарных, и от журналистов, и от наборщиков, и даже от Хитрова рынка. Из Таганской тюрьмы пришло трогательное письмо от сидельцев.

Ближе к вечеру собрались литераторы. Все настроились говорить скучные речи. Первым заговорил представитель от «Русского слова». Долго говорил, проникновенно. В какой-то момент обратился к хозяину:

— Ваше острое талантливое перо вскрыло много язв нашей неприглядной действительности…

— А теперь давайте вскроем вот эти двери, — перебил юбиляр, — выпьем там и закусим!

Схватил за руку оратора и потащил в столовую.

Торжественная часть была бесцеремонно скомкана. Впрочем, никто об этом не жалел.

Подарков было море разливанное, один другого краше. Выделялся мозаичный стол, присланный из Миргорода, из керамической мастерской Училища имени Гоголя. Под руководством П. Ваулина, руководителя той мастерской, лучшие ее ученики сделали каждый по одному авторскому изразцу, из которых и вышла столешница.

Влас Дорошевич разразился поздравлением на странице своего «Русского слова»: «Ты мой старый товарищ! Ты „подвигом добрым подвизался“. По мере сил своих ты делал то же „великое дело русской литературы“, то же, что творил… наш отец, отец всех нас, отец Льва Толстого, так же, как и твой, — „солнце“ Гоголя, всей русской словесности. Ты „милость к падшим призывал“. И делал это единственным достойным в литературе путем: писал правду"».

Поклонники, не обладавшие такими широкими возможностями, просто слали письма на квартиру Гиляровского. Поздравлений было столько, что Владимир Алексеевич вынужден был опубликовать в «Русских ведомостях» послание:

> …
>
> *«Покорнейше прошу не отказать напечатать в вашей уважаемой газете следующее мое письмо:*
>
> *Много приветствий сердечных, славных получил я 30-го ноября в день 25-летия моей литературной деятельности. Ответить на каждое нет никакой возможности. Примите же вы, приветствовавшие меня, мою глубокую, сердечную благодарность за милое ко мне отношение. Примите спасибо от всей моей души.*
>
> *Вл. Гиляровский».*

Москвичи отнеслись к этому с пониманием. Действительно, на мешок писем не ответишь. Конечно, можно было усадить за это дело верного Колю Морозова, но все равно не то. Через секретаря — совсем не то. Лучше уж сразу всех — но лично.

А литературный кружок под названием «Среда» выпустил поздравительный адрес. На нем был изображен Владимир Алексеевич на коне, с посохом — словом, как на картине Васнецова «Витязь на распутье». Только вместо камня перед ним стоял громадный, ростом где-то так с коня, водочный штоф. Не удивительно — Владимир Алексеевич выпить любил (правда, не напивался никогда), а на собраниях «Среды», как правило, рекою текло пиво. Текст же приветственного адреса был такой: «Лета 1908 наемворя в 26 день, мы, нижеприложившая братия крожка

Середа, соборни приносим собратим нашем Гиляю очевидное выражение нашей радости и наплыва чувств, груди наши теснящих, в день дня по случаю двадцатипятилетия со дня первого выступления твоего на первом ристалище. А вокруг грамоты сей ребята наши намалевали, что кому вольно было, ибо в словах не сильны, а кистью борзы. Не обессудь, прими еще малое приношение к сему присовокупленное из двенадцати тарелиц состоящее, белой глины глазированных, ребятами нашими размалеванных и в пещи дважды жженных накрепко».

Да, подарок от кружка был под стать керамическому столику — набор тарелок, сделанных вручную, да не кем-нибудь, а самими членами «Среды». При вручении тарелок кто-то из участников взялся произносить длинную речь. Владимир Алексеевич не выдержал, прервал речь каламбуром:

Тарелки ваши — чудо,
Делают вам честь.
Только бы не худо
Нам на них поесть.

Гиляровский был в своем репертуаре.

Участники «Среды» устроили в честь нашего героя своего рода бенефис, даже с музеем. «Русское слово» писало: «Тут было и перо, которым юбиляр написал свое первое произведение, первый литературный гонорар, стремя, которое служило юбиляру во время русско-турецкой кампании, трубка деда юбиляра и т.д.».

Там же Гиляровский прочитал автобиографическое сочинение:

Покаюсь: грешный человек — Люблю кипучий, шумный век. …И все с любовью, все с охотой. Всем увлекаюсь, нервы рву И с удовольствием живу. Порой в элегии печальной Я юности припомню дальней И увлеченья и мечты…

И все храню запасы сил…
А я ли жизни не хватил,
Когда дрова в лесу пилил,
Тащил по Волге барки с хлебом,
Спал по ночлежкам, спал под небом,
Бродягой вольным в мире шлялся,
В боях турецких закалялся,
Храня предания отцов…

Все тот же я, в конце концов,
Всегда в заботе и труде
И отдыхаю на «Среде».

Участники собрания запели свой фирменный гимн «Недурно пущено» (а больше в гимне не было никаких слов), а Гиляровский осушил громадный кубок пива.

Что поделаешь — такая на «Среде» была традиция.

* * *

«Среда» — одно из любимейших мест Гиляровского, поэтому об этом кружке мы расскажем подробнее. Этот кружок возник в 1880-е, а к середине девяностых перебрался на квартиру В. Шмаровина — ценителя прекрасного, располагавшего достаточными средствами, чтоб угостить участников кружка. Не удивительно, что вскоре «Среды» так и стали называть — «Среды Шмаровина».

Официально тот кружок был предприятием серьезным. В Уставе (он, естественно, существовал) было записано: «Члены кружка собираются для выполнения художественных работ и для совместного обсуждения вопросов искусства». Кроме действительных членов (собственно художников) были члены почетные. Устав регламентировал и их: «Почетными могут быть лица, оказавшие художествам или Кружку особые услуги». Деньги же собирались «из членских взносов, пожертвований, сборов с выставок, спектаклей, концертов, лекций и чтений, устраиваемых Кружком, и от продажи принадлежащих Кружку художественных произведений».

Самому Шмаровину было, конечно, не осилить материальную сторону этого предприятия.

В действительности же «Среда» была не столько местом для серьезных обсуждений и дебатов, сколько местом проведения досуга и притом довольно легкомысленного. Владимир Алексеевич писал: «На множестве расписанных художниками тарелок ставится закуска, описанная в меню протокола. Колбасы: жеваная, дегтярная, трафаретная, черепаховая, медвежье ушко с жирком, моржовые разварные клыки, собачья радость, пятки пилигрима… Водки: горилка, брыкаловка, сногсшибаловка, трынтравная и другие… Наливки: шмаровка, настоянная на молчановке, декадентская, варенуха из бубновых валетов,

аукционная, урядницкая на комаре и таракане… Вина: из собственных садов „среды“, с берегов моря житейского, розовое с изюминкой пур для дам. Меню ужина: 1) чудо-юдо рыба лещ; 2) телеса птичьи индейские на кости; 3) рыба лабардан, соус — китовые поплавки всмятку; 4) сыры: сыр бри, сыр Дарья, сыр Марья, сыр Бубен; 5) сладкое: мороженое „недурно пущено“. На столе стоят старинные гербовые квинтеля с водками, чарочки с ручками и без ручек — все это десятками лет собиралось В. Е. Шмаровиным на Сухаревке. И в центре стола ставился бочонок с пивом, перед ним сидел сам „дядя Володя“ (то есть господин Шмаровин. — *А.М.),* а дежурный по «среде» виночерпий разливал пиво. Пили. Ели. Вставал «дядя Володя», звякал в бубен. Все затихало.

— Дорогие товарищи, за вами речь.

И указывал на кого-нибудь, не предупреждая, — приходилось говорить. А художник Синцов уже сидел за роялем, готовый закончить речь гимном… Скажет кто хорошо — стол кричит:

— «Орла!»

Кубок пьется под музыку и общее пение гимна «Недурно пущено».

Утро. Сквозь шторы пробивается свет. Семейные и дамы ушли… Бочонок давно пуст… Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном, и, облокотясь на стол, дремлет «дядя Володя». Поэт «среды» подписывает рисунок на законченном протоколе:

Да, час расставанья пришел,
День занимается белый,
Бочонок стоит опустелый,
Стоит опустелый «Орел»…»

Дочь «дяди Володи» писала: «Интересны бывали „среды“ на первой неделе поста. В эти дни, кроме художников, собиралось много актеров. В таких случаях Владимир Егорович шел на грибной рынок, который открывался на первой неделе поста в Москве на Болоте (там теперь памятник И. Е. Репину), и сам выбирал необыкновенной величины редьку, какие-нибудь особенные рыжики и редкого засола капусту. Редьку, которая поражала всех своими размерами, водружали посредине стола на блюде, специально к этому заседанию „среды“ кем-нибудь из художников разрисованном. В то время как художники еще

работали, кто-нибудь садился за рояль, чаще всего это был художник Синцов. Поиграв немного, он вдруг брал несколько чрезвычайно сильных аккордов, и, выждав, пока последние их звуки замирали, Синцов начинал в очень веселом темпе лезгинку. Тут уж все головы обращались к художнику Гугунаве, и его хором просили: „Князюшка, милый, попляши“. Художники оставляли свои карандаши и краски, гости — разговоры, стол отодвигался к стене, и под общие хлопки красивый Гугунава лихо отплясывал лезгинку. Затем шли ужинать редькой, рыжиками и капустой, а после ужина играли на „чертовых скрипках“, то есть на самых разнообразных струнных инструментах, купленных Владимиром Егоровичем на Сухаревке…

Очень интересно проходила «среда» с елкой. Привозилась большая елка, которая украшалась так: игрушек на ней не было. На елку вешалось все, что приносили художники и гости: бутылки вин, колбасы, головки сыра, конфеты, яблоки, папиросы. Однажды повесили даже поросенка. Затем все это разыгрывалось в лотерею и возвращалось на стол, водворение на стол каждого предмета с елки сопровождалось гимном «Недурно пущено». Была еще «среда» особая — обжорная. Опять приносили кто что хотел и мог из съедобного. От «среды» полагалось только вино и хлеб, все остальное доставлялось самими членами. Здесь всегда необыкновенную изобретательность проявлял Синцов. Он принес однажды клетку, составленную из четырех батонов, а в ней висела баранка и жареная тетерка, облаченная в перья жар-птицы, им самим сделанные».

В это развеселое сообщество входили живописцы самого первейшего разряда — Левитан, Юон, Суриков, Репин. А среди «сочувствующих» — Бальмонт, Брюсов, Бунин, Волошин, Комиссаржевская, Шаляпин и, конечно, наш герой.

Кстати, сам Владимир Алексеевич мог выпить очень много алкоголя, но при этом выпивох не жаловал и относился к ним презрительно. Вот, к примеру, одна из его зарисовок: «Вот против меня винная лавка. Около нее стоит вереница человек в сто испитого, полуоборванного народа в ожидании, когда отопрут дверь и можно будет юркнуть под желто-зеленую вывеску… Ждут и дрогнут…

— Сорокамученики! — бросает им проезжающий извозчик, и его «сорокамученики» осыпают площадной бранью…

Наконец «сорокамученики» врываются в отверстые врата чаянного рая, и картина меняется…

Через несколько минут на улице, около лавки, начинается хлопанье ладонью «казны, чтобы пробка выскочила», и «сорокамученики» задирают головы кверху и льют себе в горло

«монополию» из «мерзавчиков» и «жуликов»…

А потом, бывает, и сами тут же валятся, отравившись с голоду да без закуски…»

Правда, та заметка посвящалась введению нового закона — «монополии» на крепкий алкоголь. Но отношение нашего героя к забулдыгам очевидно.

* * *

В 1908 году дочь Гиляровского Надежда выпустила свою первую книгу — перевод «Джунглей» Киплинга. А спустя четыре года вышел ее поэтический сборник.

Владимир Алексеевич радовался Надиным успехам еще больше, чем своим. И посвятил ей трогательное четверостишие:

Я начатых не кончил дел,
Не завершил своей мечты,
И песни те, что не допел,
Одна допеть сумеешь ты.

С годами Гиляровский делался все более сентиментальным.

* * *

В 1909 году «вся Москва» отмечала открытие памятника Николаю Васильевичу Гоголю — одному из кумиров нашего героя. Само это, казалось бы, нехитрое и протокольное событие сопровождалось множеством деталей в абсолютно гоголевском духе. В «Комитет по сооружению памятника» вошел некий член по фамилии Нос. Власти то и дело изменяли место, на котором следовало ставить изваяние. Сначала — Театральная площадь, после — Страстной бульвар, затем — Никитский. Скульптор Николай Андреев украсил постамент сюжетами из гоголевской прозы, причем подобралась весьма своеобразная компания моделей. Коробочку лепили с сестры Николая Васильевича, а Тараса Бульбу — с нашего героя, с Гиляровского.

Перед открытием в газетах появлялись объявления такого рода: «Окна на торжество Гоголя сдаются, открытый вид, Арбатская площадь, дом Голикова, трактир Григорьевой, телефон 111-36».

Открытие обставили торжественно. На нем впервые

исполнили «Гоголевскую кантату» композитора М. М. Ипполитова-Иванова, написанную специально к этому событию. Правда, трибуны для почетных гостей в последний момент сочли ненадежными и пользоваться ими запретили — всем пришлось стоять. По этому поводу говорили: «Городская управа всех на ноги поставила». Из-за жуткой давки некоторые депутации не смогли возложить венки к памятнику. Зарегистрировали около 40 случаев обморока среди школьников.

На всякий случай в день открытия в окрестностях была запрещена продажа спиртных напитков в розлив.

А разнообразие мнений поражало.

Один из очевидцев вспоминал о церемонии открытия: «Первое впечатление этой почти страшной фигуры, прислонившейся к грубой глыбе камня, точно ударило. Большинство ждало образа, к которому привыкло… И вместо этого явно трагическая, мрачная фигура; голова, втянутая в плечи, огромный, почти безобразящий лицо нос и взгляд — тяжелый, угрюмый, выдающий нечеловеческую скорбь… В сумерках и лунной ночью он будет прямо страшен, этот бронзовый великан на Арбатской площади, замерзший в позе вечной думы».

Писатель Борис Зайцев поведал о церемонии в очерке «Гоголь на Пречистенском»: «Открывали памятник в сырости, холоде, липы едва распустились. Трибуны окружали монумент. Народу много. Помню минуту, когда упал брезент и Гоголя мы наконец увидели. Да, неказисто он сидел… и некий вздох прошел по толпе».

Философ В. В. Розанов писал в заметке «Гоголевские дни в Москве»: «Памятник хорош и не хорош; очень хорош и очень не хорош».

А Лев Николаевич Толстой сказал: «Мне нравится: очень значительное выражение лица».

Точнее же всех выразился Гиляровский. Он написал после открытия монумента всего две строки:

Гоголь сгорбившись сидит,
Пушкин Гоголем глядит.

За этот экспромт Гиляровский получил в литературно-художественном кружке премию — бутылку вина. Хотя, в общем, заслуживал большего. Ведь позировал скульптору Н. Андрееву для постамента и он — с него, как уже говорилось, слеплен Тарас Бульба, и его дочка Надя — с нее слеплена Оксана.

Кстати, это не первый опыт нашего героя в качестве модели — он уже позировал И. Репину для «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану».

Фигурировал в экспромтах Гиляровского и памятник Пушкину.

На рубеже XIX—XX веков у памятника Пушкину часто прогуливался литератор Дмитриев, немного похожий на Александра Сергеевича. На этот счет Владимир Алексеевич сочинил четверостишие:

Весь мир не много б потерял,
А москвичи умнее б стали,
Когда бы Дмитриев стоял на пьедестале,
А Пушкин по Москве гулял.

Не обошел он и тот факт, что памятник был одинаково хорошо виден из окон двух известнейших в Москве квартир — обер-полицмейстера Козлова и отнюдь не либерального редактора «Московских ведомостей» Каткова. На сей счет Гиляровским было писано:

…Как? Пушкин умер? Это вздор!
Он жив. Он только снова
Отдан под надзор
Козлова и Каткова.

* * *

С годами наш герой стал совершенно другим человеком. Мудрым, добрым, отзывчивым и деликатным. Иной раз к нему в дом приходили голодные, малознакомые люди, смущаясь, просили в долг денег. И Владимир Алексеевич практически всегда одалживал нужную сумму, естественно, не веря в то, что эти деньги ему когда-нибудь вернут. А на конфузливые извинения отвечал:

— Не бойся надоесть, когда надо есть.

Он каламбурил в любых, даже таких, в общем, щекотливых ситуациях. И результат оказывался очень даже позитивный — проситель заражался его жизненной энергией и с новыми силами

пытался выправить свои дела.

— Всегда надо дать человеку перевернуться в трудный час, — считал Гиляровский.

— Ты хоть хитрованцев-то не пускай в дом, зарежут ведь когда-нибудь, — подчас выговаривала ему обычно безропотная супруга.

Но Владимир Алексеевич не слушался. Для него хитрованец был обычный человек, только которому очень не повезло. Не виновник, а жертва.

Гиляровский мог на полном ходу выскочить из трамвая, увидев знакомого бедняка-неудачника, — с одной лишь целью: дать ему немного денег. После чего пешком шел к остановке — дожидаться другого трамвая.

Особенно, конечно, жаловал актеров — помнил собственную артистическую юность. Когда в толпе узнавал такого неудачливого лицедея, запросто подходил, протягивал руку, знакомился:

— Гиляровский.

Актер называл себя, рассказывал о своей жизни, о том, как он когда-то, например, играл Наполеона. Владимир Алексеевич дослушивал рассказ, после чего с улыбкой спрашивал:

— Пообедать-то сегодня есть на что?

И, не дожидаясь ответа, протягивал деньги. Актер, ясное дело, конфузился. А Гиляровский утешал его:

— Очень рад дать взаймы Наполеону. И, похохатывая, удалялся.

А секретарь Морозов приводил совсем невероятные примеры: «Бывало и так. Утром на квартиру вваливается неизвестная старуха, крестьянка, в домотканой одежде, с кошелкой яиц в руках. — Мне Елеровского, — говорит она.

Выясняется, что Гиляровский помог ей купить корову, и она в знак благодарности принесла ему яиц. Где находится деревня старухи, как попал Гиляровский туда и при каких обстоятельствах помог купить корову — этим дома никто не интересуется, это обычное явление».

Или вот такой пример: «Как-то вернувшись домой, Владимир Алексеевич услышал, как в кухне плачет домашняя работница. Она получила от матери из деревни письмо, в котором та писала, что у нее назначили на продажу с аукциона корову за неуплату оброка.

— Почему ты раньше не сказала? Попросила бы у меня денег, послала бы матери.

— Я посылала, мне Мария Ивановна денег дала, — отвечает работница со слезами, — должно быть, недоимка большая, не

хватило. Не знаю, сколько надо, только корову продадут, как бог свят, продадут, — решила она и снова заревела.

Дело требовало срочного решения. Отправлять деньги было нецелесообразно: они могли не попасть к сроку, а прислуга, если ее отправить в деревню, могла там в такое горячее время не добиться толку, и он решил поехать сам.

Гиляровский позвонил по телефону Струнникову и пригласил его в попутчики. Тот согласился. Они поездом поехали в Рязанскую или Тульскую губернию, высадились в каком-то городишке, а оттуда отправились в деревню на санях.

Мать всполошилась, узнав, что сам хозяин привез деньги. Она опустилась на колени и поклонилась ему в ноги.

Недолго думая, Гиляровский тоже опустился на колени и поклонился в ноги старухе.

Приехали они, как выяснилось, вовремя. Начальство распорядилось назначить на завтра обход по деревне и отбирать у неплательщиков имущество. Как всегда, в зависимости от задолженности, отбирали у крестьян самовары, а если самовара нет, то брали тулуп или овцу; при большой задолженности уводили со двора корову или лошадь, даже если она была единственная скотина в хозяйстве. Таковы были нравы самодержавия.

Деревня, как рассказывал Струнников, была изумлена, узнав о причине приезда гостей. Мужики и бабы высыпали на улицу, толпились на снегу неподалеку от саней и качали головами от удивления. Слышались реплики:

— Ну и человек… Вот это да… Подумай только… Слыханное ли это дело, чтобы барин в кухаркину деревню приехал выручать корову.

Гиляровский зашел в волостное правление, а в городе — к земскому начальнику и просил, чтобы старуху не обижали».

В такую вот фигуру превратился бывший драчун, задира и гроза российских паспортов.

* * *

Кстати, Владимир Алексеевич был увлеченнейшим фотографом-любителем. Предпочтение отдавал американской фирме «Кодак» — все его фотоаппараты были изготовлены именно этой достойной компанией. Сам он, естественно, не занимался обработкой фотографических пластин — носил их в специальный кодаковский магазин, своего рода «мини-лаб». Зато аккуратно хранил свой фотографический архив, правда, до

каталогизации не доходил — не хотел тратить время на такую ерунду. Но для альбома фотографии подписывал. «Мой извозчик Иван Дунаев, Ваня-Водовоз». «В Миргороде на базаре». «Южная степная карета. Без окон и без дверей, возила своих пассажиров на большие расстояния». «Степь». «1-й московский шашлычник Сулханов». «Южнорусские степи. Лирник, который пел: „Жил-был на свете добрый человек“. „Собаки в Кабарде — умнейшие помощники человека, охраняющие табуны“».

Впрочем, подавляющая часть фоторабот дяди Гиляя не выходила за рамки домашних альбомов. Не удивительно — в те времена газеты печатались вообще без фотографий, а для немногочисленных иллюстрированных журналов требовалось иное, более профессиональное качество.

* * *

В 1910 году Владимир Алексеевич впервые в жизни увидел, как летит аэроплан. Это было самым ярким из событий, которые ему довелось пережить. По крайней мере, более эмоционально он не писал ни о чем: «Посредине скакового круга стоял большой балаган на колесах, с несколькими навесами из парусины.

Просто-напросто балаган, какие строят по воскресеньям на Сухаревке. Так казалось издали.

Это я видел с трибуны скакового ипподрома.

До начала полета Уточкина было еще долго — и я поехал в парк и вернулся к 7 часам.

Кругом ипподрома толпы народа — даровых зрителей.

«Поднимается! Сейчас полетит… Во-вот!» — слышны крики.

Входя в членскую беседку, я услышал над собой шум и остановился в изумлении:

— Тот самый балаган, который я видел стоящим на скаковом кругу, мчится по воздуху прямо на нас…

— Как живой!

Конечно, я шел сюда смотреть полет Уточкина на аэроплане, конечно, я прочел и пересмотрел в иллюстрациях все об аэропланах, но видеть перед собой несущийся с шумом по воздуху на высоте нескольких сажен над землей громадный балаган — производит ошеломляющее впечатление. И посредине этого балагана сидел человек.

Значит — помещение жилое.

Несущееся по воздуху!

Что-то сказочное!

Оно миновало трибуны, сделало поворот и помчалось над

забором, отделяющим скаковой круг от Брестской железной дороги. И ярко обрисовалось на фоне высокого здания.

В профиль оно казалось громадной стрелой с прорезающим воздух острием…

Еще поворот, еще яркий профиль на фоне водокачки — и летящее чудо снова мчится к трибунам… Снова шум, напоминающий шум стрекозы, увеличенной в миллионы раз…

И под этот шум начинает казаться, что, действительно, летит необычная стрекоза…

А знаешь, что этим необычным летящим предметом управляет человек — но не видишь, как управляет, и кажется:

— Оно само летит!..

Но Уточкин показывает, что это «нечто летящее в воздухе» — ничто без него.

Все время приходится бороться с ветром, и, наконец, кажется, на шестом круге ветер осиливает, и быстро мчащийся аэроплан бросает на высокий столб против середины трибун. Многие из публики заметили опасность: еще несколько секунд — полет окончен, аппарат — вдребезги.

— Наносит на столб!..

— Сейчас разобьется!

Но тут исчезает у зрителей летящее чудо, и вырастает душа этого чуда: человек, управляющий полетом.

И в самый опасный момент Уточкин делает движение рукой.

Прекращается шум. Летящий предмет на секунду останавливается в воздухе:

— Сейчас упадет!

Но еще движение рукой, снова шумит мотор, который на секунду остановил Уточкин на полном полете, и направление меняется.

Аэроплан делает движение влево, мимо столба, и поднимается кверху.

Уточкин смотрит на публику. — Ничего! Летим дальше… И снова взмывает выше, и снова делает круг. И впечатление еще сильнее: он прямо летит над зрителями на высоте крыши трибуны и от членской беседки снова несется влево…

Он, наверно, слышит несмолкаемые аплодисменты и крики одобрения и удивления…

Еще два круга — всего 9 — описывает аэроплан и опускается плавно и тихо на траву ипподрома.

Уточкин выходит под гром аплодисментов перед трибуной.

Чествуют победителя над воздухом.

На зеленой траве круга стоит большой балаган на колесах с несколькими навесами из парусины.

И будет стоять до тех пор, пока не придет человек и не заставит его полететь по воздуху».

Уточкин сделался кумиром Гиляровского на всю оставшуюся жизнь.

* * *

В 1910 году в редакции «Будильника» работал молодой репортер Лев Никулин. Он оставил колоритные воспоминания о Гиляровском: «Заходил истинный человек прошлого века: плечистый, могучий, в бекеше и высокой смушковой шапке, с усами запорожца — дядя Гиляй. Он шумно протискивался между столами, занимал все свободное пространство, наполняя наши комнатушки зычным голосом и раскатистым смехом. По заведенной традиции сразу устраивалась складчина. Редакционный сторож „Ляксандра“ снаряжался за „Нежинской рябиной“, чайной колбасой, кетовой икрой и полудюжиной „Корнеева и Горшанова“. Тут же, на старых оттисках, раскладывалась снедь, дядя Гиляй (которого даже молодежь редко называла Владимиром Алексеевичем) усаживался на обитый клеенкой диван, наливал „заздравную чару“ в граненый чайный стакан и начинал свои знаменитые рассказы о московских чудаках, о знаменитых актерах и художниках, о брандмейстерах, банщиках и полицмейстерах, нищих, сыщиках и бродягах с Хитрова рынка, о тайнах московских закоулков, о русских силачах, о рысаках — словом, обо всем том, что нынешние читатели только в малой доле узнали из увлекательной книги „Москва и москвичи“». Да, все еще «плечистый» и «могучий» — но уже «человек прошлого века».

* * *

В 1911 году Владимир Алексеевич, ему шел шестой десяток, впервые испугался за свое здоровье… Поводом для тревоги послужило воспаление легких. «Чувствую, что все может случиться, что я, наконец, могу сломаться, а надо было кое о чем подумать вперед».

Он послал за Валерием Брюсовым — и спустя час поэт явился.

— Дядя Гиляй! — воскликнул Брюсов. — Да разве степному орлу полагается хворать?

— Мне очень плохо, — отвечал тот. — Сегодня ночью уж я

был на том свете. Если не перенесу — исполните мою огромную просьбу.

И попросил о посмертном издании своих работ.

Брюсов конечно же стал утешать приятеля — дескать, рано еще о смерти думать. Но пообещал, что в случае летального исхода — от болезни ли, от рухнувшего дома на пожаре или от еще какой напасти — эту просьбу выполнит.

* * *

Владимир Алексеевич был уже редким гостем на Хитровке. Годы давали знать свое — ему было приятнее пребывать в теплом и уютном помещении, в компании известных литераторов, актеров и других деятелей искусств. К примеру, в Литературно-художественном кружке.

Вот каким увидел Гиляровского в кружке в 1911 году поэт Владислав Ходасевич: «Нюхая табак и всех хлопая по плечу, всем говоря „ты“, походкой Тараса Бульбы, лысый и сивоусый, прохаживался милый старик Гиляровский, стараясь придать свирепое выражение добрейшему своему лицу».

Да, паренек, приставший к бурлакам, как-то незаметно превратился в старика. Увы, но это так.

А вот еще одно воспоминание, опять же о кружке и приблизительно того же времени — историка Н. Розанова: «Приятно было бывать в кружке по окончании театральных представлений и концертов, когда в большой зале раскрывались огромные столы для „железки“, вокруг которых собирались „присяжные заседатели“ этих столов — артисты и другие члены и посетители кружка. Яркое освещение, нарядные костюмы дам-"железнодорожниц" (так, „железнодорожниками“, называли игроков в карточную игру „железку“. —*А.М.),* которых было немалое количество, расставленные около карточных столов столики для ужинов и чая, суетящиеся официанты, толпы зрителей, а отчасти и участников игры, стоящие вокруг карточных столов, — все это представляло довольно оживленную живописную картину…

Толпа искателей счастья за железнодорожным столом состояла из людей всякого пола, возраста и состояния. Были тут и литераторы, и военные, и художники, и учителя, и адвокаты, и врачи, и коммерсанты, и провизоры, и немалое количество дам, по большей части, жен членов. Помню постоянного участника «железки» В. А. Гиляровского, или «дядю Гиляя», с его неизменной табакеркой, из которой он постоянно нюхал и других

угощал душистым зельем. Игру он вел небольшую, за «серебряным столом», то есть тот, где ставки шли на рубли, а не на полуимпериалы, как бывало только на одном столе, за который садились только люди богатые. Играет, бывало, Владимир Алексеевич, а сам сыплет направо и налево шуточками, иногда уж слишком смелыми. Так, я слышал от него, когда к нему приходила девятка: «Ну, митрополит ощенился!» Да и другие его шуточки бывали часто слишком переперчены».

Правда, случалось, что Владимир Алексеевич оказывался жертвой карточной игры. Не проигравшим, а случайной жертвой. Тогда он брался за перо и мстил, как мог: «Место действия — храм искусства, название коему — „Литературно-художественный кружок“. Главным жрецом при храме состоит Валерий Брюсов. Народ — дантисты и фармацевты. Идет священнодействие.

Круглые столы. Ездит кругом, останавливаясь у каждого банкомета, ящик с 12 колодами. Кругом публика «понтирует» стоя. Груды денег переходят из рук в руки.

— Продается банк за 400 рублей.

— Покупаю! — и бритый брюнет покупает. Ему покрывают сполна. Он дает карту и проигрывает.

Вынимает бумажник… Чековую книжку…

— Потрудитесь заплатить за меня — я вам дам чек… — обращается к соседу, ставившему половину. — Вам все равно чек? Завтра в банке получите…

— Пожалуйста!..

Расплачивается… Берет чек.

И на другой день заявляет старшинам литературно-художественного клуба, что чек был «холостой»: в банке сказали, что текущий счет… был, да весь вышел!

Совет кружка запретил вход артисту. Чековый автограф остался на память владельцу».

Исследователи Москвы В. Руга и А. Кокарев считают, что облапошенным владельцем чека стал не кто-нибудь, а сам Владимир Алексеевич. И, зная о том, что наш герой неоднократно в качестве «горячих тем» для фельетонов использовал собственные бытовые неурядицы, у нас нет повода не согласиться с этим предположением.

* * *

Литературно-художественный кружок — столь же излюбленное место Гиляровского, сколь и «Среда». Следовательно, ему тоже надо уделить место.

«Кружок» открыт был в 1899 году на Большой Дмитровке, на месте нынешнего дома № 10. Актер Сумбатов-Южин так писал о нем: «В течение трех лет шли подготовительные работы по учреждению в Москве литературно-художественного кружка, где бы могли чувствовать себя „дома“ разбросанные по разным редакциям, театрам, консерваториям, студиям, частным кружкам, меблированным нумерам и т.п. лица, представляющие в настоящее время литературу и искусство в Москве. Если признать, что всякое живое дело требует для своего развития и совершенствования общения между собой его работников, то нельзя не удивляться, как могли литература, журналистика, театр, живопись, музыка в Москве так долго обходиться без малейшего намека на объединяющее их учреждение».

И наконец-то все было готово. Один из участников той церемонии, Николай Телешов, так описывал это учреждение: «Оно состояло из большого квадратного зала, из узкой и длинной столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и в стену было вставлено дно огромной дубовой бочки, высотой до потолка, с крупной надписью: „in pivo Veritas“ — шуточный перифраз известной русской поговорки об „истине“».

А Владимир Гиляровский восхищался: «Роскошные гостиные, мягкая мебель, отдельные столики, уголки с трельяжами, камины, ковры, концертный рояль… Уютно, интимно… Эта интимность Кружка и была привлекательна. Приходили сюда отдыхать, набираться сил и вдохновения, обменяться впечатлениями и переживать счастливые минуты, слушая и созерцая таланты в этой не похожей на клубную обстановке. Здесь каждый участвующий не знал за минуту, что он будет выступать. Под впечатлением общего настроения, наэлектризованный предыдущим исполнителем, поднимался кто-нибудь из присутствовавших и читал или монолог, или стихи из-за своего столика, а если певец или музыкант — подходил к роялю. Молодой еще, застенчивый и скромный, пробирался аккуратненько между столиками Шаляпин, и его бархатный молодой бас гремел:

Люди гибнут за металл…

Потом чаровал нежный тенор Собинова. А за ними вставали другие, великие тех дней.

Звучала музыка известных тогда музыкантов… Скрябин, Игумнов, Корещенко…

От музыки Корещенки
Подохли на дворе щенки, —

сострил раз кто-то, но это не мешало всем восторгаться талантом юного композитора-пианиста».

Впрочем, вскоре кружок обосновался на Большой Дмитровке, в доме под № 15. Это здание с дореволюционных пор почти что не менялось. То есть дом был реконструирован, даже надстроен — как же в двадцатом столетии без этого-то? Но в общем его облик сохранился. Тут нет ни манящей рекламы, ни обманчиво ярких витрин. И ограда существует, даже запирается.

Не удивительно, ведь в доме расположена российская прокуратура.

А до революции здание находилось во владении торгового семейства Востряковых, которые, будучи господами предприимчивыми, сдали его в 1905 году Литературно-художественному кружку. Собственно, под этой маркой дом и вошел в дореволюционную литературную историю Москвы.

Правда, кружка, как такового, не было. Здесь то устраивали «вторники» со скучноватыми, но очень правильными лекциями, то «среды» для приверженцев крайнего реализма, то заседало «Всероссийское общество деятелей периодической печати и литературы». Самым же знаменитым обществом была «Свободная эстетика» под руководством Брюсова. Здесь заседали символисты.

Впрочем, заседали — это мягко сказано. Основной идеей было все-таки не заседание, а скандал. Ильф и Петров в первой редакции небезызвестных «Стульев» сообщали о событиях 1913 года: «На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества „Свободной эстетики“ встречала вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны — ландышами. Началась первая приветственная речь:

— Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве…

После речей к трубадуру прорвался освирепевший почитатель и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой. Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь " неофутуриста "».

Естественно, известные советские зоилы лично не бывали на подобных заседаниях, да и при всем желании не могли. Ильф в то время был мелким одесским клерком Файнзильбергом, а Петров — одесским гимназистом по фамилии Катаев. Да и напутали они — Бальмонт приехал не на Александровский (сегодня — Белорусский), а на Брянский (ныне — Киевский) вокзал. Однако суть происходившего в «Эстетике» писатели уловили очень даже верно.

После выступления академика Овсянко-Куликовского вставал тот самый «неофутурист» Владимир Маяковский в желтой кофте («мама связала» — признавался он самым близким товарищам по секрету) и вступал с ученым в прения:

— Наш уважаемый лектор, господин Лаппо-Данилевский…

— Не Лаппо-Данилевский, а Овсянко-Куликовский, — поправляли «неофутуриста».

— Простите, но я не могу согласиться с мнением академика Семенова-Тян-Шанского. Он сказал, что поэзия…

Смех, возмущенные крики и звон председательского колокольчика. А Маяковский знай свое:

— Поэзия, многоуважаемый Новиков-Прибой, это…

И далее, попеременно Муравьев-Апостол, Сухово-Кобылин и, на закуску, Кулик-Овсяновский.

Академик трясется в припадке. Его прямо в кресле несут за кулисы. Публика неистовствует. День прошел не зря.

Впрочем, какой там день! Обычно заседания открывали часов в десять вечера. Богема все-таки, не кот начхал.

А вот символисты были тут, что называется, в своей тарелке. И «король поэтов» Игорь Северянин беззастенчиво делился радостью:

Я с нею встретился случайно:
Она пришла на мой дебют
В Москве. Успех необычайный
Был сорван в несколько минут.

Мы с Брюсовым читали двое

В «Эстетике», а после там
Был шумный ужин с огневою
Веселостью устроен нам.

Как ни странно, Гиляровский чувствовал себя в этом сообществе весьма комфортно. «Король репортеров» бывал здесь часто и пользовался популярностью. Поэт Андрей Белый о нем вспоминал: «Сидит с атлетическим видом рыжавый усач, мускулистый силач, Гиляровский, сей Бульба, сегодня весьма отколачивающий меня, завтра моих противников из своей Сечи: ему нипочем! Все теченья — поляки, турчины; его нападенья с оттенком хлопка по плечу: „Терпи, брат, — в атаманы тебя отколачиваю!“ Мы с ним дружно бранились, враждебно мирились в те годы; газета ему, что седло: сядет — и ты вовсе не знаешь, в какой речи он галопировать будет».

Вот и поди поиздевайся над таким.

В здании на Большой Дмитровке Владимир Алексеевич ценился и как литератор, и просто как хороший человек. Ну и, конечно, как знаток Москвы, живая адресная книга. Зять Гиляровского, В. М. Лобанов, вспоминал: «Помнится, как в библиотеке Литературно-художественного кружка И. А. Бунин, заметив, что кто-то с трудом разыскивает на плане Москвы нужную ему отдаленную улицу, сказал:

— Гиляй в столовой, поди и спроси у него, чем зря терять время на поиски и глаза портить».

Не удивительно, что Гиляровский принимал самое активное участие в жизни кружка. Одно из подтверждений тому — письмо В. Переплетчикова, живописца и одного из предводителей «Союза русских художников», отправленное нашему герою: «Многоуважаемый Владимир Алексеевич, ввиду недостатка выставочных помещений для художественных выставок, Союз русских художников обратился в дирекцию литературно-художественного кружка с просьбой разрешить устройство выставок в помещении кружка. Ввиду того, что этот вопрос вторично переносится на обсуждение общего собрания кружка и ввиду его крайней важности для художников, мы очень просим Вас пожаловать на общее собрание 6 ноября и содействовать благоприятному для художников решению».

Владимир Алексеевич неутомимо проводил в кружке, так скажем, «прохудожническую» политику.

* * *

В 1912 году планировалось установить на Миусской площади, напротив университета имени Шанявского, памятник Льву Толстому работы скульптора С. Д. Меркурова. Скульптор использовал посмертную маску, а также слепки с головы и рук, снятые им с писателя в ноябре 1910 года на станции Астапово. Но главное было не это. Меркуров вознамерился использовать в качестве материала не бронзу, а гранит — решение по тому времени невиданное, и лично ездил в Финляндию выбирать для памятника особый, розовый камень.

Меркуров писал о работе над статуей: «Русская жизнь в те времена представлялась мне как большая степь, местами покрытая курганами. На курганах стояли большие каменные „бабы“ — из гранита — Пушкин, Толстой, Достоевский и другие. И время от времени этот, казалось, мертвый пейзаж потрясался грозой, громами, подземными толчками и землетрясениями. Я вспомнил слова Толстого: „Вот почему грядущая революция будет в России…“ А на кургане в бескрайней степи стояла каменная „баба“. От этого образа я не мог освободиться».

Впоследствии он признавался: «Мне кажется, что я открыл законы, которым подчиняются настоящие произведения искусства… В своих теориях зацепился кончиком за четвертое измерение… В статуе Толстого эти теории применялись бессознательно (интуитивно). Достоевского сделаю уже сознательно».

Словом, памятник еще до постановки стал явлением в русском искусстве. Не удивительно, что наш герой, узнав об этом, направился в меркуровскую мастерскую, где познакомился с пока что не законченным произведением.

Но Гиляровскому было достаточно увиденного. Он пишет заметку «Толстой из гранита»: «Бесформенная гранитная масса. Как из земли вырастает фигура с характерным контуром Толстого. К этой фигуре идут те простые линии, которые дает могучий гранит… Перед зрителем Л. Н. Толстой в его любимой позе: руки за поясом, слегка согнулся, глаза смотрят вниз. Сходство в лице, в позе, в каждом мускуле, в складках рубахи. Художнику удалось взять характерные линии, чему помог грубый материал: бронза, гипс, мрамор не были бы так характерны для этого гиганта — сына земли. Громадную работу заканчивает скульптор».

Прочитав эту заметку, Сергей Дмитриевич посетил Столешники и после слов благодарности вдруг заявил:

— А знаете, Владимир Алексеевич, когда вы умрете, я сделаю вам памятник из совсем необычного материала, из метеорита! Да, да, не смейтесь, откопаю где-нибудь в земле и сделаю.

Гиляровский зашелся от хохота. Предложение тридцатилетнего ваятеля, которому все старше сорока пяти казались стариками, не могло не позабавить нашего героя. Он еле выговорил, давясь от смеха:

— Отблагодарил, вот это называется отблагодарил. А не рано ли ты думаешь о памятнике для дяди Гиляя! Во-первых, я далеко не Толстой, а во-вторых, я еще поживу, ой-ой, как поживу!

Памятник же так и не был установлен на Миусах — в то время там намеревались возвести храм Александра Невского, и «Союз русского народа» заявил, что если рядом появится памятник отлученному от церкви Льву Толстому, он сразу же будет взорван. Угроза подействовала.

Статую открыли только в 1928 году, в сквере на Девичьем поле, откуда впоследствии перенесли на Пречистенку, во двор музея Толстого.

* * *

В 1912 году в Первопрестольной состоялась выставка «Ослиный хвост». О ней много писали, много говорили, а впоследствии образовалось целое течение художников-авангардистов — «Ослиный хвост». В общем, выставка стала сенсацией.

Но Владимир Алексеевич отнесся к этому ажиотажу, мягко говоря, скептически. Более того, поставил своего рода эксперимент. Дождался, пока в зале никого не будет, подошел к одной из вывешенных там работ — нечто зеленое, не пойми что — и быстро перевесил ее вверх тормашками.

Второй раз он явился в день закрытия. Как и предполагалось, никто ничего не заметил. Зеленый шедевр висел так, как повесил его Гиляровский.

Все новаторские поиски художников вызывали у него лишь ироническое неприятие. В. Лобанов писал: «Молодежь знала темпераментность хозяина Столешников, не умевшего и не желавшего лукавить. Она внимательно выслушивала одобрения и похвалу Гиляровского или резкий разнос за отход от правды жизни, за искажение действительности, за неискренность, холодную выдумку. Тем, кто оправдывал погрешности и объяснял их своим особым „видением“, Гиляровский убежденно говорил:

— Мало ли что тебе причудится в потемках! Мало ли что ты сможешь увидать в постоянно запертой на замок, темной, заваленной хламом и старьем комнате, где давно уже никто не живет.

Ты художник! Живи в шумном потоке текущей жизни, в говорливой, кипящей энергией толпе деятельных, творящих людей. Без устали броди и жадно наблюдай, вдыхай в себя радости и очарования жизни, просторы полей, величавые гулы лесов, безбрежную синеву неба и темень грозовых облаков, зеленую мураву весны и пушистые серебристые зимние дали с колеями вечно зовущих вперед дорог.

Справедливое негодование и возмущение Гиляровского вызывали некоторые опыты и дерзания молодежи, сбиваемой с толку умозрительными увлечениями зарубежных «новаторов», выдумывавших «новые пути» в искусстве, не имевших никакой связи с жизнью.

— Ты действительно видишь человека с тремя головами? — возмущенно спрашивал Гиляровский художника, показавшего ему этюд, написанный так, как он увидал на репродукции только что полученного заграничного художественного журнала.

— Почему у тебя человек похож на скрипку? — спрашивал он другого, ощупывая мускулатуру его рук, а иногда похлопывая его по спине или шее.

— Отчего у тебя вместо Василия Блаженного и обычных московских домов какие-то разноцветные кубики и конусы? — говорил Гиляровский художнику, показавшему этюд Красной площади. — Иногда ты можешь на улице увидать слона, особенно, если идешь ночью с пирушки, а конусы вместо домов, даже в сильном подпитии, вряд ли на московских улицах увидать можно.

— Зачем писать бумажные цветы, когда можно поставить перед собой букет крымских роз или степные цветы? Никакая цветная бумага и рукомесло самых опытных мастеров не смогут заменить краски природы, — убежденно утверждал неистовый жизнелюбец из Столешников.

— Колористические сочетания! — иронически повторял он слова автора, принесшего на суд свой натюрморт из искусственных цветов. — Разве можно сравнивать цветовую гармонию живых цветов с бумажными? Невозможно! И не надо! — горячо утверждал Гиляровский».

Автор этих строк, конечно, очень сильно передергивал мысль о бессмысленности поиска новых художнических направлений. Но позиция «дяди Гиляя» передана бесподобно.

* * *

В своей преданности делу Гиляровский иногда, что

называется, перебирал. «Цель оправдывает средства» — это про него. Разумеется, Владимир Алексеевич по трупам к цели не шел и вообще был человеком мирным, добродушным. Но иногда откалывал коленца.

Как-то раз он ехал в Москву с дачи. На станции Быково на платформе не было ни души. Наш герой насторожился — в это время ожидался поезд, и таких, как Гиляровский, дачников бывало больше чем достаточно.

— Скоро ли будет поезд? — спросил Владимир Алексеевич у станционного работника.

— Через двадцать минут, — сказал тот. — Но этот поезд в Быкове не останавливается.

Смириться с такой ситуацией? Нет, это было не по нраву нашему герою. Он нюхнул табачку и придумал, что делать. Соскочил с платформы и пошел пешком по шпалам в сторону Москвы.

Минут через двадцать — действительно поезд. Владимир Алексеевич, вместо того чтобы сойти с пути, снял шляпу, принялся ею размахивать и кричать:

— Стой! Остановись!

Машинист, естественно, остановился, думая, что этот человек предупреждает об опасности. Тогда Гиляровский сказал:

— На пути все благополучно, трогай!

И вскочил в вагон.

Разумеется, никто не пострадал, поезд нагнал упущенное и прибыл в Москву по расписанию. Но можно представить, что было бы, если бы каждый дачник таким образом останавливал поезда.

Конечно, для таких «изобретателей» существовал закон, который строгим образом карал за выходки. Но закона наш герой — с его-то связями — не боялся. Пользовался, так сказать, положением.

* * *

Кстати, Владимир Алексеевич частенько сетовал на то, что заурядный дачник, не обладающий ни славой, ни редакционным документом, ни особенной физподготовкой, испытывает трудности в поездках железнодорожным транспортом. Он даже написал на эту тему довольно симпатичный фельетон: «Вы подумайте, огромные вагоны с двумя выходами на концах. Надо пройти весь коридор, застрять на узкой площадке, спускаться с ловкостью акробата вниз на три ступеньки, держась непременно

обеими руками за ручки вагона, как по пожарной лестнице.

И в довершение всего, если на полустанке вагон не дошел до платформы, повиснуть надо над откосом полотна, иногда покрытым острым щебнем, иногда полуаршинной глубины грязью. Повиснуть над бездной, имея багаж, сложенный на площадке вагона в ожидании носильщика или доброго человека из пассажиров, который передаст вам багаж, когда вы очутитесь на земле.

А между прочим, для дачных поездов в прошлом году на некоторых железных дорогах были установлены полуминутные остановки, да именно на тех полустанках, где платформа длиной в три вагона, а пассажиры остальных вагонов обречены на сальто-мортале прямо на полотно. И строго, под угрозой штрафа, было предписано начальникам станций ровно ? минуты и не больше держать поезд.

Пассажир только успел вынести на площадку корзину или кулек с провизией и начинает спускаться, чтобы через пять минут быть на своей даче и мирно обедать в кругу семьи… Он уже опустил ногу с нижней подножки вагона и ищет отдаленную землю… Но вдруг по мановению руки начальника станции весь поезд без звонка и свистка тихо двигается, и бедный пассажир взбирается опять на площадку, так как перед ним стоит задача рыцаря на распутье:

— Сам соскочишь — багаж остался… Домой попадешь — обеда не будет!

И едет до следующей станции. А тут на грех контролер:

— Цап-царап! Пожалуйте доплату!..

И пойдет канитель со всеми последствиями… И вместо того, чтобы пообедать дома, вы можете очутиться в жандармской следующей станции, откуда вас могут отправить под конвоем пешком за 15 верст в стан.

— Для удостоверения личности!

— Полминуты! Ни секундой больше! Иначе штраф, — помнит начальник станции и строго блюдет расписание.

А что делать пассажиру в полуминутную остановку? Как выйти из вагона?

Если еще при этом впереди вас стоит на площадке вагона почтенная старушка на костылях или весь коридор впереди перед вами займет купчиха пудов на одиннадцать весом, да еще с двумя кульками и чемоданом?»

Впрочем, перед самим Гиляровским не стояла такая проблема. Он, в крайнем случае, окно бы высадил и вылез вовремя и в нужном месте.

* * *

Конечно, и в быту Владимир Алексеевич был более чем необычен. Николай Морозов вспоминал: «Свой стиль у него был в работе, по-своему, не как все, он и отдыхал.

Уезжал он неожиданно. Уйдет, бывало, после обеда из дома и не вернется. Вечер — его нет, ночь — его нет. А на другой день приходит открытка: оказывается, он встретил в Москве закадычных друзей с Кавказа и с ними уехал в солнечную Грузию отведать доброго кавказского вина, какого в Москве не сыщешь. Конечно, можно было бы пообещать друзьям приехать в другое время. Но у него на этот счет было свое правило: если не сейчас, то никогда. И он уезжал.

Летом в Столешниках мы часто были с ним вдвоем. У нас у каждого был свой ключ. Прихожу однажды домой и вижу у себя на столе записку: «Сегодня уеду из Москвы, блюди мой дом. Твой В. Гиляй». Пишу на этом листе шутливые вирши:

Я готов блюсти ваш дом
И всем горжусь этим признаться,
Что быть могу секретарем и псом,
Где лаять, а где и объясняться.

Проходит день, два — его все нет. На третий день вижу на столе приписку на том же листе:

Друг, Николай,
Ты зря не лай,
И псом не будь,
А не забудь —
Мой дом блюди
И в нем в тиши
Стихи пиши.

Значит, он вернулся в Москву, отметился и снова умчался в неизвестном направлении.

Нередко он выезжал на отдых в Петербург, где встречался с друзьями-литераторами. Но отдых у него, как и работа, проходил в непрерывном движении. Нет того, чтобы где-то уютно присесть в кресле с книгой или удобно протянуться на диване с газетой,

пройтись по набережной, полюбоваться природой. Он везде непоседа, на отдыхе тоже мчится на всех парах, без остановки, мелькает с места на место.

В поездках по городу он любил в пролетку извозчика вскочить на ходу и на ходу соскочить. На вопрос извозчика: «Куда ехать?» никогда не ответит, а вспылит: «На Кудыкину гору! Валяй прямо!» И извозчик ехал прямо. Через некоторое время новая команда: «Поворачивай налево», «Направо», и тот ехал, как приказывали. А когда седок выскочит из пролетки у какого-нибудь подъезда, на ходу, тогда извозчик может заключить: «Значит, приехали»».

Но все эти выходки прощались нашему герою. Очень уж он был мил и обаятелен (хотя эксплуатировал нещадно эти свои качества).

* * *

В 1913 году Владимир Гиляровский получил от Ильи Репина стихотворение в подарок:

Ось, чуете? — Москва гуде:
Казак Гиляй гуляе,
Матнею юлыцю мете,
Метелицю вздымае.
Словцы крылатии мета
И с ядом, и с риготом,
В весели верши заплета: кого щадить,
Кого пыта, кого доймае потом.
Вин характерник не спроста…
Як Бульбу дядька знають.
Шантують, поважають вси
До себе зазывають.

Самое интересное, что все это было недалеко от истины. С годами наш герой полюбил носить удобные и колоритные костюмы запорожских казаков, а уж с известностью проблем и вовсе не существовало.

* * *

Кстати, в 1914 году на выставке «Современное искусство» был

вывешен портрет «короля репортеров» работы Александра Герасимова. Можно сказать, что наш Гиляровский тогда уже был признанным классиком. Художник А. А. Рылов вспоминал о том, как познакомился с нашим героем в том же 1914 году: «Я выставил в 1914 году „Лебедей над Камой“ и был очень доволен отведенным местом. Когда я пришел на выставку, то публики было уже полно. Едва прошел я „за кулисы“ — так называлась у нас комната Бычкова (художника В. П. Бычкова. — *А.М.),* — так на столе кипит самовар, разложены закуски. Кроме Вячеслава Павловича и кое-кого из художников, сидел какой-то старик с запорожскими усами, в поддевке и высоких сапогах. На столе лежала его шапка из серого барашка. Я принял незнакомца за охотника-борзятника, какие встречаются на картинах Петра Соколова. Бычков представил меня старику, тот протянул руку и крепко потряс: «Так эти лебеди твои? Это ты 'Зеленый шум' написал? Вот тебе мои стихи на память». — И он дал мне бумажку. Он оказался известным писателем и поэтом В. Гиляровским. Вот что было на бумажке:

Камою желтою лебеди белые
Тянутся к северу, в тундры холодные,
Мчатся красивые, гордые, смелые,
Вечно могучие, вечно свободные,
С жаркого юга, лучами спаленного,
К озеру в тень под березы плакучие
Манят их радости «шума зеленого»
Свежестью, бодростью, силой могучею».

Все-таки «борзятник» — это сильно. И, пожалуй, лестно.

* * *

Тот же А. Герасимов писал: «Однажды я пришел к В. А. Гиляровскому домой в Столешников переулок. Проходя по коридору в кабинет к Владимиру Алексеевичу, увидел довольно много небольших картин, приставленных к стене. Повернув одну из них, я увидел этюд, разглядывая следующие, я все больше и больше удивлялся. Этюды были один другого слабее.

— Смотришь? — спросил Владимир Алексеевич, открывая дверь комнаты.

Недоумение мое было настолько велико, что, забыв все на свете, я ответил ему вопросом:

— Кто же это, Владимир Алексеевич, дарит вам?

— Никто, сам покупаю, — ответил он.

— Сами? — удивился я. — А зачем? Работы слабые.

— Эх ты, голова садовая! Хорошие-то всякий купит, а ты вот слабые купи.

— Да зачем же? — не унимался я.

— А затем, что так денег дать вашему брату, художнику, нельзя, обидится, а купить этюд — дело другое. И хлеб есть, и дух поднят. Раз покупают, скажет он себе, значит, нравится, значит, умею я работать. Глядишь, больше стал трудиться, повеселел, и впрямь дело пошло лучше. Понял?»

Покупал же наш герой эти работы на ученических выставках Училища живописи, ваяния и зодчества — довольно любопытном, но, увы, забытом феномене дореволюционной культурной жизни.

Владимир Алексеевич писал: «Я люблю ученические выставки за их свежесть, за юношеские порывы, являющиеся иногда приятными сюрпризами, что не всегда можно найти на больших выставках, где каждое место на стене принадлежит известному художнику, который повторяет свое прошлое „я“ в легком варианте. А здесь между учениками нет-нет да и вынырнет новый порыв творчества, если автор его сумеет вложить свою душу в грамотные формы — результат упорного труда».

Естественно, в дни ученических выставок (а они проходили зимой, в канун Рождества) к зданию училища съезжалось множество интересующихся — возможность купить за копейки шедевр действовала как магнит.

И только Гиляровский покупал чепуху, притом нарочно. В отличие от них он был настоящим меценатом.

В этом меценатстве не было, конечно, ни малейшего желания продемонстрировать общественности благородство своей души. Просто сам Владимир Алексеевич был человеком колоритным, и его, естественно, тянуло к таким же, как и он.

Самым, пожалуй, колоритным из преподавателей училища был скульптор Волнухин. Викентий Вересаев вспоминал о нем: «Ученики звали его „тятя“. Был он очень добр — специально старороссийскою добротою: слишком был ленив, чтобы быть злым. Но если с кем случалась беда, невозможно было заставить его хоть пальцем двинуть в помощь ему, пойти похлопотать и т.п.: лень. В мастерской его было грязно ужасно. Пришла раз жена одного из его учеников, смущенно оглядывается, где бы ей сесть. Волнухин сел на запыленную табуретку, повертелся на ней. Встал:

— Садитесь. Теперь чисто.

Жил и ел в своей мастерской, сам себе варил борщ. Была

семья, но там он обедать не любил. Жена скажет: «Умой руки». Посуду не мыл неделями. Раз старуха няня ему сказала:

— Ужотка пойду я в баню, давай посуду твою захвачу, там помою.

Только в бане можно было ее отмыть. Вздумает угостить чаем — ужас: и стакан неделями не мыт. Если гость предварительно вымоет стакан, Волнухин обидится».

Впрочем, экзотических персон в училище было хоть отбавляй. Рослый истопник подрабатывал тут «бельведерским Аполлоном» — был по совместительству натурщиком. А один из профессоров, кутила-скульптор Ромазанов, угощал всех горячим «напитком весталок» (из джина и коньяка с сахаром и апельсинами) и устраивал шествия хмельных трубачей по Мясницкой.

Однако учебная программа в этом учреждении оставляла желать лучшего. Дядя Гиляй так писал о художниках: «Воспитание в детстве было получить негде, а образования Училище живописи не давало, программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование, как на пустяки, — были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование — вещь второстепенная».

Исключение составлял, пожалуй что, один историк В. Ключевский. К. Ф. Юон вспоминал: «В Московском училище живописи, ваяния и зодчества в годы моего учения были организованы лекции, которые читали профессора Московского университета. Особой популярностью у студенчества пользовался профессор русской истории В. О. Ключевский. В лектории обычно не хватало мест для всех желающих его послушать, так как присутствовали не только учащиеся, но и весь преподавательский состав. Сам Ключевский однажды сказал, что ни одна аудитория не удовлетворяла его так глубоко, как слушатели Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ключевский читал живо и содержательно, он умел доходчиво, образно осветить исторические события и факты из прошлой и современной ему жизни русского народа. Его проникновенные слова западали в душу, будили воображение и вызывали патриотические чувства».

Но в основном преподаватели «непрофильных» наук и дисциплин видели перед собой полупустые залы и скучающие лица будущих художников.

Студенты же, разумеется, об этом не жалели. Главное — было налажено питание. Владимир Алексеевич об этом сообщал: «Во дворе дома Училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатых комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные

столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие.

Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый, прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанья. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать, и Моисеевна верила всем.

— Ты уж принеси… а то я забуду, — говорила она.

Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил семнадцать копеек, а без говядины одиннадцать копеек. На второе — то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила три копейки фунт, а молоко две копейки стакан.

Не было никаких кассирш, никаких билетиков. И мало было таких, кто надует Моисеевну, почти всегда платили наличными, займут у кого-нибудь одиннадцать копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно».

Случалось, что придет к той полулегендарной Моисеевне приличный барин, явно господин со средствами, и сунет ей пачку кредиток.

— Это ты, батюшка, за что же? — изумлялась бабушка.

— Должен тебе, Моисеевна, получи! — отвечал барин.

— Да ты кто будешь-то? — недоумевала добрая старушка.

Ясное дело, барин называл себя. Моисеевна на несколько секунд задумывалась, после чего лицо ее светлело, глаза делались веселыми.

— Ах ты батюшки, да это, Санька, ты?! — кричала бабушка. — А я и не узнала… Ишь, франт какой!.. Да что ты мне много даешь?

— Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов-то поел, — честно отвечал нежданный визитер.

— Ну, вот и спасибо, соколик! — говорила старушка.

От таких приношений она не отказывалась. Была бабкой простой. И надо полагать, что эта школа доброты, которую, так сказать, на общественных началах основала при училище старушка, была во много раз важнее для художников, чем правильные и неправильные римские глаголы.

К счастью, имущественный ценз при поступлении не применялся, и в училище было немало самых настоящих нищих слушателей. В частности Исаак Левитан. Михаил Нестеров писал

о его годах обучения: «На редкость красивый, изящный мальчик… Левитан… слыл в школе за „талант“. Одетый донельзя скромно, в какой-то клетчатый поношенный пиджак, коротенькие штанишки, он терпеливо ждал, когда более удачливые товарищи, насытясь, расходились по классам; тогда и Левитан застенчиво подходил… чтобы попросить доброго старика (Нестеров, видимо, напутал, Моисеевна была доброй старушкой. — *А. М.)* подождать старый долг… и дать ему вновь пеклеванник с колбасой и стакан молока. В то время это был его обед и ужин… Сказывали, что он не имел иногда и ночлега… Исаак Левитан после вечерних классов незаметно исчезал, прятался в верхнем этаже огромного дома Юшкова… выждав последний обход опустелого училища… оставался один коротать ночь в тепле… с тем чтобы утром натощак начать день мечтами о нежно любимой природе».

А Константин Паустовский был еще более щедр на подробности: «Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла „На старой Калужской дороге“. Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии — сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго — спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, — мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать».

И Левитан, конечно, был не одинок. Владимир Алексеевич это прекрасно понимал и время от времени «жертвовал»

подобным оборванцам, покупая их пока что дилетантские полотна. Но широта души «короля репортеров» проявлялась в большей степени даже не в этом, а в том, что он вывешивал покупки у себя в квартире, а не сваливал в чулан как хлам.

Такое великодушие, как говорится, дорогого стоит.

Интерес же нашего героя к «кузнице художников» был безграничен. Аполлинарий Васнецов писал в своих воспоминаниях: «Однажды в училище произошло недоразумение между учениками и одним из преподавателей… Училищный совет, улаживая конфликт, засиделся до полуночи. Выходим на Мясницкую, а там прохаживается Владимир Алексеевич и прямо к нам.

— Ну что, как, к чему пришли? — засыпал он нас вопросами… Владимир Алексеевич поджидал нас, живо интересуясь положением единственного в Москве художественного училища».

* * *

В начале лета 1914 года наш герой вновь захворал. На этот раз забарахлила печень. «Проклятая, никак не желает угомониться».

Владимир Алексеевич обосновался в своей любимой летней резиденции — «Гиляевке». Уверял близких, что проведет здесь все лето. Однако же жена ему не верила. Говаривала:

— Погодите вы, сбежит. Думаете, печень удержит? Ничуть.

И Гиляровский конечно же сбежал. На сей раз в Сочи — чтобы повидать своих знакомых. Но легко можно догадаться, что основной причиной был интерес к этому необычному и бурно развивающемуся курорту.

Сочи был молод. Только в марте 1866 года было принято особенное «Положение о заселении Черноморского округа и управления оным». В Сочи потянулись первые переселенцы — в основном военнослужащие, а если и партикулярные деятели, то с репутацией чем-то подмоченной.

Власть же всячески старалась поощрять подобные переселения. В этом смысле показательна история, случившаяся с господином Худековым, издателем «Петербургской газеты». Как-то Александр III, заглянув к медиа-деятелю в гости, за чаем предложил ему купить в новых местах участочек земли.

Разумеется, издатель всячески отнекивался. Царь же гнул свое, пытался пристыдить своего собеседника:

— Может, вы поиздержались, может, денег мало?

Дело решила худековская супруга. Романтически настроенная женщина вдруг ляпнула:

— А помнишь, — еще когда ты за мной ухаживал, то обещал построить в самом красивом месте самую красивую на свете дачу и назвать ее Надеждой — в честь меня. А до сих пор ведь не построил.

Так в сочи появилась одна из первых вилл — «Надежда» (ныне — парк «Дендрарий»).

Причина же такого массового нежелания перемещаться в теплые края была вполне понятна. Мало того, что пошаливали дикие шапсуги, так было еще и множество сугубо бытовых проблем. Основные — две. Во-первых, новые для организма россиянина болезни (в первую очередь, конечно, малярия), а во-вторых, постоянные неурожаи. Хотя климат здесь вполне благоприятный, но уж очень непривычный. Картошку, например, тут приходилось высаживать гораздо раньше, чем в средней полосе. Кому могло прийти такое в голову? Картошка в результате гибла.

О Сочи один из историков, С. Доратовский, писал: «Со стороны города все же мало делается для приезжих больных и здоровых людей. А ими только город и живет.

Улицы грязны в дожди и пыльны в засуху; канавы грязны, засорены; тротуаров нет — ходят около канав по тропинкам и после каждого дождя везде стоят лужи целыми часами; заборы в колючках.

Та красота, которой любуются с борта парохода или из автомобиля, проезжая по шоссе, утрачивается при остановке на более продолжительное время, и резко выделяется даже мелочное внешнее неблагоустройство.

Отсутствие водопровода, канализации и т.п. крупных и дорогих сооружений не так резко ощущается на первый раз, как сумма мелких, надоедливых недочетов благоустройства городской жизни».

Курортник понимал это, как только пароход подходил к берегу. А дело было в том, что пристани никакой и не было. Судно бросало якорь в сотнях метров от суши. К нему сразу же подплывало множество фелюг с гребцами-турками. Пассажиры вместе с багажом перемещались в эти самые фелюги. Жуткая давка, путаница с чемоданами, кто-нибудь обязательно упадет за борт. Но у гребцов одна задача — по-быстрее посадить и высадить курортников и получить от них «на чай». Нерешительных особ, в первую очередь, конечно, дамочек, гребцы просто хватали за подмышки и перемещали с одного плавсредства на другое.

Приблизительно таким же образом происходила выгрузка на

берег, где прибывших отдыхающих ждали новые сложности. Книгоиздатель М. Сабашников писал: «Нас доставили на берег в шлюпках. Высадившихся пассажиров окружили стоявшие на берегу лодочники турки, предлагая отнести багаж их в духан, находившийся тут же поблизости. Но из духана этого неслись пьяные песни и матросская ругань; нам не захотелось искать в нем прибежища. Спрошенный нами полицейский урядник объяснил, что это единственная гостиница в городе, но что нам лучше остановиться у обывателей».

Не удивительно, что старый добрый и понятный Крым предпочитали непостижимому Кавказу.

Однако Сочи все же заселялся. Подкупали относительная дешевизна и особый колорит колониальной жизни. Тем более что в 1909 году здесь появился потрясающий курортный комплекс под названием «Кавказская Ривьера». Сочинский путеводитель сообщал: «Курорт „Кавказская Ривьера“. Два четырехэтажные здания красивой архитектуры. Цены номерам — в 1 р., 1 р. 25 к., 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р. и 6 р. Помесячно — скидка. При номере полагается постельное белье и пользование электрическим освещением. Живущие в номерах имеют право пользоваться в читальне газетами и журналами. Газеты и журналы имеются на пяти языках. Отдельное здание ресторана и кафе. В ресторане можно иметь полный пансион за 45 р. в месяц, 60 р. и 75 р. Можно иметь отдельные завтраки из 3-х блюд — 75 коп. и обеды из 4-х блюд — по 1 р. При гостинице имеется отдельное театральное здание. К пароходам „Ривьера“ высылает собственную фелюгу и комиссионера, которому можно поручить свой багаж и без всяких забот и хлопот с парохода водвориться в номер».

А реклама санатория на всякий случай уверяла публику: «Тропический сад и парк. Сезон круглый год. Полное отсутствие лихорадок».

Словом, не курорт, а рай земной.

С. Доратовский писал о «Ривьере»: «Рядом с казенной пристанью недавно выстроена… гостиница „Кавказская Ривьера“. Это целый городок на крохотном клочке земли, обрывом опускающемся к морю. Владелец так умело и остроумно использовал склон к морю и все свободные площадки, что получилась масса уютных уголков, засаженных тропической растительностью. Целая сеть тропинок к морю, и каждый шаг отмечает какое-либо ценное растение. Много пальм выписано из Италии. Стоит сюда заглянуть, чтобы полюбоваться чудным видом и необычной растительностью».

Тот же Доратовский сообщал: «Отдельное театральное здание

при гостинице „Ривьера“ хорошо обставлено. Масса света и воздуха. Жаль, что оно находится далеко от города, что особенно неудобно при разъезде из театра».

Кстати, эти неудобства создавали как раз те, кому по роду службы следовало бы их устранять: «Сочинские извозчики не любят свою таксу, в особенности вечером, из-за чего выходят часто различные недоразумения при разъездах из театра. Чаще всего испытываются затруднения после спектаклей в „Ривьере“, так как из „Ривьеры“ приходится возвращаться через Сочинский мост нижней частью города, где плохое освещение и неудобный путь для пешеходов».

Словом, на черноморском берегу, там, где еще совсем недавно властвовали дикие племена шапсугов и убыхов, создавался абсолютно новый мир. Мог ли Владимир Алексеевич остаться равнодушным к этому? Нет, дудки.

Впрочем, надолго Гиляровский здесь не задержался. Не понравилось.

* * *

В 1914 году Владимир Алексеевич впервые получает серьезное издательское предложение — от легендарного Ивана Сытина. Речь шла не об отдельной книге, а о собрании сочинений. Наш герой записал в дневнике: «Принимаюсь за издание семи томов своих вещей за тридцать пять лет. В первом томе увидят, как жили в старину, — все чистая правда, несомненно имеющая отношение к настоящему и грядущему… Один из моих томов — „Московские трущобы“, над которыми я проработал и продолжаю работать неустанно тридцать пятый год… Рост трущоб продолжается, а борьба с ними еще впереди».

Первый том должен был состоять из рассказов «Гимназия», «В народ», «На Волге», «Война», «Сцена» и «Литературная Москва за тридцать лет». Второй том — из стихотворений. Третий — из рассказов. Четвертый — из юмористических рассказов и экспромтов. Пятый — из материалов о старой Москве. Шестой — из произведений цикла «Московские трущобы». А седьмой был выдумкой дяди Гиляя — Сытин дал добро только на шесть томов.

Особое внимание наш герой уделил предисловиям. К первому тому предисловие писал Влас Дорошевич. Ко второму — сам Владимир Алексеевич. К третьему — Куприн. К четвертому — опять Владимир Алексеевич. К пятому — Амфитеатров. И к шестому — Александр Измайлов, критик из Санкт— Петербурга.

Впрочем, не удалось выпустить ни одного тома — помешала

война. И не только она — сгорел дом в Гиляевке, в который Владимир Алексеевич незадолго до того переправил весь свой архив.

Но не таков был наш герой, чтоб впасть в депрессию. Жизнь продолжалась.

* * *

К вступлению России в Первую мировую войну Гиляровский отнесся настороженно. В отличие, к примеру, от актера и старого приятеля В. Н. Давыдова, который, несмотря на свой солидный возраст (65 лет), вызвался идти на фронт. Да только вот директор Императорских театров В. А. Теляковский не дал свое добро на просьбу престарелого актера «освободить его от прямых обязанностей на время войны и дать возможность отправиться на театр военных действий в качестве санитара, чтобы „утолить страдания невинных“».

Гиляровский одобрил поступок Теляковского и послал своему другу проникновенное письмо: «Милый, старый друг Владимир Николаевич!

С великой радостью прочел сейчас известие, что театральное начальство не разрешило тебе идти на войну санитаром. Милое и мудрое начальство! Поклон ему. Подумай: санитаров сколько угодно, а Владимир Николаевич Давыдов — один! Помню тебя богатырем — и сам в те поры таким же был. Ведь ты же меня провожал на войну! Помнишь Саратов? То было время, была молодость, а теперь мы здесь полезнее, чем там. Здесь нужны люди, и ты здесь сделаешь во сто раз больше пользы, чем там. А для спорта мы оба устарели! Ты думаешь, я не рвусь на войну? И знаю, что с моими станичниками мог бы еще кое-что сделать, но и в Москве, в сердце России, работы хоть отбавляй! Ну, могу я там сделать красивый налет в счастливой разведке, изрубить с десяток немцев — и только? А здесь работа упорная, полезная и много труднее!

У меня перо и помощь организациям натурой.

У тебя — слово со сцены, с эстрады — великое слово, поднимающее дух, а страна побеждает не орудиями только, но и духом. Главное — духом! И поддерживай этот дух. Ведь мы свергаем германское иго, как когда-то свергали татарское!

А хочешь поработать санитаром — будь санитар духа: езди по лазаретам, читай и рассказывай — это для раненых дело великое. Так-то, Володенька! Так-то, милый тезка! Вот твое дело — великое дело! Будь санитаром духа!»

Очевидно, если бы война и вправду показалась бы «королю репортеров» нужной для России, — отправился бы на фронт не раздумывая.

И, как показала история, он оказался мудрее царя.

Впрочем, критику А. А. Измайлову Владимир Алексеевич писал: «Страна истекает кровью, как женщина во время родов! Наши потомки позавидуют нам, бывшим в котле, кипящем в 1905 году… Война уже открыла все, как щелкун, расколовший орехи и показавший, который орех гнилой, который целый… Война — гроза. Эта война все влечет, и смерч, и вулкан, и грозу, и ураган!

Гроза — ведь божья милость,
Гроза гнилую сосну изломает
Да целый бор дремучий оживит…»

Видимо, Владимир Алексеевич и сам до конца не осознавал собственного отношения к войне. С одной стороны — встряска вроде как на пользу государству, а с другой — как бы чего не вышло.

* * *

В 1915 году Владимир Алексеевич писал Амфитеатрову: «Вообще газет нет. Я почти не работаю, посылаю, куда вздумается, иногда… Так все изолгалось, измельчало, изворовалось! Ей-богу, то, что стало теперь с печатью, ты и представить не можешь! На лбу роковые слова: „Продается оптом и в розницу, на время, на ночь кому угодно!“ Да взгляни в любые объявления в лучших газетах — это ведь разврат, растление общества, содействие всякому мошенничеству и насаждение разврата… В редакции я не бываю ни в одной, а пишу и посылаю. Пишу, как думаю, и потому имею право печататься везде. „Пиши правду, как думаешь“ — вот мой завет был, есть и будет».

Не последнюю роль здесь, разумеется, сыграло усиление цензуры, связанное с Первой мировой войной. Писать «как думаешь» было нельзя и по этой причине.

Владимир Алексеевич не отослал это письмо — оно осталось в его бумагах. Видимо, не хотел, чтобы о нем подумали: распустил нюни.

Однако, ясно, что Владимир Алексеевич переживал кризис. Как, впрочем, и страна. До взятия Зимнего дворца оставалось

всего-навсего два года.

* * *

В 1916 году кружок «Среда» отпраздновал свое тридцатилетие. Владимир Алексеевич, естественно, выступил со стихотворением:

Эх ты, матушка-голубушка Среда,
Мы состарились, а ты все молода!
Тридцать лет тебе сегодня миновало,
Тридцать лет прошло, как будто не бывало.
Тот же самый тесный, радостный уют
И «Недурно пущено» поют.
Тот же самый разговор живой и смелый,
А родитель твой хоть малость поседелый,
Да душа его, как прежде, молода,
Эх ты, матушка-голубушка Среда!
На Среде уж нынче водочки не пьют,
А «Недурно пущено» поют!

Что поделать — старость подступала не к одному Гиляровскому, а к его сверстникам, его компании, его среде. И наш герой к этому относился философски.

* * *

В 1917 году Владимир Алексеевич впал в эйфорию, присущую тогда русской интеллигенции более-менее либеральных взглядов. Ходил по городу в кожаной куртке, украшенной солдатским Георгиевским крестом. Посещал митинги. Мелькал в студенческих аудиториях. По возможности бывал на заседании тайных кружков.

И это несмотря на возраст — нашему герою было 62 года.

* * *

Революцию Владимир Гиляровский принял с радостью. Не удивительно, ведь тип брутального рубахи-парня сделался очень популярным. А послужной список Гиляровского был подходящий

— он в основном писал о простонародье. Естественно, что вспомнилась история с сожжением сборника его очерков под названием «Трущобные люди». Как уже говорилось, книга была отпечатана и только после этого запрещена цензурой. Весь тираж был сожжен на костре во дворе Сущевской полицейской части. После этого книг не сжигали, и Владимир Алексеевич вошел в историю как автор последней книги, подвергнутой подобной процедуре. Конечно, это было символично и почетно.

К тому же низкое социальное происхождение, создававшее определенные неудобства при царской власти, превратилось в величайшее достоинство. Гиляровский начал играть роль чуть ли не бывшего люмпена: «Новых долгов у меня нет, а за старые, с ростовщиками, за меня революция рассчиталась, спасибо ей!»

Доходило до того, что наш герой открыто сожалел о том, что в молодости не вступил на Волге в некую бандитскую «станицу» — неожиданно арестовали вожака. И хвастался, что регулярно платил деньги на организацию его побега.

Ну и конечно, Гиляровский безо всякого стеснения расхваливал так называемую социалистическую реконструкцию Москвы. То, чему противились искусствоведы и ревнители российской старины, он самозабвенно воспевал: «Там, где недавно, еще на моей памяти были болота, теперь — асфальтированные улицы, прямые и широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавно гиблые окраины уже слились с центром и не уступают ему по благоустройству, а недавние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы — эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи развивают свои силы, подготовляют себя к геройским подвигам… Ближние деревни становятся участками столицы».

В своей лести Гиляровский удержи не знает. Пишет: «Москва — уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это стало возможным только в стране, где Советская власть».

И, похоже, он сам в это верит.

Глава 9
Ветеран российской журналистики

Вскоре после революции Владимир Алексеевич задумал написать главную книгу своей жизни. Свой замысел он изложил секретарю Морозову. У них состоялся такой диалог:

— Рвусь работать, всяких тем в голове крутится пропасть, больше всего занимает книга о Москве и ее людях, книга сложная, а с чего ее начать, в какой последовательности продолжать — не знаю. Намечаешь то один материал, то другой, но все не удовлетворяет. Наконец, не ясно: какое содержание в целом должно в нее войти?

— Вопрос серьезный, Владимир Алексеевич, потому что задача у вас сложная.

— Наш переулок — центр Москвы. У меня вот какая блеснула мысль. Сначала приступить к описанию правой стороны центра, описывать все подряд, начиная от Петровки до Арбата и дальше, а потом описывать левую, начиная от Неглинки и уходя вглубь. В следующую очередь пойдут Замоскворечье и окраины. Мне кажется, теперь у меня работа пойдет спорее.

— И я так думаю. Вы разбиваете Москву на квадраты, на какие-то точки и будете мысленным хожалым по Москве, будете запечатлевать самое яркое, примечательное из того, что сохранилось в вашей памяти, в записях, материалах. Думается, трудно придумать какую-нибудь другую систему на замену этой. По точкам работать куда легче, в этих условиях ничто не ускользнет из вашего поля зрения.

— Так я и сам думал. Ты сразу понял мой план.

— Постиг, Владимир Алексеевич, великие умы сходятся.

— Думаю начать писать об Английском клубе. У меня скопилось много материала, захватывающий материал…

— Тема интересная. На Тверской, по правую руку от центра, Английский клуб — высшая знать, верхи отечества тех времен, а по левую — мрачно выглянет в книге Хитровка, низы, дно отечества. Москва ярко засверкает в своих разительных противоречиях, убийственных, я бы сказал, преступных контрастах.

— Что говорить… Трудно тогда жилось народу… А там Цветной бульвар… Шиповская крепость… Интересная может получиться книга о Москве!

— Не сомневаюсь, книга будет призовая.

— Начали с Тверской, с Английского клуба. Теперь треба

подумать, о чем писать дальше.

— Надо, по-моему, идти по порядку — от Тверской заставы к Охотному.

— Почему от заставы? Много интересного можно найти и в загородных местах. Например, в Петровском парке.

— Я хотел сказать: с Ходынки, с Ходынской катастрофы.

— Правильно, я забыл о Ходынке!

— Незачем держать ее в голове: она вами уже описана в «Русских ведомостях».

— Теперь мы попадаем в загородные места. Здесь находился Петровский театр, рестораны: «Яр», «Стрельня», «Эльдорадо», а затем бега и скачки. На самом конце Тверской наткнемся, у бывшей Лоскутной гостиницы, на трактир «Обжорка»…

То есть «Москва и москвичи» планировалась как классический путеводитель — вплоть до указания каждой улицы и, по возможности, каждого дома. Трудно сказать, что помешало Гиляровскому реализовать свой план. Можно лишь предположить, что нашему герою с его темпераментом не слишком-то хотелось проводить досуг в библиотеках и архивах, выискивая информацию о прошлом тех или иных участков и строений. Да и возраст сказывался — ему было за шестьдесят. Разумеется, для своих лет он был вполне здоровым, бодрым, работоспособным, креативным и самокритичным. То есть теоретически возможность написать такую книгу у него, в общем, была. Но, оценивая весь объем работ, он мог решить, что на подобный труд потребуется не одно десятилетие. Стоит ли разгоняться, если можно ограничиться собственными воспоминаниями и, по ходу дела, вставлять в текст уже написанные и опубликованные очерки?

Кстати, тогда же появился замысел «Москвы газетной».

* * *

С этого момента именно работа над московской книгой стала основным делом дяди Гиляя. Н. Морозов писал: «Все, что было закреплено им когда-то в записных книжках на ходу, в трамвае, на извозчике, часто не за своим, а за чужим столом или записано дома в тетради в свободные вечера, перенесено в них с крахмальных манжет, имевших всякие заметы, тоже набросанные наскоро; что было когда-то напечатано, набросано в черновиках, собрано и лежало в содержательном литературном архиве в виде материалов, а также хранилось в его богатой и крепкой памяти, — все это предстояло теперь разобрать, привести в

порядок, систематизировать и облечь в окончательную литературную форму.

Труд требовал методического подхода, усидчивости, времени, кабинетной замкнутости. Такому непоседе, как он, привыкшему вихрем носиться по московским просторам, не считаясь ни с какими расстояниями, нелегко было приучить себя к долгому писательскому затворничеству. Однако творческая стихия захватила его, и он в эти годы проявил большую вдохновенную работоспособность.

Всего записать никакой писатель не может. Всякий раз, когда шла речь о воссоздании прошлого, Владимир Алексеевич в необходимых случаях неизбежно обращался к своей памяти, помогавшей ему в живописании разных частностей и восстановлении всяких пробелов. Память у него была удивительная. Надо было видеть, с какой легкостью и ясностью набрасывал он страницы прошлого, рисовавшегося ему всегда ярко и свежо, будто это было так недавно.

Не в пример многим литераторам, имеющим обыкновение сначала закончить один труд, а затем переключиться на другой, он, во многом оригинальный, и здесь оставался верен себе: работал одновременно над несколькими книгами. Всякое произведение требует длительного вызревания. На вызревание у него уходили немалые сроки, но выношенное он писал быстро.

Заглянешь, бывало, к нему, а иногда он и сам позовет к себе и сейчас же прочтет что-нибудь вновь написанное и обязательно интересное. То это отрывок о М. Н. Ермоловой, с которой он был знаком еще по воронежскому театру, где сам работал. То заслушаешься его чтением глав о бурлацкой артели, тянувшей с его участием барку от Ярославля до Рыбны, то он прочтет очерк из прошлого Москвы, как в ресторане клуба богатеи пожирали раков ведрами, в частности банкир и домовладелец Чижов.

Из этих прочитанных глав одна намечалась для книги о скитаниях, другая — для книги о Москве. В другой раз прочтет о первом своем дебюте в театре, где он, измазавшись сажей, играл негра в «Хижине дяди Тома», либо о встречах с драматургами из собачьего зала. По заказам разных пройдох-режиссеров эти драматурги дна писали собственные пьесы и переделывали по их же заказам пьесы других авторов, в том числе и иностранных. Заказанные пьесы режиссеры выпускали в свет и ставили в театрах под своей фамилией, называя их переделками с французского, итальянского и с других языков, наживали на этом деньги, а драматургам платили гроши. Один из таких литераторов, Глазов, написал семнадцать пьес, за которые получил от режиссера всего-навсего триста с небольшим рублей,

и об его авторстве не было даже нигде упомянуто».

Наш герой окончательно превратился из «летучего репортера» в кабинетного работника.

* * *

Помимо книги о Москве Владимир Алексеевич пытался писать и стихи о Ленине, и поэму «Петербург». Он изо всех сил старался подчеркнуть свою лояльность к новой власти, к новому строю, к новому укладу, к новому правительству. Некогда бойкие и остроумные экспромты сменились пафосными и тяжеловесными тирадами:

О Петр! Ты знал, чего ты волишь:
— «Все флаги в гости будут к нам!»
Не знал ты флага одного лишь —
То красный флаг, — война дворцам!

Но эти вирши не публиковали. Новая власть была властью молодых, и, несмотря на все заслуги Гиляровского, он был, хотя и «свой», но мало кому интересный персонаж. В свои шестьдесят с лишним лет бывший кумир воспринимался все-таки как пережиток прошлого. Пусть и не вредный.

Журналист Лев Никулин писал: «Помню дядю Гиляя… уже в советскую эпоху, на улицах Москвы; он был очень колоритен и своеобразен своей живописной фигурой, седыми усами, напоминающими о том, что он послужил натурой Репину в „Запорожцах“. Он заметно постарел, но по-прежнему веселой была усмешка из-под усов и по-молодому светились глаза. Благожелательный к молодежи, он встречал нас, как товарищей, не смущаясь, спрашивал мнения о своих стихах, которые любил сочинять, как и прежде».

Гиляровский сделался анахронизмом.

* * *

В 1920 году Владимир Алексеевич выпустил рукописную книгу. В те времена это не было редкостью — из-за разрухи писатели не могли нормальным образом издаваться, и было решено делать свои издания самостоятельно.

Эти книги выставлялись в «Книжной лавке писателей» в

Леонтьевском переулке, но купить их было невозможно — только почитать.

Владимир Алексеевич «издал» свою поэму «Стенька Разин». К делу подошел со всей ответственностью, долго думал над форматом книги, подбирал шрифты. А название — «Стенька Разин. Поэма В. А. Гиляровского» — и вовсе вывел гусиным пером. По тем временам — редкость невообразимая.

* * *

Даже в голодные времена Владимир Алексеевич любил попировать, посибаритствовать. Увы, приходилось довольствоваться очень скромным пайком. Он, в частности, вспоминал об одном таком «празднике» 1920 года: «Как-то… побеседовали в театре Зимина на каком-то митинге или спектакле. Сидели за кулисами в артистической уборной, пили чай и ели жадно какие-то бутерброды с лошадиной колбасой. Между прочим, поменялись экспромтами (с Брюсовым. — *А. М.)*. Что ему я написал — не помню, а он занял страничку моей книжки:

…

"Другу моего отца и моему В. А. Гиляровскому — дяде Гиляю.

Тому, кто пел нам полстолетья,
Не пропустив в нем не штриха,
При беглой встрече рад пропеть я
Хотя бы дважды два стиха.

Валерий Брюсов, 20 июля 1920 года "».

Хорошо, по крайней мере, что сложение виршей не зависело от цен на черном рынке.

* * *

В те же времена Владимир Алексеевич подружился с клоуном из цирка на Цветном бульваре — Виталием Ефимовичем Лазаренко. Это была личность легендарная, и сам Булгаков отмечал, что он ошеломляет зрителей «чудовищными salto».

Лазаренко очень удивился, узнав, что маститый репортер тоже когда-то промышлял цирковым делом. На что Владимир Алексеевич ответил, по обыкновению, экспромтом:

Полсотни лет тому назад
Я был в афишах Алексисом.
Почтен был даже бенефисом,
Сам Николь звал меня «Комрад!»,
Тебя чтоб больше огорошить.
Вот дальше летопись моя:
На неоседланную лошадь
Никто не прыгал так, как я.
Набитый мускул, гибкость торса,
Жизнь без раздумий и забот,
И вихрь стремительный парфорса,
И на трапеции полет…

Владимир Алексеевич не врал. Его цирковой номер так и назывался — «Алексис на неоседланной лошади». Номер пользовался успехом у зрителей.

А Виталий Лазаренко еще более расположился к своему новому другу.

* * *

С годами наш герой заматерел, почувствовал себя классиком. Это уже не был молодой силач с повадками массовика-затейника. Но чувство юмора его не покидало.

Константин Паустовский писал: «Внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была запорожская, казацкая. Сивоусый, с немного насмешливыми, проницательными глазами, в смушковой серой папахе и жупане, он сразу же покорял собеседника блеском своего разговора, шутливостью, остроумием, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика».

Это был все такой же воитель. Даже еще более воинственный. Тот же Паустовский вспоминал: «Молокососы! — кричал он нам, молодым газетчикам. — Трухлявые либералы! О русском народе вы знаете не больше, чем эта дура мадам Курдюкова… От газетного листа должно разить таким жаром, чтоб его трудно было в руках удержать. В газете должны быть такие речи, чтоб у

читателя спирало дыхание. А вы что делаете? Мямлите! Вам бы писать романы о малокровных девицах. Я знаю русский народ. Он вам покажет, где раки зимуют! Можно, конечно, делать политику и за дамским бюро на паучьих ножках. И проливать слезы над собственной статьей о русском мужике. Да от одного мужицкого слова всех вас схватит кондрашка! Тоже народники! Прощайте! Другим разом зайду. Сейчас что-то неохота с вами балакать».

Сам Константин Георгиевич, кстати говоря, побаивался Гиляровского. Спустя десятилетия он говорил на выступлении в честь 100-летия со дня рождения нашего героя: «Когда я впервые увидел Гиляровского, у меня возникла такая боязнь — примет он меня или не примет. Это был такой человек, что с первого взгляда вы чувствовали в нем такую силу и такую цельность, что вам обязательно хотелось, чтобы он вас принял. Я помню, что вот это первое ощущение при встрече с Гиляровским меня очень смутило.

И вот он вошел. Это был интересный внешне запорожец. Я знал, что Гиляровский действительно потомок запорожских казаков, и он любил свое прошлое в самом хорошем смысле этого слова. И я, тоже в какой-то мере потомок этого запорожского племени, не решился ему сказать о том, что я тоже запорожец, потому что он бы мне не поверил. Это было совершенно ясно. У Гиляровского были совершенно ясно и очень резко выраженные черты подлинного запорожца, а во мне этих черт не было и нет, и для него я не представлял такого запорожского интереса. Поэтому мне пришлось об этом промолчать. Он же был ярко выраженный запорожец, начиная с его совершенно неслыханной физической силы… И потом вся наружность Гиляровского, вся его повадка, манера одеваться были запорожские. Он обладал к тому же бесстрашием, беспощадной правдивостью. Это свойство Владимира Алексеевича иногда даже пугало людей».

К счастью, все обошлось. Наш герой Паустовского «принял» и как-то даже пригласил в рабочий кабинет, сказав при этом, что пускает туда далеко не всякого.

* * *

В 1922 году отдельной книгой вышел «Стенька Разин» — в первый раз без сокращений. Владимир Алексеевич был несказанно рад — ведь этой поэмой «герой репортеров» гордился особенно.

Подошел своей смелой стопой,

Расстегнул белый ворот рубахи,
Лег… Накрыли Степана доской.
— Что ж, руби! — злобно дьяк обратился. —
Али дело забыл свое кат?
— Не могу бить родных — не рядился,
Мне Степан по кресту теперь брат,
Не могу! — И секира упала,
По помосту гремя и стуча.
Тут народ подивился немало…
Дьяк другого позвал палача.

Действительно, до революции было весьма проблематично опубликовать такое.

* * *

В 1923 году наш герой вновь стал дачником. Он получил от властей документ «на право пользования землею, находящейся в Московской губернии, Можайском уезде, Моревской волости при деревне Мосеево под названием хутор В. А. Гиляровского».

Это был подарок на семидесятилетие. Владимир Алексеевич пришел в полный восторг. Он начал обживать свое пространство. Поляну за домом назвал «Задонской степью», пригорок — «Охотничьим курганом» — в честь Русско-турецкой войны, три березы, выросшие из одного корня, — «Три сестры», в память о Чехове. Дело нашлось и легендарной табакерке — с ее помощью Гиляровский определял погоду. Якобы перед дождем ее крышка принимала внутри сизоватый оттенок.

Наступало неизбежное. Владимир Алексеевич теперь жил не будущим, не настоящим — прошлым. И наслаждался своим новым состоянием души:

Горят болота, пахнет дымом,
Но все ж мне дорог край родной,
И не прельстить меня ни Крымом,
Ни заграничной суетой.
Всего дороже мне одно —
Родное сердцу Картино.

Мария Ивановна опять насадила пионов. А для гостей был

построен отдельный малюсенький домик. Владимир Алексеевич не мог перебороть свою страсть к хлебосольству.

Впрочем, гостей становилось все меньше. В основном художники, которых привлекал не столько сам хозяин, сколько возможность побродить с этюдником по лесу и лугам.

Владимир Алексеевич все чаще сталкивался с тем, что он не интересен своим слушателям. Редкие исключения лишь подтверждали эту закономерность. К исключениям, например, относилась Оля Богомолова, приятельница дочки Наденьки по университету.

Гиляровский ей писал: «Вы, как никто, умеете слушать и вдохновлять к рассказу, ободрить рассказчика и тонко похвалить его, а значит, вселить уверенность, чутко понять, задать вопросы, которые заставляют широко и картинно, не стесняясь, распространяться о мелочах, — а ведь мелочи в работе писателя нужны, как архитектурные украшения зданию, отдельно о них говорить с другими и постесняешься.

— На кой это! Ты прямо к делу — есть и такие — от них сам в себя уйдешь».

Но дело было, разумеется, не в слушателях. Носитель ценной информации о заседаниях «Среды» и похождениях старого низового криминалитета был не интересен поколению, строящему индустриальную державу. Да, Владимир Алексеевич пытался изо всех сил не «выпадать из обоймы», общался с «новыми» писателями и поэтами — Есениным, Грузиновым, Артемом Веселым, Паустовским, Каменским. Ходил, по мере сил, на многочисленные заседания поэтических кружков. Но все это было, увы, не так, как раньше.

* * *

3 декабря 1923 года Гиляровский решил отпраздновать круглую дату — пятидесятилетний юбилей литературной деятельности. Цель была очевидна — напомнить людям о своем существовании. Нашелся и повод — в 1873 году он впервые опубликовался в Сборнике литературных опытов учащихся Вологодской гимназии.

Нашего героя не смутило то, что всего-навсего пятнадцать лет тому назад он праздновал двадцатипятилетие литературной деятельности. В начале двадцатых годов пренебрегали и не такими условностями.

Гиляровский задействовал все свои связи, и довольно успешно. Председателем юбилейного комитета стал актер А. И.

Южин. В состав комитета вошли В. Я. Брюсов, А. М. Васнецов, В. И. Немирович-Данченко, И. Д. Сытин, Н. Д. Телешов. К комитету присоединились Всероссийский союз писателей, Русское театральное общество, Всероссийский союз крестьянских писателей, Всероссийский союз поэтов, литературное общество «Звено», представители «Литературного особняка», Общества А. П. Чехова, Общества драматических писателей и оперных композиторов.

Чествование прошло 3 декабря 1923 года в Историческом музее. Но того задора, что был в 1908 году, конечно же не наблюдалось. И «общественного резонанса» — тоже. О заседании отчиталось несколько московских СМИ — и только. Уже на следующий день о нем забыли.

Можно сказать, что наш герой выстрелил из пушки в небо.

* * *

В 1924 году Владимир Алексеевич писал в «Известиях»: «Только теперь Московский совет приступил к ликвидации Хитровки… Сделано то, о чем прежде и не мечталось. И делается вовремя — летом, когда большая часть обитателей Хитровки расползлась из Москвы».

Таким образом свое существование прекратило одно из самых колоритных мест Москвы, которому Владимир Алексеевич отчасти был обязан собственной карьерой. Однако он об этом не жалел.

* * *

Пришло время подведения итогов. В первую очередь это конечно же служение Москве. Владимир Алексеевич записывает в дневнике: «Вдоль и поперек пятьсот улиц и тысячи переулков, протяжением в пятьсот километров, с балкона колокольни Ивана Великого и еще выше, из люка под самым крестом средней башни главы храма Христа-Спасителя… я изучал наружную Москву. А еще выше я ее видел с аэростата в 1882 г., а потом с аэроплана. И под землю забирался для рискованных исследований, побывал я и в разбойном притоне „Зеленая барыня“ за Крестовской заставой, и в глубоком подземелье заброшенного Екатерининского водопровода, и в клоаках Неглинки, и в артезианских штольнях под Яузским бульваром».

Эта тема появляется даже в его стихах:

Я сорок лет в Москве живу.
Я сорок лет Москву люблю.
В Ходынке мне бока намяли,
Ее я славно расписал,
В 905-м на вокзале
Какой-то бравый генерал
Меня чуть-чуть не расстрелял,
Увидев серую папаху,
Вот эту самую, мою,
Не раз отбывшую в бою…
Я сорок лет в Москве живу,
Я сорок лет Москву люблю.
Ничего не поделаешь. Возраст.

А между тем стихотворения и экспромты у нашего героя получались все пространнее, однако же писались без былого озорства. В частности, в 1924 году он выдал посвящение Т. Л. Щепкиной-Куперник:

Я помню чудный уголок
На незабвенной Божедомке:
Мускат-Розе, ликер, медок,
Икра и сайки на соломке.

Кипит веселый самовар,
До света тихие беседы
Или поэзии угар —
Живой магнит для «непоседы».

Вот развеселый дом Татьян…
Скромна мечтательная «Чайка»,
Проникновенная Терьян,
А именинница хозяйка.

Всех оживленней, всех милей, —
Вокруг нее все жизнью полны…
Воспоминанья этих дней
Не смыли бурной жизни волны.

Меня бросал суровый рок

От чар триумфа до котомки,
И я нигде забыть не мог
Тех вечеров на Божедомке!

Владимир Алексеевич лукавил: все-таки «котомка» была в его жизни до знакомства с Щепкиной-Куперник. Но поражает объем этого произведения.

Похоже, наш герой, при желании, мог бесконечно выдавать бесконечные экспромты.

* * *

Литературные дела, однако, двигались. В конце декабря 1925 года вышел сигнальный экземпляр «Москвы и москвичей». Спустя три года — труд «Мои скитания». Еще спустя три года новое издание, «Записки москвича». А еще спустя три года — «Друзья и встречи». Некогда спонтанный и непредсказуемый Гиляй вдруг начал отличаться редкостной систематичностью.

Во всех четырех случаях единого сюжета не было — по сути, книги представляли из себя подборки очерков — тех, что публиковались ранее, и новых, но написанных по памяти. Время от времени Владимир Алексеевич публиковал свои заметки в «Известиях», «Прожекторе», «Красной ниве», «Огоньке», «Вечерке» и других изданиях. И все это касалось только прошлого. О современной жизни Гиляровский больше не писал.

* * *

Гиляровскому перевалило за семьдесят. Но сам Владимир Алексеевич с этим мириться не хотел. Писатель В. Г. Лидин вспоминал: «Трудно и упорно поддавался времени этот человек. Он дрался со старостью. Он отпихивал ее своими все еще крепкими руками бывшего борца. Семидесятилетний, он любил дать пощупать свои мускулы: он был действительно еще очень силен… Весь московский, с московским говорком, с табакеркой, в которой нюхательный табак изготовлен по его рецепту (московские будочники любили нюхать табак), Гиляровский в нашей современности казался выходцем из прошлого, навсегда ушедшего мира. Но, не сдаваясь старости, он не хотел жить одними воспоминаниями, прошлым. В своей бекешке и папахе,

если дело было зимой, в старомодном подобии казакина и сапогах, если шло к теплу, все еще лихой, бравый, гордый своей не поддающейся времени выправкой, с суковатой палкой в руке, он тянулся к молодым, он не хотел отставать. Но, как могучий дуб, постепенно теряющий листья, а там и сучья, так с годами облетал и обламывался Гиляровский, и все же он не сдавался: он шел туда, где были люди, он еще шумел, похохатывал, рассказывал случаи из долголетней своей жизни, „одалживал“ табачок, иногда сгибал руку, чтобы пощупали мускулы, — весь в сегодняшнем дне и меньше всего в прошлом».

Однако же и мускулы были уже не те.

Своим неприятием необратимого дядя Гиляй вызывал уважение. Но и жалость — тоже.

* * *

Владимир Алексеевич не забывал своих корней. Как-то написал знакомому художнику и коллекционеру И. Федышину, который любопытствовал, откуда происходит слово «Вологда»: «Отбрасывая все средние объяснения, я думаю, что от слова „волок“.

— Далеко ли Вологда?

— Волок да волок, да Вологда.

— Далеко ли Ватланово?

— Шолда да Шолда, да Ватланово.

Здесь вместо «и» часто говорят «да». Волок-лес. Шолда — пост, старина Вологодская.

Влад. Гиляровский. 1926 год. Москва».

И здесь приходит в голову сравнение Гиляровского с другим известным северным писателем.

Владимир Алексеевич рассказывал о своем раннем детстве: «Родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провел в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся».

Полноте, да Гиляровский ли это писал? Что за сказочный распев? Больше похоже на творения архангельского сказочника Ст. Писахова. И впрямь, сходство стилей подчас поразительное. Вот, например, Гиляровский о Вологде: «Вологда существовала еще до основания Москвы — это известно по истории. Она была основана выходцами из Новгорода. А почему названа Вологда — рисуется мне так:

Было на месте настоящего города тогда поселеньице, где

жили новгородцы, которое, может быть, и названия не имело. И вернулся непроходимыми лесами оттуда в Новгород какой-нибудь поселенец и рассказывает, как туда добраться.

— Волок да волок, волок да волок, а там и жилье.

И невольно остается в памяти слушающего музыка слов, и безымянное жилье стало: — Вологда.

— Волок да волок…»

А вот Писахов — про Архангельск: «Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске.

Секрет не велик. Я сказал:

— С 1879 года.

— Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?..

Я в тон заезжему дал ответ:

— Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к.

Народ ютился кругом столба.

Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз — дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал».

В чем здесь дело? Гиляровский подражал Писахову?

Теоретически это возможно. Степан Писахов опубликовал свои «Морожены песни» в 1924 году, Гиляровский же «Мои скитания» — несколько позднее. Возможно, что Владимир Алексеевич, которого, конечно, интересовала жизнь родного Севера и, в частности, тамошняя литература, вольно или же невольно начал по-писаховски писать об этом крае. Но, скорее всего, в этом просто проявилась общность северян.

Главное же сходство, разумеется, не в этом. И Гиляровский, и Писахов — заправские мистификаторы, озорники и выдумщики. Правда, Писахов это качество реализовывал лишь в прозе, а Владимир Алексеевич еще и в личной жизни.

И вправду, вся жизнь Гиляровского — бесконечный перформанс. Бесконечная мистификация. И, пытаясь проследить ее, мы постоянно с этим сталкиваемся.

* * *

В 1926 году Владимир Алексеевич решает повторить свой самый яркий, самый знаменитый подвиг юности. Который, в общем-то, и подвигом нельзя было назвать — так, полчаса

неприятных ощущений. И стопроцентная гарантия того, что никаких трагических последствий не будет. Речь идет о прогулке по Неглинной — в те времена уже ухоженной, вполне цивилизованной подземной речке.

Это был экспромт. Владимир Алексеевич увидел, как у Малого театра рабочие, открыв люк, глядели на подземную речушку. Наш герой не может сдержаться. Сбрасывает полушубок и спускается в колодец, проходит пару сотен метров и выходит на поверхность. На этот раз сенсации не получилось — так, заметка в «Вечерке».

Но старость давала себя знать, и то, что с легкостью было проделано сорок пять лет тому назад, на сей раз обернулось тяжелой простудой — воспалением легких. Следствием же той простуды стала глухота, которая отныне развивалась с каждым годом. Кроме того, воспалился глаз, и как следствие — боли в голове до конца жизни. Глаз же пришлось удалить.

Но наш герой не жаловался и не сетовал. Единственно, что позволял себе, — самоиронию в очередных экспромтах:

Не разогнуть уж мне подковы
И кочерги не завязать,
В горячей речи слово к слову
В ответ врагу не нанизать.
Все ноет: раны, переломы,
Я роюсь памятью в старье,
Идти не хочется из дома,
Я жизнь сменял на житие…

А если доводилось иногда при посторонних вставлять в глазницу стеклянный протез, говорил:

— Ну вот, теперь я тебя хорошо вижу.

Только это уже были грустные шутки.

* * *

Только в 1926 году вышла в свет первая книга нашего героя, посвященная Москве, — «Москва и москвичи». Тираж ее составил всего-навсего четыре тысячи экземпляров. Мягкий переплет, скромное оформление, восемь небольших гравюр Ивана Павлова. Правда, еще было издано сто экземпляров подарочных, на красивой бумаге.

Тираж разошелся мгновенно. Владимир Алексеевич, как

говорится, воспрял духом, позабыл о своих осложнениях после простуды, принялся работать дальше, на сей раз над «Моими скитаниями» — книгой, про которую впоследствии он скажет: «самая любимая из всех моих книг». Не удивительно — ведь если прочие его труды формально все же посвящаются другим героям, то здесь главный герой — он сам, Владимир Гиляровский собственной персоной.

Он, правда, делал первые заметки еще в 1905 году, однако серьезная работа над книгой началась лишь после революции.

Сперва книга называлась «Мои записки из бродяжной жизни». Писал он ее от руки, в большой тетради. Не имея четкой цели. Не придерживаясь хронологии. Он предварил свою работу комментарием: «Нет! это не автобиография, нет, это не мемуары. Это правдивые кусочки моей жизни и окружающих, с которыми связана летопись эпохи (по выражению одного ученого, убеждавшего меня приняться за эту работу), охватывающая собой почти семь десятков лет».

Под ученым понималась, вероятнее всего, профессор университета О. И. Богомолова. Во всяком случае, на протяжении почти что всей работы над «скитаниями» (с начала двадцатых и до самой смерти, то есть более десяти лет) он писал ей о том, как продвигается новая книга. Особенно гордился тем, что изобрел новый формат предисловия: «Написал новое предисловие к „Моим скитаниям“, которое только три дня тому назад закончил одной первой строчкой, и им доволен. Мне удалось выбрать новую форму предисловий к книгам. Для „Моих скитаний“ это всего шесть строк стихотворения, которые читатель прочтет и, пожалуй, не поймет, а задумается, что это такое? И, только читая книгу, вернется несколько раз к нему, поймет все и заинтересуется. Будет там написано только одно:

От автора

Я рожден, где сполохи играли, —
Дон и Волга меня воспитали,
Жигулей непролазная крепь,
Снеговые табунные дали,
Косяки, расцветившие степь,
И курганов довечную цепь».

Книга была впервые напечатана в 1928 году и стала первой частью знаменитой автобиографической трилогии: «Мои скитания», «Люди театра» и «Москва газетная».

* * *

В 1928 году Владимир Алексеевич приступил к усовершенствованию «Москвы и москвичей» — на сей раз под названием «Записки москвича». Причиной послужило приглашение общества «Старая Москва» сделать доклад по теме «Москва 80-х годов».

Наш герой, вопреки ожиданиям, на это обиделся. Ответил:

— Слишком широкая тема — Москва в 80-х годах! Кусочки той жизни, которые блеснут в памяти, могу еще рассказать, а обстоятельно ничего. Подумайте, Москва 80-х годов! Да это десятки томов. И дайте мне десятки лет, я не могу написать Москву 80-х годов. Обстоятельный человек, вроде Кони, может еще справиться с такой задачей, а я… везде налетом, на минуточку, а там новые и новые впечатления. Все прыгает, вертится, исчезает и опять новое. 80-е годы… Жил восемнадцать часов в сутки. А тут доклад! Невозможно!

Но, поостыв, вернулся к этой теме. Говорил: «Название скромное, да и другого быть не может. Москва неописуема, одному человеку не справиться. Историю и быт новой Москвы дает современная писательская молодежь, и она справится с этой огромной задачей. И в помощь молодым исследователям и бытописателям надо дать картины Москвы дореволюционной, дать типы верные, правдивые. Для того чтобы писать новое, надо знать старое. Каждый бытописатель старого пусть даст только то, не мудрствуя лукаво, что он сам наблюдал, переживал, знал. Это облегчит работу молодежи».

Этот человек не мог сидеть без дела.

Книга же была закончена в 1930 году.

* * *

А в новогоднюю ночь 1929/30 года произошла пренеприятная история с приятелями Гиляровского — Вуколом и Михаилом Лавровыми. Братья Лавровы возвращались с вечеринки и увидели, как некий человек в черном пальто куда-то тащит женщину, одетую в одно лишь платье. Женщина упирается, но сделать ничего не может.

Михаил Михайлович, не долго думая, ударил незнакомца. Тот достал свисток и засвистел. Женщина убежала.

Сразу появились милиционеры, братья рассказали об увиденном, но человек в черном пальто все отрицал. Он якобы просто шел по улице, и вдруг его принялись бить.

Ситуация серьезно осложнялась тем, что «жертвой» братьев был Макс Гельц — известный социалист, бежавший в СССР от гитлеровского режима. Разумеется, поверили ему. Дело запахло уголовщиной.

Братья сразу же обратились за советом к Гиляровскому, к своему старому и мудрому знакомому. Владимир Алексеевич бросил все дела, поехал на переговоры с Гельцем. Тот же был неумолим, настаивал на возбуждении дела против братьев. Их же Владимир Алексеевич тем временем упрятал в свой заповедный мир — подземную Москву. Пристроил к своему знакомому чистить коллектор. Гиляровский знал, что это место — самое надежное. Там точно их искать никто не станет.

Между тем Гельц все же согласился забрать заявление, однако братьев не простил. Гиляровский разрешил братьям Лавровым выйти на поверхность, но, понимая, что Гельц может мстить, на всякий случай посоветовал уехать из Москвы. Хотя бы в Ленинград. Что, разумеется, и было сделано.

Гельц, однако же, выдумал новую каверзу — устроить в университете товарищеский суд над Михаилом. Узнав об этом, Гиляровский посоветовал ему уехать еще дальше — в Сибирь. Тот опять послушался, добрался до Иркутска, сдал там экзамены экстерном, защитил диплом и в результате стал профессором Иркутского политехнического института.

Можно лишь предполагать, как бы сложилась жизнь бедного Михаила, останься он в Москве. Владимир Алексеевич явно предполагал. Ведь, вопреки устоявшемуся мнению, он был далек от идеализации советской власти. Знал, чем именно в те времена заканчивались в Москве суды, пусть и «товарищеские».

* * *

В 1931 году Владимир Алексеевич завершил книгу под названием «Друзья и встречи». Живо, весело, с любовью и лукавством он описывал тех, с кем свела его судьба еще до революции. И отдавал должное советским правилам игры — вовсю расхваливал власть коммунистов. В эти минуты талант изменял ему. Пропадала искренность и живость, язык становился плоским и штампованным. Вот, например, как он закончил свои сокровенные воспоминания о Чехове: «Колышется живая площадь красными знаменами, красными платочками, красными майками. А среди этого красного, ритмически волнующегося моря вкраплены яркие зеленые, оранжевые и голубые пятна и полосы.

Послушная звукам оркестра, стройно движется

демонстрация. Тысячи рук с рельефными мышцами сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысячи оживленных глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно.

Шаг уверен, ярок, смел.
Звучит ритмично мостовая,
И бронза загорелых тел
Горит на солнце, как живая.

— Все люди будут сильными! — сказал мне в одну из бесед А. П. Чехов.

— «Все люди будут сильными», — глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова.

В восторге смотрел я на эту полную сил и жизни молодежь, на стройные ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем уверенно шагающих за своими старшими товарищами. На лицах у всех написано:

«Мы — сильные!»

И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое восьмидесятилетнее сердце болит о друге юных дней, и мне думается, будь он жив, — встретив такой праздник молодежи, он, автор «Хмурых людей», написал бы книгу: «Жизнерадостные люди»».

Похоже, Гиляровский сам не понимал, что пишет.

* * *

Подходила к завершению работа над «Людьми театра». Наш герой писал в 1933 году О. Богомоловой: «В самом скором времени закончу „Люди театра“… Я уже сегодня разбираюсь в этюдах, отложил материалы к третьей части (первая — Вася, вторая — Ермолова), третья часть еще почти не начата, надо сделать заново, и я уже сообразил начало плана… Все другие материалы отложил, выложил перед собой только то, что надо для книги и первым делом для третьей части, которую должен прежде всего закончить».

«В голове за ночь сложился план третьей части. Начинаю с главы об А. А. Бренко — самой яркой представительнице „Людей театра“, сделал за ночь карандашные наброски, сажусь писать… Принимаюсь за работу и сейчас уверенно говорю: Бренко выйдет

хорошо. Кого дальше буду писать, не знаю. Думаю, Андреева-Бурлака».

«Бренку кончил… Вышла вся хороша. Начало доброе, писать хочется. Теперь начал работу над третьей главой — Андреев-Бурлак… Работается легко, весело».

Увы, здоровье не позволило закончить эту книгу. Гиляровский умер, так и не дописав «Людей театра». То, что мы имеем сегодня, — не только авторский, но и публикаторский труд.

* * *

В 1933 году дачу Гиляровского ограбили. Строго говоря, это был не грабеж, а самое настоящее разбойное нападение. Грабители ворвались в дом, согнали всех членов семейства в одну комнату, заперли на замок. Сам Владимир Алексеевич отсутствовал — гулял в лесу. Злоумышленники это быстро выяснили и поставили у входа на участок вооруженного дозорного.

Владимир Алексеевич подошел к даче, увидел человека с финкой, грозно крикнул:

— Убери!

Тот, сам не понимая почему, убрал оружие — такая сила была в голосе этого старого уже, полуглухого и полуслепого человека.

Гиляровский начал объяснять грабителю, что он писатель, пишет книги, в том числе про обездоленных, про тех, кого нужда заставила идти на преступление.

Бандит, однако, к тому времени одумался и нагло заявил:

— У каждого своя работа.

Гиляровского препроводили к своему семейству, после чего обчистили его жилище — все забрали, вплоть до спичек. Владимир Алексеевич рассказывал:

— Подходит ко мне главный: «Давай, старик, золотишко!» Сам вот с таким ножом — каким в магазинах колбасу режут. Я показываю ему колечко на пальце: «Вот все мое золотишко, только всю жизнь не снимается, придется рубить палец…» Покосился на меня и отошел. Начал вешалку обирать. Я и завел с ним разговор. «Так вы — разбойнички, значит? Очень приятно! Я когда-то про разбойничков стихи писал — хочешь почитаю?..» И пока они узлы вязали, я им про Стеньку Разина мою поэму читал. Ушли с узлами.

Поскольку наш герой не был обычный, заурядный обыватель,

милиция всерьез взялась расследовать этот грабеж, и уже на следующий день преступников поймали. Все имущество, включая спички, было спешным образом возвращено владельцу.

Как же поступил Владимир Алексеевич? Явился в КПЗ, добился встречи со злоумышленниками, поговорил с ними, угостил нюхательным табаком, а сразу после этого отправил передачу с далеко не худшими продуктами.

Он получил потом письмо от тех бандитов: «Не знали мы, какой вы есть человек, мы ничего бы худого для вас не сделали». И приписали: «Может статься, пожевать пришлете».

Как тут не вспомнить доктора Федора Петровича Гааза, который за сто лет до тех событий занимал должности главного врача Москвы и члена Комитета попечительства о тюрьмах.

Пришел как-то раз к Гаазу пациент. Дождался, пока Гааз выйдет из комнаты, — и убежал, прихватив серебряные ложки. Сторож больницы догнал злоумышленника, доставил к Гаазу, сам же пошел за полицией. А доктор сказал посетителю так:

— Ты фальшивый человек, ты обманул меня и хотел обокрасть, Бог тебя рассудит… а теперь беги скорее в задние ворота, пока солдаты не воротились… Да постой, может, у тебя нет ни гроша — вот полтинник; но старайся исправить свою душу — от Бога не уйдешь, как от будочника.

Говаривали, что во время проповедей о порядочности, до которых доктор был большой охотник, увещеваемые таскали из карманов филантропа деньги. Зато и любили его. Как-то раз Федор Петрович шел морозным вечером к больному. Повстречались ему трое татей. «Скидывай, — говорят, — шубу». А когда узнали — извинились. Ничего не взяли. Даже проводили до больного — чтобы не обидели другие тати доктора.

Арестанткам Гааз дарил всякие «излишества»: грецкие орехи, апельсины, пряники. Целовался с ними. Врачу пеняли: дескать, балует преступниц, развращает их. Гааз же отвечал со своим трогательным немецким акцентом:

— Извольте видеть, милостивой сударинь, кусок клеба, крош им всякий дает, а конфекту или апфельзину долго они не увидят, этого им никто не дает, это я могу консеквировать из ваших слов; потому я и делаю им это удовольствие, что оно долго не повторится.

Словом, сходств с легендарным доктором немало. Только вряд ли наш герой знал о его существовании, старался подражать. Нет — просто он был человеком такой же широкой и доброй души. Точнее говоря, сделался им за время своего нелегкого жизненного пути.

* * *

Здоровье становилось все хуже и хуже, но наш герой не сдавался. В редкие теперь периоды не слишком-то существенного улучшения — вовсю радуется жизни. Писал дочери: «Милая, дорогая моя Надюша! Я сегодня радуюсь всему, чувствую себя бодрым, веселым, совершенно спокойным. Помолодел на тридцать три года! Великолепное весеннее утро, даже в каменных Столешниках… Мама пошла в кооператив на Мясницкую и на Сухаревку, то есть бывший Сухаревский рынок… Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих остатках заревом».

Владимир Алексеевич не хочет умирать. И даже есть, по настоянию врачей, давно уже обрыдлую ему жидкую гречневую кашу. Разве что попеняет супруге:

— Маня, опять?

— Гиляй, — отвечает супруга, — гречневая каша полезна, в ней много железа.

— Да я ведь вторую кочергу доедаю, — стонет он. Но кашу съест.

* * *

Весной 1934 года наш герой снова засобирался в любимое Картино. Только эти сборы отличались от тех, что были ранее. Владимир Алексеевич писал своему приятелю А. Зуеву: «Юный мой друг Александр Никанорович! Сижу один за столом, все давно спят, а мне не спится: голова болит, очень переутомился за зиму, и 18-го я с Марьей Ивановной еду на все лето в свое прекрасное Картино, не беру с собой ни одной папки с материалами для работы — беру только обрывки тетрадки со стихами, — а это не работа, это отдых души и сердца и голове покой: она у меня в поэзии не участвует — стихов я не делаю, они сами рвутся и льются с пера, когда время приходит…

Буду жить в поэзии. Какая красота кругом! Ранним летом особенно хорошо бывает утро, когда еще роса не ушла и кое-где между деревьями поднимается к небу

Нежный солнечный туман…
Описать такое утро,
И небес голубизну,
И эфира глубину —

У художника нет красок,
У поэта мало слов…

И вот через три дня я вырвусь из этой суеты по прекрасным тротуарам выросшей Москвы и буду блаженствовать с записной книжкой в руках в моей глуши, а

Вокруг меня орешник пышный
Обвивает нежный хмель,
Голубеют незабудки, —
Глазки неба на земле,
Белки прыгают по веткам,
Остановятся… глядят…

И вот здесь у себя я буду проводить девятое лето подряд, но только буду видеть одну поэзию — как решил уже. Буду отдыхать в первый раз в жизни целое лето без работы, в первый раз после 60 лет непрерывной работы. И уже сейчас, на этом первом письме тебе, которое само пишется, я отдыхаю».

Наш герой явно сдавал.

* * *

В 1934 году Гиляровский пишет очень показательное послесловие к «Москве газетной». Это одновременно панегирик и профессии газетчика, и советской власти.

«С гордостью почти полвека носил я звание репортера — звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам.

— Так, газетный репортеришко! — говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по поручению газеты; репортерствовал В. М. Дорошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортерские описания страшного по тем временам острова… Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости.

Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было

опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я — репортер — имею честь быть членом Союза советских писателей».

Концовка совсем уж абсурдная. Хотя смысл ясен — при советской власти репортерство стало почитаться. Не удивительно — газетные работники сделались идеологическими служащими, чуть ли не вершителями судеб. Да и на доход не жаловались. Так что престиж профессии значительно возрос.

А в наши дни он вновь приблизился к дореволюционному. Хотя послесловие к «Москве газетной» студентов журналистских факультетов требуют чуть ли не наизусть заучивать.

В том же 1934 году написан эпилог к самой известной книге Гиляровского — «Москва и москвичи». Весьма своеобразное произведение.

«С подъезда вокзала я сел в открытый автомобиль. И первое, что я увидел, это громаду Триумфальных ворот.

На них так же четверня коней и в колеснице та же статуя славы с высоко поднятым венком… Вспоминаю… Но мы уже мчимся по шумной Тверской, среди грохота и гула…

Прекрасная мостовая блестит после мимолетного дождя под ярким сентябрьским солнышком. Тротуары полны стремительного народа.

Все торопятся — кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но прежних пресыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу… Вспоминается: «Теперь брюхо бегает за хлебом, а не хлеб за брюхом».

Мы мчимся в потоке звенящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извозчиков… У большинства на лошадях и шлеи нет — хомут да вожжи.

Перегоняем все движение, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси.

Вдруг у самой Садовой останавливаемся. Останавливается вся улица. Шум движения замер. Пешая публика переходит, торопясь, поперек Тверскую, снуя между экипажами…

А на возвышении как раз перед нами стоит щеголеватый, в серой каске безмолвный милиционер с поднятой рукой».

Только что, на четырех сотнях страниц, Владимир Алексеевич описывал дореволюционный город. Да, большая часть книги была сделана гораздо раньше. Но далеко не вся.

Гиляровский писал вкусно, смачно, талантливо. И что? Куда все подевалось? Вымученные, плоские фразы. Какие-то штампованные образы. «Тротуары полны стремительного народа».

Что поделать — Гиляровскому под восемьдесят. Нелегко дается ему воспевание нового быта. Роль восторженного

репортера получается из рук вон плохо. Но наш герой продолжает делать вид, что восхищается новой Москвой.

Садовое кольцо лишилось кустиков и клумбочек? Да это же прекрасно!

«Мы мчались вниз. Где же палисадники? А ведь они были год назад. Были они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших пол-улицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые. Калитки на запоре, чтобы воры не забрались в нижний этаж. Почти во всех росли большие деревья, посаженные в давние времена по распоряжению начальства.

Вот эти-то деревья и пригодились теперь. Они образуют широкие аллеи для пешеходов, залитые асфальтом. Эти аллеи — тротуары под куполом зеленых деревьев — красота и роскошь, какой я еще не видал в Москве».

Забран в асфальт Охотный ряд? Прелестно!

«Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду Театральной площади, едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, катятся толстые автобусы».

Что в новой Москве ни происходит — все, конечно, к лучшему. Только очень уж не вяжется это малюсенькое послесловие со всей книгой.

* * *

И вот наступили последние дни в жизни нашего силача, каламбурщика, непоседы, весельчака и «короля репортеров». Н. Морозов писал: «Солнечная, теплая осень 1935 года. Дорожки московских бульваров густо усеяны опавшими листьями.

В Столешниках, в квартире В. А. Гиляровского, открыты окна, распахнуты настежь двери балкона — сейчас нужно много света и воздуха.

На стене кабинета Владимира Алексеевича висит его портрет кисти народного художника СССР А. М. Герасимова, замечательный по сходству и выполнению; писатель изображен у себя на даче, среди зелени, сидящим около стола, покрытого белой скатертью. Его фигуру обильно заливает знойный солнечный свет. На столе полевые цветы, тарелка крупной аппетитной клубники; он сидит с традиционной табакеркой в

руках, полный сил, бодрый и радостный, каким был всю жизнь. А у противоположной стены, сплошь завешанной картинами больших русских мастеров — Саврасова, Левитана, Архипова, Поленова, — лежит в постели сам писатель, больной, престарелый, ему идет уже восемьдесят третий год.

У его кровати — дубовая тумбочка, заваленная тетрадями, записными книжками, бумагой, карандашами. Время от времени Владимир Алексеевич делает заметки, что-то записывает — писательская потребность у него неукротима».

Но все, увы, совсем не то, что было. Слепота, глухота, немощь. И, главное, самое страшное — забвение. Гиляровский больше не кумир молодых репортеров, не участник шумных пирушек и не автор многочисленных газетных репортажей. В книжных магазинах продаются его книги. Их покупают, их читают, пишут письма автору. Но только и всего. Конечно же такая жизнь не могла понравиться такому живчику, как Гиляровский.

А вести другую не было возможности. Увы.

Однако Гиляровский делал все, что мог, чтоб не предаваться унынию. Былая слава, разумеется, ушла, но старых друзей все же было много.

— Как вы себя чувствуете? — спрашивали они у старика.

— Нахожусь в блаженном успении, — ответствовал тот. И улыбался.

Иронизировал по поводу своей все прогрессирующей глухоты:

— Ничего. Меньше буду слышать глупостей. Сетовал:

— Банки прописали. Ухандакался. Сколько было силищи, и какой! Думал, что памятник Минину и Пожарскому раньше меня развалится.

Больно было смотреть на него.

Время от времени пытался сочинять стихи. Выходило нечто странное.

Я вижу даль твою, Россия,
Слежу грядущее твое,
Все те же нивы золотые,
Все тот же лес, зверей жилье.
Пространства также все огромны,
Богатств на миллион веков.
Дымят в стенах бескрайних домны.
Полоски рельсовых оков
Сверкают в просеках сосновых
И сетью покрывают дол,

И городов десятки новых,
И тысячи станиц и сел.
Пески немые Туркестана
Покрыты зеленью давно,
Их с мрачной джунглей Индостана
Связало новое звено.
Покой и мир. Границ казенных
Не ведает аэроплан,
По радио нет отдаленных,
Неведомых и чуждых стран.
На грани безвоздушной зоны
При солнце и в тумане мглы
Летят крылатые вагоны
И одиночные орлы.
То там, то здесь дымят гиганты,
Солончаки рвут трактора,
Изобретатели — таланты,
Еще незнамые вчера,
Сегодня украшают сферы,
Рвут стратостаты стратосферы…
А под Москвою — в путь подземный
Незримо шествует метро…

Впрочем, если знать, как именно Владимир Алексеевич писал теперь стихи, ирония сразу исчезнет. Владимир Лидин вспоминал: «Почти утратив зрение, страдая жестокой бессонницей, Гиляровский ночами писал стихи. Он складывал бумагу так, что она становилась как бы гофрированной, постепенно развертывал в темноте и нащупывал очередную складочку, чтобы наносимая на ощупь строчка не наехала на строчку».

Это был пусть и бессмысленный, но все же подвиг.

А так хотелось вернуть молодость! Наш герой жаловался своему хорошему знакомому, А. Зуеву: «Друг мой дорогой, пишу карандашом и чуть разбираю, что написал: за время болезни очень ослаб и зрение вместе ослабло. Голова еще усталая, но уже „отважная мысль колобродит“, — тянет меня к самой моей любимой книге „Мои скитания“. Там и Москвы не мало, а главное — степи табунные между Доном и Волгой, дававшие лучшую верховую лошадь и всю кавалерию.

Теперь там гиганты-заводы, тракторы шумят по солончакам, а табунов таких уже нет. Сейчас — май, лучшее время степи;

табуны еще недавно черными точками кое-где мелькали по снеговой дали беспредельной — а в мае они разбивались на косяки от 10 до 20—30 голов в одномастные косяки маток с жеребятами и под управлением своего «султана» — косячного жеребца — носились по степи, как цветные клумбы.

Скоро ничего от степной старины не останется, из того, что я когда-то здесь переживал и вспоминаю, как дни моей юности.

Останется только — белая под снегом зимой и зеленая теперь — цепь курганов, указывающая прямой путь с востока на запад — скифов, их теперь уже не расцветят разноцветные косяки. Их нет.

И вот сейчас в моей голове роятся степные картины, и я их понемногу собираю для «Моих скитаний». Дам в них для степных колхозов кой-какие указания для сохранения степной верховой лошади, необходимой для кавалерии. Больше всего боюсь, что какой-нибудь поклонник рысака вздумает «улучшить» верховую лошадь рысакам и этим ее окончательно испортит.

Пока она немного отложена, но книга будет еще интереснее, чем была. Я живу ею!»

А затем признавался: «Вот сейчас ясный, светлый день, два часа, а я все-таки вижу все в тумане. Принесли газету, но буду читать только заглавия, буквы мне не ясны. Какая жалость, что не могу проехать на метро! А ведь я был в первой шахте в первые дни ее работы, но меня оттуда сторож выгнал. А все-таки я был первый из литераторов!»

Не был, не был он, конечно, первым литератором. Но как хотел! И свято верил в то, что был. А как иначе? Что же — жизнь не удалась?

Шалишь! Был первым!

Он искренне любил Москву, любил Россию. Чувствовал, что расставание скоро. Пытался выразить свои чувства в стихах. Но, лишенные былого задора, былой иронии и озорства, его стихи оборачивались неудачными графоманскими опытами, где в одну кучу свалены и летчики, и радио, и нивы, и метрополитен.

Ужас в том, что он и сам осознавал это. Приговаривал:

— Набросал… А закончить не успел…

И понимал, что уже не успеет.

На время взбодрился, общаясь с друзьями. В первую очередь, конечно, с верным Н. Морозовым. Все чаще вспоминали прошлое.

— Помнишь, что такое империал? — спрашивал Гиляровский.

— Второй этаж конки, без крыши, там билет стоит три копейки вместо пятачка.

— Старина… — одобрительно тянул Владимир Алексеевич. Читал вслух фрагменты из своей поэмы «Азраил», написанной

еще до революции. Чтение вскоре прекращалось:

— Фу! Устал. И тебе наскучил чтением.

— Вам известно, что «Азраила» я знаю наизусть, но я с удовольствием прослушал еще раз эти отрывки в вашем исполнении, — отвечал, словно школьник-отличник, Морозов.

— Первым, кому я читал «Азраила», был Чехов. Я просил его высказать свое впечатление и посоветовать, не надо ли чего исправить. Он ответил: «Хорошо, оставь так, как есть». А когда я прочитал Власу Дорошевичу, тот ошеломил меня ответом, он сказал: «На памятник бьешь, Гиляй!»

— А вы помните, как мы попали когда-то к профессору Церасскому? — поддерживал беседу Николай Иванович.

— А-а-а… К астроному? Помню.

— Вы тогда читали ему тоже отрывки из «Азраила».

— Как же… Старик-звездочет просил некоторые места повторить, значит, понравилось, а потом сказал: «Чудесная космическая фантазия»… Помню…

И Гиляровский продолжал читать из «Азраила»:

По бесконечности широкой,
Суровый, грозный, одинокий,
По небу мчался Азраил…

И наш герой на время забывал о своих старческих недугах, становился Азраилом, главным мусульманским ангелом, ангелом смерти. И превращался в силача и остроумца, в кумира журналистской молодежи, в задушевнейшего друга всех литературных знаменитостей, который сам — та еще знаменитость, которому до памятника — рукой подать.

Но памятника нет и не предвидится. А молодость ушла.

Одно лишь радовало Гиляровского:

— Душа моя чиста… Чиста совесть… Как у новорожденного. Чувствую, как мне легко будет на росстанях.

Радовался тому, что от него никто ни разу в жизни не заплакал. А еще радовался, что припрятана в шкафу бутылка старого шампанского «Аи». Говорил Николаю Морозову:

— Я берегу ее на самый торжественный случай. Когда мне станет еще хуже, я соберу вас всех, близких мне, сам открою спрятанную бутылку, налью каждому из вас по бокалу шампанского, скажу каждому по экспромту и с поднятым искристым бокалом весело, радостно сойду на нет. Довольно было пожито…

* * *

В конце сентября 1935 года в газетах появилось коротенькое извещение: «Старейший писатель В. А. Гиляровский, за последние годы жизни выпустивший ряд книг, характеризующих жизнь и быт Москвы, очень серьезно болен. Лечащие врачи признают положение больного крайне тяжелым».

1 октября в полночь Владимир Алексеевич скончался. «Аи» так и осталось в шкафу неоткупоренным — перед смертью наш герой не был способен на подобное физическое действие.

* * *

И на прощание — еще одно четверостишие Гиляровского.

Пусть смерть пугает робкий свет,
А нас бояться не принудит.
Пока мы живы — смерти нет,
А смерть придет — так нас не будет.

P.S. Спустя несколько лет скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров нашел в Измайлове кусок космического метеорита, сделал на нем барельеф Гиляровского и установил этот памятник на Новодевичьем кладбище.

Он сдержал свое слово, данное в 1912 году.

Основные даты жизни и творчества В. А. Гиляровского

1855 (по другим данным, 1853) — Родился в Вологодской губернии в семье Алексея Ивановича и Надежды Петровны Гиляровских.

1871 — Гиляровский сбегает из дома и принимается бродяжничать, потом поступает вольноопределяющимся в 173-й Нежинский пехотный полк.

1873— Снова бродяжничает.

1875 — Дебютирует на сцене Тамбовского театра.

1877 — Принимает участие в Русско-турецкой войне в качестве пластуна (разведчика).

1881 — В «Будильнике» опубликовано стихотворение Гиляровского «Все-то мне грезится Волга широкая…»; он поступает на работу в газету «Московский листок».

1882 — Публикует сенсационный репортаж о пожаре на Морозовской фабрике в Орехово-Зуеве.

1883 — Знакомится с Антоном Павловичем Чеховым.

1884 — Переходит из «Московского листка» в «Русские ведомости»; женится на Марии Ивановне Мурзиной.

1885 — В семье Гиляровских родился сын Алексей, вскоре скончавшийся.

1886 — У Гиляровских родилась дочь Надежда.

1887— Выходит первый сборник рассказов Гиляровского «Трущобные люди». Сборник сожжен.

1888 — Гиляровский открывает «Контору объявлений».

1890 — Начинает издавать «Журнал спорта» (поначалу — «Листок спорта»).

1894 — Вышел первый поэтический сборник Гиляровского «Забытая тетрадь».

1896 — Гиляровский публикует сенсационный репортаж о Ходынской катастрофе; выходит в свет его книга «Московские нищие».

1897 — Выходит в свет книга Гиляровского «Портной Ерошка».

1900 — Гиляровский публикует рассказ «Негативы».

1901 — Поступает в штат газеты «Русское слово».

1902 — Выходит в свет книга Гиляровского «На родине Гоголя. Исследования».

1904 — Скончался лучший друг Гиляровского, Антон Павлович Чехов.

1909 — Выходит в свет книга Гиляровского «Были. Рассказы».

1912 — Выходит книга Гиляровского «Шутки. Рассказы».

1916 — Выходит сборник стихотворений Гиляровского «Грозный год».

1922 — Отдельным изданием вышла поэма «Степан Разин», впервые без купюр; выходит поэма Гиляровского «Петербург».

1926 — Выходят в свет книги «Москва и москвичи» и «От Английского клуба к Музею революции. Изыскания».

1928 — Выходит в свет книга «Мои скитания».

1931 — Выходит в свет книга «Друзья и встречи».

1935, 1 октября — Владимир Алексеевич Гиляровский скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Краткая библиография

Адрианов Ю. А., Шамшурин В. А. Старый Нижний. Историко-литературные очерки. Н. Новгород: СММ, 1994.

Анчиполовский З. Я. Старый театр. Воронеж 1787—1917. Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Черноземье», 1996.

Валеев В.Х.,Максимов Е. К. Саратов на старых открытках. Саратов, Приволжское книжное издательство, 1990.

Виноградова Т. П., Машковцев В. П. Царственно поставленный город. Нижний Новгород в старой открытке. Владимир: Посад, 2000.

Гаврюшкин О. П. Вдоль по Питерской (Хроника обывательской жизни). Таганрог: БАННЭРплюс, 2000.

Гиляровский В. А. Забытый мир. М.: Русская книга, 2003.

Гиляровский В. А. На жизненной дороге. Вологда: Вологодское книжное издательство, 1959.

Гиляровский В. А. Собрание сочинений в трех томах. М.: Московский рабочий, 1961.

Гура В. В. Жизнь и книги дяди Гиляя. Вологда: Вологодское книжное издательство, 1959.

Есин Б. И. Репортажи В. А. Гиляровского. М.: Издательство Московского университета, 1985.

Киселева Е. Г. Гиляровский и художники. Ленинград: Художник РСФСР, 1965.

Киселева Е. Г. Гиляровский на Волге. Ярославль: Ярославское книжное издательство, 1962.

Киселева Е. Г. Рассказы о дяде Гиляе. М.: Молодая гвардия, 1983.

Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках. Воронеж, Центр духовного возрождения Черноземного края, 2005.

Ласунский О. Г. Литературные прогулки по Воронежу. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2006.

Лидин В. Г. Люди и встречи. М.: Советский писатель, 1961.

Лобанов В. М. Столешники дяди Гиляя. М.: Московский рабочий, 1972.

Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб.: Северный кружок любителей изящных искусств, 1914.

Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Тверская. М.: Ключ-С. 2006.

Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Арбат. М.: Ключ-С. 2006.

Митрофанов А. Г. Прогулки по старой Москве. Мясницкая. М.: Ключ-С, 2007.

Морозов Н. И. Сорок лет с Гиляровским. М.: Московский рабочий, 1963.

Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М.: Русскій міръ, 2004.

Романов Д. В. Рыбинск в судьбах замечательных людей. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997.

Руга В., Кокорев А. Москва повседневная. М.: Олма-Пресс, 2006.

Сизов И. Г. Сочи. Челябинск: Урал, 1996.

Телешов Н.Д. Записки писателя. М.: Московский рабочий, 1958.

Чехов М. П. Вокруг Чехова. М.: Московский рабочий, 1960.

Чехова М. П. Из далекого прошлого. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.

Швецов С. Д. В старом Ростове. Ростов н/Д.: Ростовское книжное издательство, 1971.

Достояние губернии. Из истории астраханских рыбных промыслов. Сборник документов и материалов. Астрахань: Государственный архив Астраханской области, 2003.

Москва. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1997.

У Спаса на погосте. История северной деревни. Вологда: МДК, 2002.

Иллюстрации и фото

Владимир Гиляровский — юнкер

Гиляровский — участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов

Актриса Гаевская — возлюбленная Гиляровского

Русско-турецкая война 1877—1878 годов. Кавказская армия. Бегство турок с позиции Деве-Бойну к Эрзеруму

В. А. Гиляровский

В. А. Гиляровский в редакции «Журнала спорта»

Старая Москва. Угол Петровки и Столешникова

Обитатели ночлежек

Московский извозчик

Сапожный ряд на Хитровом рынке. 1900-е гг.

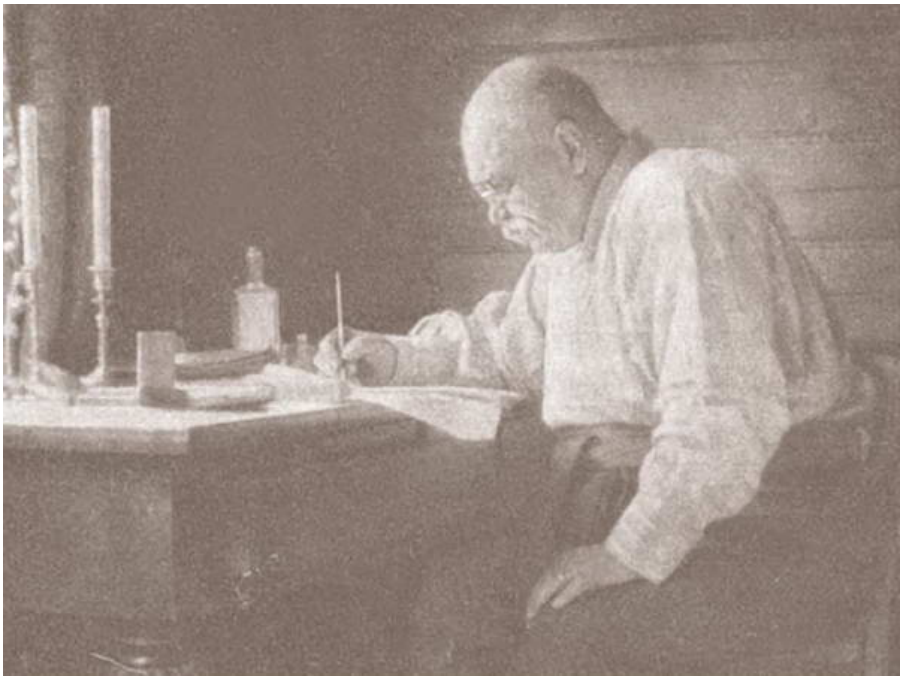
Биржа труда на Хитровом рынке. 1900 г.

Московская пожарная команда

Пожар в Малом театре

Жена В. А. Гиляровского Мария Ивановна

Дочь В. А. Гиляровского Надежда



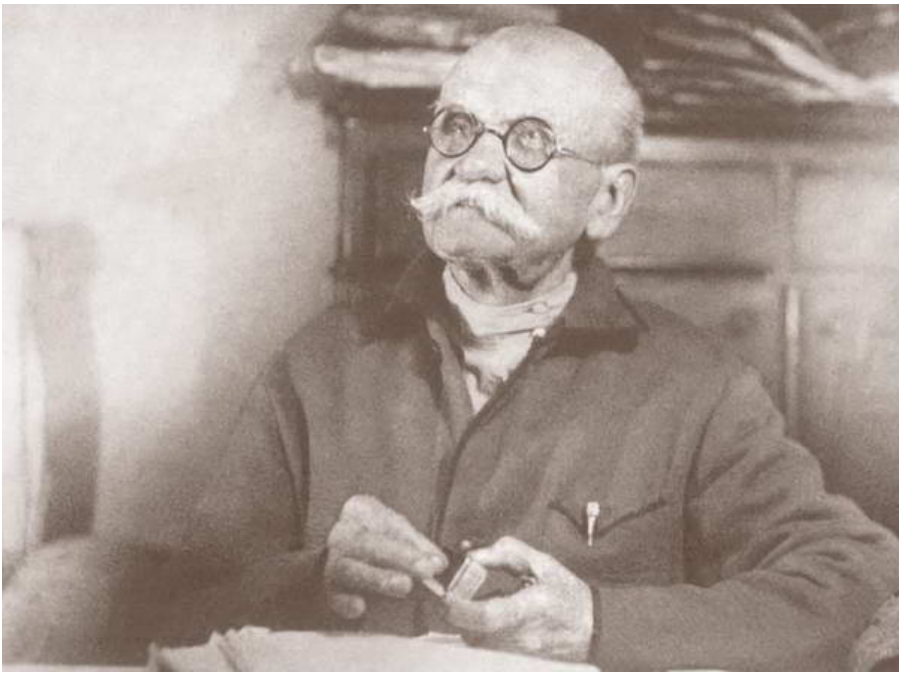
В. А. Гиляровский за работой

На даче в Малеевке

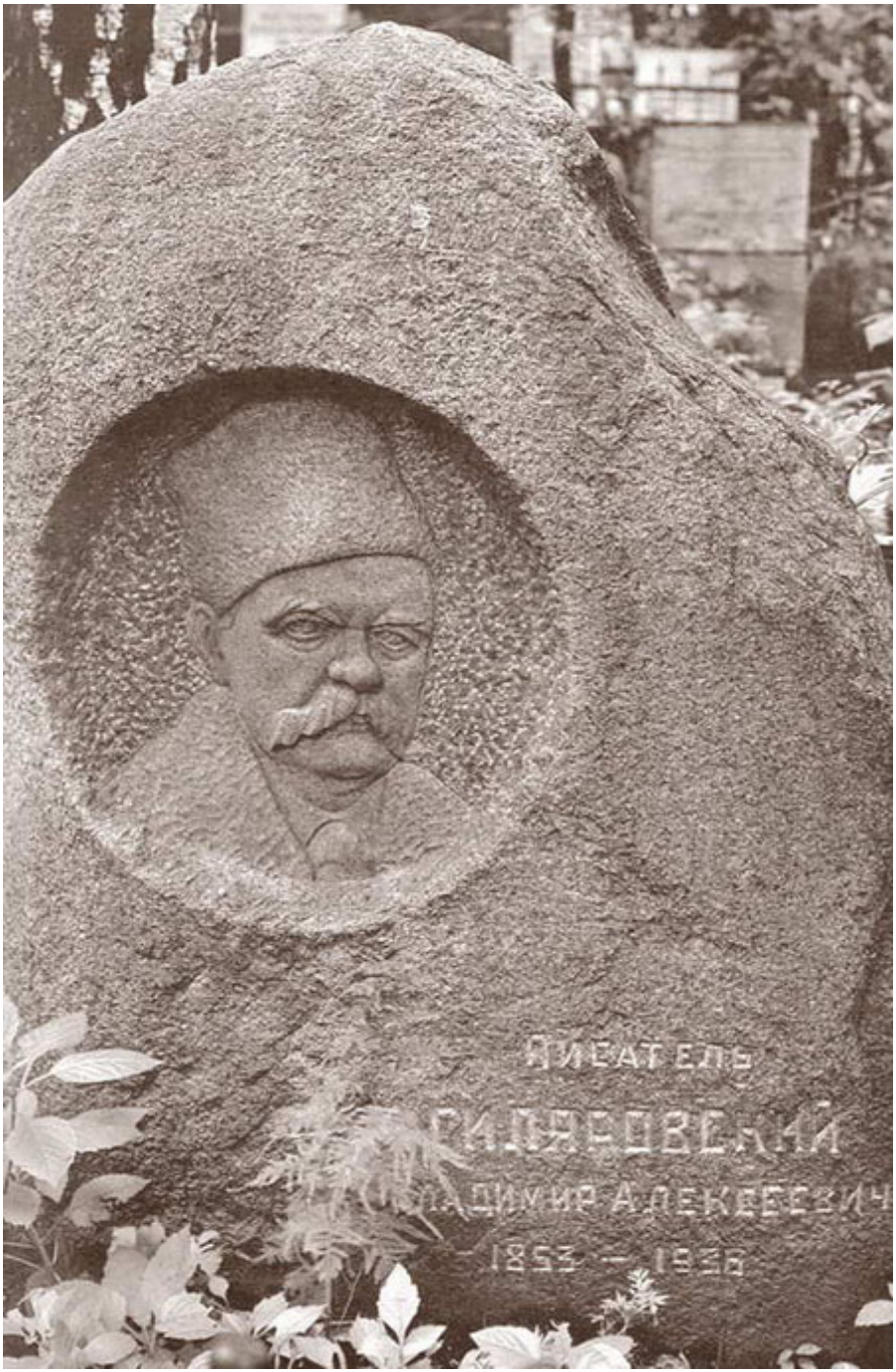
Футбольный матч. Москвичи, к сожалению, проигрывают команде Лондонского университета. 1914 г.

Москвичи буквально разрывались — куда пойти: на футбольный матч или на аэродром — смотреть, как летчик А. М. Габер-Влынский демонстрирует «мертвую петлю». 1914 г.

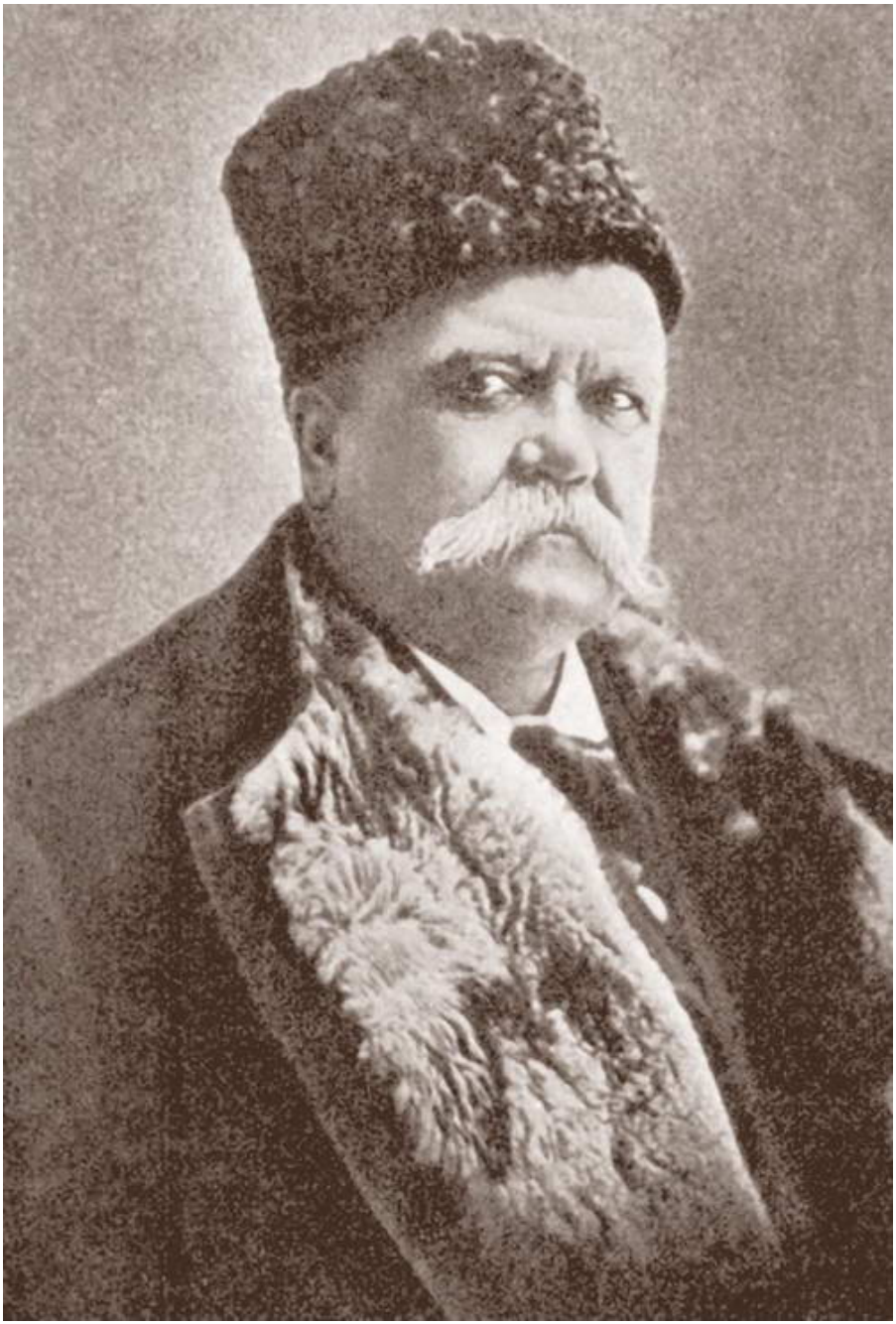
Соревнования лыжников. 1914 г.



В. А. Гиляровский. 1930-е гг.



Могила В. А. Гиляровского на Новодевичьем кладбище в Москве



«Король репортеров»